



Бубен  
Верхнего Мира

«TERRA» - «TERRA»

Scan Kreyder - 22.08.2018 - STERLITAMAK



БОЛЬШАЯ  
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Виктор Пелевин

---

СОЧИНЕНИЯ  
В ДВУХ ТОМАХ

Том второй



Бубен  
Верхнего Мира

*Роман*  
*Повести*  
*Рассказы*



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1996

Художник  
*С. Соколов*

**Пелевин В.**  
П24      Сочинения: В 2 т. Т. 2: Жизнь насекомых: Роман; Затворник и Шестипалый; Принц Госплана; Желтая стрела: Повести; Бубен Верхнего Мира: Рассказы. — М.: ТЕРРА, 1996. — 384 с. — (Большая библиотека приключений и научной фантастики).

ISBN 5-300-00510-X (т. 2)

ISBN 5-300-00508-8

Во второй том Сочинений русского фантаста, лауреата Букеровской премии Виктора Пелевина включен роман-гротеск «Жизнь насекомых», фантастические повести и рассказы.

П 4703010000-292 Подписное  
А30(03)-96

ББК 84.Р7

ISBN 5-300-00510-X (т. 2)

ISBN 5-300-00508-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

# ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ

роман





*Я в своем саду. Горит светильник.  
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.  
Вместо слабых мира этого и сильных —  
Лишь согласное гуденье насекомых.*

Иосиф Бродский

## 1. РУССКИЙ ЛЕС

Главный корпус пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был мрачным серым зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного Иванушки. Его фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под гипсовым ветром снопами был обращен к узкому двору, где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской, а на набережную выходила массивная стена с двумя или тремя окнами. В нескольких метрах от колоннады поднимался бетонный забор, по которому уходили вдаль поблескивающие в лучах заката трубы теплоцентрали. Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона (скорее даже террасы), были заперты так давно, что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски, и двор обычно пустовал — только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб.

Но в этот вечер во дворе не было даже грузовика, поэтому гражданин, облокотившийся на лепное ограждение балкона, не был виден никому, кроме, может быть, пары патрульных чаек, белыми точками плывших в небе. Гражданин глядел вниз и вправо, на маленький домик лодочной станции, под крышей которого помещалась воронка репродуктора. Шумело море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений:

— ...вовсе не одинаковы, не скроены по одному шаблону...

— ...создал нас разными — не часть ли это великого замысла, рассчитанного, в отличие от скоротечных планов человека, на многие...

— ...чего ждет от нас Господь, глядящий на нас с надеждой? Сумеет ли мы воспользоваться Его даром?..

— ...Он и сам не знает, как проявят себя души, посланные Им на...

Долетели звуки органа. Мелодия была довольно величественной, только время от времени ее прерывало непонятное «умпс-умпс»; впрочем, особенно вслушаться не удалось, потому что музыка играла очень недолго и снова сменилась голосом диктора:

— Вы слушали передачу из цикла, подготовленного специально для нашей радиостанции по заказу американской благотворительной организации «Вавилонские реки»... по воскресеньям... по адресу: «Голос Божий», Bliss, Айдахо, США.

Репродуктор смолк, и мужчина загнул указательный палец.

— Ага, — пробормотал он, — сегодня воскресенье. Значит, танцы будут.

Выглядел он странно. Несмотря на теплый вечер, на нем были серая тройка, кепка и галстук (почти так же был одет стоявший внизу небольшой южный Ленин, по серебристое лоно увитый виноградом). Но мужчина, судя по всему, не страдал от жары и чувствовал себя вполне в своей тарелке. Иногда только он посматривал на часы, оглядывался и что-то укоризненно шептал.

Репродуктор несколько минут шипел вхолостую, а потом мечтательно заговорил по-украински. Тут мужчина услышал за спиной шаги и обернулся. По балкону к нему шли двое. Первым шагал низенький толстяк в белых шортах и пестрой майке. Следом шел иностранец в панаме, легкой рубашке и светлых бежевых штанах, с большим обтекаемым кейсом в руке. То, что это иностранец, было ясно не столько по одежде, сколько по хрупким очкам в тонкой черной оправе и по нежному загару того особого набоковского оттенка, которым кожа покрывается исключительно на других берегах.

Мужчина в кепке показал пальцем на свои часы и погрозил толстяку кулаком, на что тот ответил криком:

— Спешат! Врут все!

Сойдись, они обнялись.

— Привет, Арнольд.

— Здравствуй, Артур. Знакомьтесь, — толстяк повернулся к иностранцу, — это Артур, о котором я вам рассказывал. А это Сэмюэль Саккер. Говорит по-русски.

— Просто Сэм, — сказал иностранец, протягивая руку.

— Очень приятно, — сказал Артур. — Как добрались, Сэм?

— Спасибо, — ответил Сэм, — нормально. А что тут у вас?

— Все как обычно, — сказал Артур. — Вы себе представляете ситуацию в Москве, Сэм? Считайте, тут то же самое, только несколько больше гемоглобина и глюкозы. Ну и витаминов, конечно, — корм тут хороший, фрукты, виноград.

— И потом, — добавил Арнольд, — насколько мы знаем, вы на Западе просто задыхаетесь от различных репеллентов и инсектицидов, а наша упаковка экологически абсолютно чиста.

— А санитарно?

— Простите?

— Санитарно она чиста? Вы ведь про кожу? — сказал Сэм. Арнольд несколько смутился.

— Н-да, — нарушил Артур неловкую паузу. — Вы к нам надолго?

— Дня, думаю, на три-четыре, — ответил Сэм.

— И вы успеете за это время провести маркетинг?

— Я бы не стал употреблять слово «маркетинг». Просто хочу набраться впечатлений. Составить, так сказать, общее мнение, насколько целесообразно развивать здесь наш бизнес.

— Отлично, — сказал Артур. — Я уже наметил несколько образцов, которые в достаточной степени репрезентативны, и, думаю, завтра с утра...

— О нет, — сказал Сэм. — Никаких потемкинских деревень. Я предпочитаю двигаться наугад. Как ни странно, при этом получаешь самое верное представление о ситуации. И не завтра с утра, а прямо сейчас.

— Как? — ахнул Артур. — А отдохнуть? Выпить с дорожки?

— Действительно, — сказал Арнольд, — лучше бы завтра. И по нашим адресам. А то у вас сложится искаженное представление.

— Если у меня сложится искаженное представление, у вас будет достаточно времени, чтобы его исправить, — ответил Сэм.

Уверенным спортивным движением он вскочил на перила балкона и сел, свесив в пустоту ноги. Двое остальных, вместо того чтобы удержать его, влезли на ограждение сами. Артур проделал эту операцию без труда, а Арнольду она удалась только со второй попытки, и сел он не так, как первые двое, а спиной ко двору, словно для того, чтобы голова не кружилась от высоты.

— Вперед, — сказал Сэм и прыгнул вниз.

Артур молча последовал за ним. Арнольд вздохнул и спиной вперед повалился следом, как аквалангист, опрокидывающийся в море с борта лодки.

Окажись у этой сцены свидетель, он, надо полагать, перегнулся бы через перила, ожидая увидеть внизу три изувеченных тела. Но он не увидел бы там ничего, кроме восьми небольших луж, расплющенной пачки от сигарет «Приморские» и трещин на асфальте.

Зато если бы он обладал нечеловечески острым зрением, то смог бы разглядеть вдалеке трех комаров, улетающих в сторону скрытого за деревьями поселка.

Что почувствовал бы этот воображаемый наблюдатель и как бы он поступил — растерянно полез бы вниз по ржавой пожарной лестнице, единственному пути, ведущему прочь с давно и наглухо заколоченной террасы, или — кто знает? — ощутив в своей душе новое неведомое чувство, сел бы на серое лепное ограждение и повалился бы следом за тремя собеседниками? Не знаю. Да и вряд ли кто-нибудь знает, как поступил бы тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески острым зрением.

Отлетев на несколько метров от стены, Сэм оглянулся на компаньонов. Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета «мне избы серые твои», когда-то доводившего до слез Александра Блока; теперь они с мутной завистью глядели на своего спутника, покачиваясь в потоке воздуха, восходящем от нагретой за день земли.

Только неудобное устройство ротовых органов удержало Сэма Саккера от самодовольной гримасы. Он выглядел совсем иначе: он был светло-шоколадной раскраски, с изящными длинными лапками, поджарым брюшком и реактивно скошенными назад крыльями; если изменившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстым штырем, похожим не то на иглу титанического шприца, не то на измеритель скорости на носу реактивного истребителя, то губы Сэма элегантно вытягивались в шесть тонких упругих отростков, между которыми торчал длинный острый хоботок, — словом, понятно,

как выглядел москит-кантатор рядом с двумя простыми русскими насекомыми. К тому же Артур с Арнольдом летели каким-то бабьим брассом, а движения крыльев Сэма скорее напоминали баттерфляй, поэтому двигался он намного быстрее и ему даже иногда приходилось зависать в воздухе, чтобы подождать спутников.

Летели молча. Сэм описывал широкие круги вокруг Артура и Арнольда, которые угрюмо посматривали на его эволюции; особенно плохо было Арнольду, которого тянула к земле поблескивавшая в его брюхе рубиновая капля. Куда летел Сэм, было непонятно — он выбирал дорогу по ему одному известным приметам, несколько раз поворачивал и менял высоту, зачем-то влетел в окно, промчался по длинному пустому чердаку и вылетел с другой стороны; наконец навстречу поплыла белая стена с окном в синей раме, и все вокруг накрыла густая тень росших вокруг дома груш. Сэм снизился, подлетел к невысокому окну, затянутому белой марлей, и приземлился на криво прибитую доску, служившую карнизом. Артур с Арнольдом сели рядом. Как только стих тонкий звон крыльев, перекрывавший почти все остальные звуки, стал слышен доносящийся из-за марли храп.

Сэм вопросительно посмотрел на Артура.

— Тут дырка должна быть в углу, — шепотом сказал тот. — Обычно наши делают.

Дырка оказалась узкой щелью между рамой и марлей. Артур с Сэмом протиснулись в нее без особого труда, а у Арнольда возникли проблемы с брюхом; он долго сопел и отдувался и пролез только тогда, когда спутники втянули его внутрь за лапки.

В комнате было темно; пахло одеколоном, плесенью и потом. В центре размещался большой стол, покрытый клеенкой; рядом стояли кровать и тумбочка, на которой блестел ровный ряд граненых флаконов. На кровати, в ворохе скомканных простыней, лежало полуобнаженное тело, свесившее одну синюю трикотажную ногу к полу. Оно содрогалось в спазмах беспокойного сна и, естественно, не заметило появления на тумбочке недалеко от своей головы трех комаров.

— Что это у него за татуировка? — тихо спросил Сэм, когда его глаза привыкли к полумраку. — Ну, Ленин и Сталин — это понятно, а почему снизу написано «лорд»? Это что, местный аристократ?

— Нет, — ответил Артур. — Это аббревиатура. «Легавым отомстят родные дети».

— Он ненавидит собак?

— Понимаете, — снисходительно ответил Арнольд, — это сложный культурный пласт. Если я сейчас начну давать объяснения, мы буквально утонем. Давайте лучше, раз уж прилетели, брать пробу, пока материал спит.

— Да-да, — сказал Сэм. — Вы совершенно правы.

Он взмыл в воздух и после грациозного иммельмана над лежащим приземлился на участок тонкой нежной кожи возле уха.

— Арнольд, — восхищенно прошептал Артур, — ну и ну... Он же беззвучно летает.

— Америка, — констатировал Арнольд. — Ты лети присмотри за ним, а то мало ли.

— А ты?

— Я здесь подожду, — сказал Арнольд и похлопал себя лапкой по брюху.

Артур взлетел и, стараясь звенеть по возможности тише, подлетел к Сэму. Тот пока еще не делал лунки и сидел на буграх кожи, между которыми торчали волосы, походившие на молодые березки.

Сэм встал, прислонился к одной из березок и задумчиво уставился на далекие холмы сосков в густых рыжих зарослях.

— Знаете, — сказал он, когда Артур приземлился рядом, — я много путешествую, и что меня всегда поражает, это уникальная неповторимость каждого пейзажа. Я недавно был в Мексике — конечно, не сравнить. Такая богатая, знаете, щедрая природа, даже слишком щедрая. Бывает, чтобы напиться, долго бредешь сквозь грудной чапарраль, пока не находишь подходящего места. Ни на миг нельзя терять бдительности — с вершины волоса на тебя может напасть дикая вша, и тогда...

— А что, вша может напасть? — недоверчиво спросил Артур.

— Видите ли, мексиканские вши очень ленивые, и им, конечно, легче высосать кровь из тонкого комариного брюшка, чем добывать пищу честным трудом. Но они очень неповоротливы, и если вша нападает, обычно все же успеваешь взлететь. А в воздухе может сбить блоха. Словом, это суровый мир, жестокий, но в то же время прекрасный. Я, правда, больше люблю Японию. Знаете, эти долгие желтые пространства, почти лишенные растительности, но все же не похожие на пустыню. Когда смотришь на них с высоты, кажется, что попал

в глубокую древность. Но все это, конечно, надо видеть самому. Ничего нет красивее японских ягодич, когда их чуть золотит первый рассветный луч и обдувает тихий ветер... Боже, как прелестна бывает жизнь!

— А здесь вам нравится?

— Каждый пейзаж имеет свое очарование, — уклончиво ответил Сэм. — Я бы сравнил эти места (он кивнул головой в сторону нависшего над шеей уха) с Канадой в районе Великих Озер. Только здесь все ближе к неосвоенной природе, все запахи естественные... — он ткнул лапкой в основание волоса, — мы ведь и забыли, как она пахнет, мать-сыра кожа...

По интонации, с которой Сэм произнес последние слова, Артур понял, что тот щеголяет знакомством с русской идиоматикой.

— В общем, — добавил Сэм, — разница примерно как между Японией и Китаем.

— А вы и в Китае бывали? — спросил Артур.

— Приходилось.

— А в Африке?

— Сколько раз.

— Ну и как?

— Не могу сказать, чтобы мне особо понравилось. Такое ощущение, что попадаешь на другую планету. Все черное, мрачное. И потом — поймите меня правильно, я не расист, но местные комары...

Артур не нашел, о чем еще спросить, и Сэм, вежливо улыбнувшись, приступил к работе. Выглядело это непривычно. Он отогнул боковые отростки, его острый хоботок с невероятной скоростью завибрировал и, словно нож в колбасу, погружился в почву у основания ближайшей березки.

Артур тоже собирался выпить, но, представив себе, как его грубый и толстый нос будет с хрустом входить в неподатливую кожу, застеснялся и решил подождать. Сэм ухитрился попасть в капилляр с первой попытки, и теперь его брюшко из коричневого постепенно делалось красноватым.

Поверхность под ногами дрогнула, донеслось тихое мычание выдоха — Артур был уверен, что тело сделало это по своим внутренним причинам, без всякой связи с происходящим, но все же ему стало чуть не по себе.

— Сэм, — сказал он, — сворачивайтесь. Тут вам не Япония.

Сэм не обратил на его слова никакого внимания. Артур

поглядел на него и вздрогнул. Пушистое рыльце Сэма, мину-ту назад бывшее осмысленным и интеллигентным, странно исказилось, а выпуклые волосатые глаза, обведенные похуже на оправу тонкой черной линией, перестали выражать вообще что-либо, словно из зеркала души превратились в две угасшие фары. Артур приблизился и слегка толкнул Сэма.

— Эй, — настойчиво сказал он, — пора.

Сэм никак не отреагировал. Тогда Артур толкнул его сильнее, но тот словно врос в почву. Его брюшко продолжало надуваться. Вдруг тело под ногами заворочалось и издало хриплый рык. Артур в панике подпрыгнул и заорал что было мочи:

— Арнольд! Сюда!

Но Арнольд, встревоженный суетой и криками, уже подлетал сам.

— Что ты звенишь на всю комнату? Что случилось?

— Что-то с Сэмом, — отвечал Артур, — его, по-моему, парализовало. Никак растолкать не могу.

— Давай его под крылья. Ага, вот так. Осторожно, ты ему на лапку наступил. Сэм, лететь можете?

Сэм слабо кивнул. Кожа, на которой они стояли, затряслась и стала крениться вправо.

— Быстро вверх! Он встает! Сэм, машите крыльями, потом поздно будет! — кричал Артур, поддерживая погрузневшее туловище Сэма и еле успевая уворачиваться от его крыльев, бессмысленно ходящих взад-вперед.

Наконец, кое-как удалось сесть на тумбочку. Тело поднялось с кровати, нависло над комарами, и в страшной тишине из-под потолка на них черной тенью понеслась огромная ладонь. Когда Артур с Арнольдом уже собирались швырнуть Сэма навстречу судьбе и взмыть в разные стороны, ладонь изменила направление, метко схватила один из стоящих на тумбочке флаконов и исчезла вверх; раздался далекий рев пружин; тело опять закачалось на койке.

— Артур, — тихо спросил Арнольд, — ты не знаешь, что в этих флаконах?

— А это лес, — вдруг сказал Сэм. — Русский наш лес.

— Какой лес?

— Кипр шипр, — непонятно отозвался Сэм.

— Сэм, вы в порядке? — спросил Арнольд.

— Я? — зловеще усмехнулся Сэм. — Я-то в порядке. А вот с вами порядок мы еще наведем...

— Надо его на воздух быстрее, — озабоченно сказал Артур. Арнольд кивнул и попытался поднять Сэма, но тот хлестнул его крылом по рылу, взмыл в воздух, понесся к окну и с невероятной ловкостью проскочил сквозь узкую щель между рамой окна и марлевым экраном, за которым уже синели сгустившиеся южные сумерки.

Утро следующего дня было тихим. Сползающий с гор туман затекал в кипарисовые аллеи, и сверху казалось, что под его поверхностью, рассеченной параллельными зелеными дамбами, нет никакого дна, а если и есть, то очень далеко. Редкие прохожие казались чем-то вроде рыб, медленно плывущих на небольшой глубине; их очертания были неясными, и Артур с Арнольдом уже два раза снижались напрасно, приняв за Сэма Саккера сначала размокшую коробку от телевизора, а потом маленький стог сена, накрытый куском полиэтилена.

— Может, сел на попутку и в Феодосию уехал? — нарушил молчание Артур.

— Может, может, — отвечал Арнольд. — Все может.

— Гляди, — сказал Артур, — не он?

— Нет, — всмотревшись, сказал Арнольд, — не он. Это статуя волейболиста.

— Да нет, дальше, у ларька. Из кустов выходит.

Арнольд увидел крупный предмет, издалика похожий на большой навозный шар. Предмет вывалился из кустов, покачиваясь докатился до скамейки и плюхнулся на нее, вытянув вперед странно тонкие ноги.

— Садимся, — сказал Арнольд.

Через минуту они вышли из-за пустого газетного ларька, оглядели три или четыре метра видимого пространства и сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм, но от того Сэма, который вчера вечером стоял на балконе пансионата, он отличался очень сильно. Дело было не в увеличившемся животе — эта обычная для комаров трансформация не заслуживала внимания, — а в лице, которое, оставаясь тем же самым, казалось теперь чем-то набитым, но не так, как, например, фаршированный яблоками гусь, а скорее как фаршированное гусем яблоко.

«Черт, — подумал Артур, глядя на спокойный и жуткова-

тый профиль иностранца, — может, ему эту группу крови нельзя? Может, у него аллергия?»

— Еле вас нашли, Сэм, — заговорил Арнольд.

— А чего меня искать, — сказал Сэм, — вот он я. Сами, значит, подрулили.

Говорил он новым, незнакомым голосом, глухим и медленным.

— Где же вы ночевали? — спросил Артур. — Неужели прямо на лавке? Тут ведь места для вас незнакомые, а народ сейчас знаете какой...

Сэм неожиданно повернулся к Артуру и сгреб его за ладони.

— Что вы, Сэм... — отдирая его руки, зашипел Артур, — пустите! Пустите! На нас люди смотрят!

Это было неправдой — на него и Сэма смотрел только растерянный Арнольд.

— Признайся, блядь, — сурово сказал Сэм, — ведь сосешь русскую кровь?

— Сосу, — тихонько ответил Артур.

Сэм высвободил одну руку и чугунными пальцами схватил за шею Арнольда.

— И ты сосешь?

— И я, — потрясенно сознался Арнольд.

Рука давила на плечи Арнольда с такой силой, что он осел под ней, как штангист, попытавшийся взять слишком большой вес, и даже вспомнил про каменную десницу из трагедии Пушкина, которую читал еще личинкой. Сэм погрузился в молчание, как бы обдумывая, что еще сказать.

— Так что ж вы ее сосете-то? — туповато спросил он минуты через три.

— Пить хочется, — жалко сказал Артур.

Арнольд не видел его — все заслоняло выпирающее брюхо Сэма, похожее на одинокий красный парус. Арнольд почувствовал обиду за унижение в голосе товарища.

— А что это за намеки такие? — язвительно спросил он. — Мы всякую сосем. Да и вы разве не сосете? Я такие разговоры давно понял. Просто сами высосать хотите до последней капли, и все. Вон брюхо-то какое. Нам с Артуром за неделю столько не выпить.

Сэм отпустил Артура и потрогал ладонью свой огромный колышущийся живот.

— Вставай, страна огромная, — пробормотал он и с напряжением приподнялся, рукой чуть не размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз коротко глотнул воздух, потом нагнул голову, но вместо того чтобы чихнуть, как можно было предположить по увертюре, окатил асфальт перед собой струей темно-вишневой рвоты, пахнувшей кровью и одеколоном, и его огромный живот уменьшился сразу наполовину.

— Где я? — озираясь, спросил он голосом, уже немного напоминающим голос прежнего Сэма.

— Вы у друзей, — сказал полураздавленный Арнольд, чувствуя, как слабеет сдавившая его плечо рука. — Не волнуйтесь.

Сэм помотал головой и посмотрел на огромную кровавую лужу у себя под ногами.

— Что происходит? — спросил он.

— Понимаете, — заговорил Артур, — произошла техническая ошибка. Попался бракованный экземпляр. Вы не думайте, что все у нас «Русский лес» пьют...

От этих слов глаза Сэма сразу заволкло прежней мутью, и он снова сгреб Артура с Арнольдом.

— А ну пошли, — сказал он.

— Куда это? — испуганно спросил Артур.

— Увидишь. Пить им, сукам, захотелось...

Увлекая за собой слабо сопротивляющихся компаньонов, Сэм сделал несколько монументальных шагов по аллее в сторону набережной, и его снова вырвало, на этот раз намного более основательно. Широкий темный ручей, обдав Артура с Арнольдом небывалым запахом (так могли бы пахнуть, наверное, картонные орхидеи демонстрантов), заструился по асфальтовому уклону. Арнольд почувствовал, что кисть, только что крюком тягача тащившая его за собой, теперь сама цепляется за его шею в поисках опоры.

— Вроде все, — сказал он Артуру, перехватывая руку Сэма. — Проведем его по набережной, пусть отдышится.

— Что это с ним было? — спросил Артур.

— Не очень устойчивая психика, — ответил Арнольд. — Перепил крови и потерял контроль. Что-то вроде транса.

Аллея кончилась, и все трое пошли по набережной. Сэм уже передвигался сам, слегка пошатываясь и поправляя очки, на одном из стекол которых успела появиться трещина.

— Сэм, вы в порядке? — спросил Арнольд.

— Кажется, да, — слабым голосом ответил Сэм.

— Идти сами можете?

— Господа, — сказал Сэм, — прошу меня извинить. Я в ужасе от своего поведения.

— Ерунда какая, — весело сказал Арнольд. — Подумаешь. Мы уж и забыли все.

— Говорил я, — влез Артур, — отдохнуть надо сначала.

— Я извиняюсь, — сказал Сэм, — а где мой портфель?

Арнольд огляделся по сторонам. Кейса нигде не было видно.

— Вот незадача. А что у вас там? Что-нибудь ценное?

— Ничего особенного. Материалы для консервации. Видеокамера. Но как теперь пробы брать?

— Ясно, — сказал Арнольд, — вы его там и забыли. Сейчас вернемся... Ну хорошо, хорошо, Сэм. Понимаю. Я лично слегаю и все выясню.

— Но какой шквал эмоций, — проговорил Сэм, — какой водопад чувств! Поверите, меня чуть не смело.

Артур с Арнольдом бережно усадили худенькое дрожащее тело на лавку и устроились по бокам. Сэм мелко дрожал.

— Успокойтесь, Сэм, — по-матерински зашептал Арнольд, — видите, как вокруг хорошо и тихо. Вон чайки летают, девушки ходят. Вон кораблик плывет. Красота какая, а?

Сэм поднял глаза. Сквозь туман по бетонным плитам набережной уже брели первые утренние отдыхающие. Со стороны столовой долетели два голоса: детский, что-то неразборчиво спросивший, и авторитетный басок, так же неразборчиво что-то ответивший.

Из тумана появился невысокий усатый мужчина в спортивном костюме. Следом плелся мальчик с наполненной чем-то тяжелым пляжной сумкой в руке. Он догнал мужчину и пошел рядом, косясь на Сэма и его спутников. На ногах у мальчика были синие вьетнамки, и он шаркал левой ногой, потому что одна из резиновых тесемок была порвана.

## 2. ИНИЦИАЦИЯ

— Папа, видел, какие странные дяди? — сказал мальчик, когда лавка осталась позади.

Отец сплюнул на дорогу.

— Пьянь, — сказал он. — Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь.

Откуда-то в его руках появился кусок слежавшегося навоза. Он кинул его сыну, и мальчик еле успел подставить руки. Из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не надо себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди, но едва в ладони шлепнулся теплый навоз, все стало понятно, и мальчик молча опустил папин подарок в сумку.

Из тумана выплыла длинная и узкая палатка, похожая на стоящий на боку спичечный коробок. Внутри за разноцветными сигаретными пачками, парфюмерными флаконами и позорными кооперативными штанами скучала продавщица. За ее спиной дымилось замызганное стекло гриль-машины, в которой жарились белые равнодушные куры. На стене палатки висел динамик, из которого рывками вылетала музыка, словно ее сквозь черную пластмассовую сетку прокачивал невидимый велосипедный насос.

— Простите, а где тут пляж? — спросил отец у продавщицы.

Продавщица высунула руку из окошка и молча указала пальцем в туман.

— Гм... А сколько вон те стаканчики стоят? — спросил отец.

Продавщица тихо ответила.

— Ничего себе, — сказал отец. — Ну давайте.

Он протянул стаканчики сыну, тот положил их в сумку, и они двинулись дальше. Палатка исчезла, а впереди появился

небольшой мост. За ним туман оказался еще гуще — ясно был виден только бетон под ногами, и еще по сторонам просвечивали размытые зеленые полосы, похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья. Вместо неба над головой был низкий белый свод тумана, а слева иногда появлялись пустые бетонные емкости для земли с ребристыми стенками — они расширялись кверху и из-за этого напоминали перевернутые пивные пробки.

— Папа, — спросил мальчик, — а из чего состоит туман?

Отец задумался.

— Туман, — сказал он, протягивая сыну несколько маленьких кусочков навоза, — это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе.

— А почему они не падают на землю?

Отец поразмышлял и протянул мальчику еще кусок.

— Потому что они очень маленькие, — сказал он.

Мальчик опять не успел заметить, откуда папа взял навоз, и поглядел по сторонам, словно пытаясь разглядеть эти маленькие капельки.

— Мы не заблудимся? — озабоченно спросил он. — Ведь вроде уже должен быть пляж.

Отец не ответил. Он молча шел сквозь туман, и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Мальчику помешало, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира сквозь огромные клочья ваты, изображающей снег, ползут неясно куда, и отец лишь делает вид, что знает дорогу.

— Папа, и куда это мы только идем, идем...

— Чего?

— Так...

Мальчик поднял глаза и увидел сбоку неясное мерцание. В белой мгле нельзя было разобрать, где находится его источник и что это светится — то ли часть тумана совсем рядом сияет голубым огнем, то ли издали пытается пробиться луч включенного неизвестно кем прожектора.

— Папа, гляди!

Отец поднял глаза и остановился.

— Что это такое?

— Не знаю, — сказал отец, трогаясь дальше. — Наверно, фонарь какой-нибудь забыли погасить.

Мальчик пошел следом, косясь на уплывающий назад свет. Несколько минут они шли молча; мальчик иногда огля-

дывался, но света больше не было видно. Зато в голову опять стали приходить странные, ни на что не похожие мысли, какие в нормальном месте никогда не возникли бы.

— Слышишь, пап, — сказал мальчик, — мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились. Что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет. И даже страшно стало...

Отец рассмеялся и потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда-то появился такой здоровый кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной навозной бабы.

— Знаешь, как в народе говорят, — сказал он, передавая кусок сыну, — жизнь прожить — не поле перейти.

Мальчик уклончиво кивнул, с трудом втиснул папин подарок в свою сумку и перехватил ее поудобнее, потому что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться.

— А бояться не надо, — сказал отец, — этого не надо... Ты ведь мужчина, солдат. На вот.

Получив новый кусок навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил, а следом на бетон шлепнулась сумка, и там хрустнули, разбившись, стаканы. Мальчик сел на корточки у сумки, из которой при падении вывалилась бóльшая часть навоза, потрогал ее рукой, испуганно поднял глаза на отца, но вместо ожидаемой хмурой гримасы обнаружил на его лице торжественное и немного официальное умиление.

— Вот ты и стал взрослым, — помолчав, сказал отец и вручил сыну новую пригоршню навоза. — Считаю, сегодня твой второй день рождения.

— Почему?

— Теперь ты уже не сможешь нести весь навоз в руках. У тебя теперь будет свой Йа, как у меня и мамы.

— Свой Йа? — спросил мальчик. — А что такое Йа?

— Посмотри сам.

Мальчик внимательно поглядел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный серо-коричневый шар.

— Что это? — испуганно спросил он.

— Это мой Йа, — сказал отец. — И теперь такой же будет у тебя.

— А почему я его раньше не видел?

— Ты был еще маленьким. А сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный шар сам.

— А почему он такой зыбкий? Из чего он?

— Зыбким, — сказал отец, — тебе шар кажется потому, что ты только что его увидел. Когда привыкнешь, поймешь, что это самая реальная вещь на свете. А состоит он из чистого навоза.

— А-а, — протянул мальчик, — так вот где ты все время навоз брал. А то ты его мне все даешь, даешь, но откуда — непонятно. У тебя его вон сколько, оказывается. А какое ты слово сказал?

— Йа. Это священный египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой шар, — торжественно ответил отец. — Пока твой Йа еще маленький, но постепенно он будет становиться все больше и больше. Часть навоза дадим тебе мы с мамой, а потом ты научишься находить его сам.

Мальчик все еще сидел на корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами.

— А где я буду находить навоз? — спросил мальчик.

— Вокруг, — сказал отец и указал рукой в туман.

— Но там же никакого навоза нет, папа.

— Наоборот, там один навоз.

— Я не понимаю, — сказал мальчик.

— Держи. Сейчас поймешь. Чтобы все вокруг стало навозом, надо иметь Йа. Тогда весь мир окажется в твоих руках. И ты будешь толкать его вперед.

— Как это можно толкать вперед весь мир?

Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперед.

— Это и есть весь мир, — сказал он.

— Что-то я не понимаю, — сказал мальчик, — как это навозный шар может быть всем миром. Или как это весь мир может стать навозным шаром.

— Не все сразу, — сказал отец, — подожди, пока твой Йа станет побольше, тогда поймешь.

— Шарик же маленький.

— Это только так кажется, — сказал отец. — Посмотри, сколько навоза я тебе сегодня дал. А мой Йа от этого совсем не уменьшился.

— Но если это весь мир, то что же тогда все остальное?

— Какое остальное?

— Ну, остальное.

Отец терпеливо улыбнулся.

— Я знаю, это сложно понять, — сказал он. — Но, кроме навоза, ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, — отец ши-

роким жестом обвел туман, — это на самом деле Йа. И цель жизни — толкать его вперед. Понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь Йа изнутри.

Мальчик наморщился и некоторое время думал. Потом он начал сгребать вывалившийся перед ним навоз ладонями и с удивительной легкостью за несколько минут слепил шар, не особо круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь-в-точь с мальчика, и это показалось ему странным.

— Папа, — сказал он, — ведь только что навоза у меня была всего одна сумка. А здесь его полгрузовика. Откуда он взялся?

— Здесь весь навоз, который мы с мамой дали тебе с рождения, — сказал отец. — Ты его все время нес с собой, просто не видел.

Мальчик оглядел стоящий перед ним шар.

— Значит, теперь надо толкать его вперед?

Отец кивнул головой.

— А все вокруг и есть этот шар?

Отец опять кивнул.

— Но как же я могу одновременно видеть этот шар изнутри и толкать его вперед?

— Сам не знаю, — развел руками отец. — Вот когда вырастешь, станешь философом и всем нам объяснишь.

— Хорошо, — сказал мальчик, — если ничего, кроме навоза, нет, то кто же тогда я? Я-то ведь не из навоза.

— Попробую объяснить, — сказал отец, погружая руки в шар и передавая сыну еще горсть. — Правильно, вот так, вот так, ладошками... Теперь погляди внимательно на свой шар. Это ты и есть.

— Как это так? Я ведь вот, — сказал мальчик и показал на себя большим пальцем.

— Ты неправильно думаешь, — сказал отец. — Ты логически рассуждай. Если ты говоришь про что-то «Йа», то значит, это ты и есть. Твой Йа и есть ты.

— Мое ты и есть Йа? — переспросил мальчик. — Или твое ты?

— Нет, — сказал отец, — твой Йа и есть ты. Сядь на лавку, успокойся, и сам все увидишь.

То, что отец назвал лавкой, было длинным и толстым бревном квадратного сечения, лежащим на границе видимости. Один его торец сильно обгорел — видно, перекинулся огонь из подоженной урны, — и теперь лавка напоминала во

много раз увеличенную спичку. Мальчик подкатил свой Йа к лавке, уселся и поглядел на отца.

— А туман не помешает? — спросил он.

— Нет, — ответил отец. — Вон, гляди, уже почти видно. Только больше никуда не смотри.

Мальчик поглядел на папу, недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего свежеслепленного шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул.

Из глубины шара на него глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными челюстями. Шей не было — голова переходила в твердый черный панцирь, по бокам которого шевелились зазубренные черные лапки.

— Что это такое? — спросил мальчик.

— Это отражение.

— Чего?

— Ну как же так? Ведь только что все понял, а? Давай опять логически. Спроси себя сам — если я вижу перед собой отражение и знаю, что передо мной Йа, что я вижу?

— Себя, наверно, — сказал мальчик.

— Вот, — сказал отец, — понял наконец.

Мальчик задумался.

— Но ведь отражение всегда бывает в чем-то, — сказал он, поднимая взгляд на рогатую и черную папину морду, поблескивающую бусинками глаз.

— Правильно, — сказал отец, — ну и что?

— В чем оно?

— Как в чем? Ну ты даешь. Все же у тебя перед глазами. Конечно, в самом себе, в чем же еще?

Мальчик долго молчал, вглядываясь в навозный шар, а потом закрыл лапками морду.

— Да, — наконец сказал он изменившимся голосом. — Конечно. Понял. Это Йа. Конечно, это же Йа и есть.

— Молодец, — сказал отец, слезая со спички и чуть вставая на четырех задних лапках, чтобы передними ухватиться за свой шар. — Идем дальше.

Туман вокруг достиг такой плотности, что скорее походил на клубы пара в бане, и о движении можно было судить толь-

ко по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через каждые три метра из белого небытия появлялись забитые грязью щели между плитами — в некоторых росла трава. На краях плит были неглубокие выемки с ржавыми железными скобами, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об окружающем мире ничего нельзя было сказать.

— А Йа есть только у навозников? — спросил мальчик.

— Почему? Йа есть у всех насекомых. Собственно говоря, насекомые и есть их Йа. Но только скараabei в состоянии его видеть. И еще скараabei знают, что весь мир — это тоже часть их Йа, поэтому они и говорят, что толкают весь мир перед собой.

— Так что, выходит, все вокруг тоже навозники? Раз у них есть Йа?

— Конечно. Но те навозники, которые про это знают, называются скараabeями. Скараabei — это те, кто несет древнее знание о сущности жизни, — сказал отец и похлопал лапкой по шару.

— А ты скараabei, папа?

— Да.

— А я?

— Еще не совсем, — сказал отец. — Над тобой должно совершиться главное таинство.

— А что это за главное таинство?

— Понимаешь, сынок, — сказал отец, — его природа настолько непостижима, что лучше о ней даже не говорить. Просто подожди, пока это произойдет.

— А долго ждать?

— Не знаю, — сказал отец. — Может, минуту. А может, три года. Он с выдохом толкнул свой шар дальше и побежал за ним.

Глядя на отца, мальчик старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом толчке глубоко погружались в навоз, и было непонятно, как это он успевает их вытаскивать.

Мальчик попытался так же глубоко погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось — для этого просто надо было сложить пальцы щепоткой. Поворачиваясь, шар утаскивал за собой руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли. «А что, если еще глубже?» — подумал мальчик и изо всех сил воткнул руки в навоз. Шар покатился вперед, ноги мальчика оторвались

от земли, и сердце екнуло, словно он первый раз в жизни делал «солнышко» на качелях. Он взлетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понесся вниз вместе с накатывающейся на бетон навозной сферой. Падая, он понял, что шар сейчас проедет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма, а когда мальчик пришел в себя, его уже поднимала вверх та самая навозная полусфера, которая только что придавила его к бетону.

— Доброе утро, — послышался папин голос. — Как спалось?

— Что же это такое, папа? — спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение.

— Это жизнь, сынок, — ответил отец.

Поглядев в его сторону, мальчик увидел серо-коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу. Папы нигде не было — но, приглядевшись, мальчик заметил на поверхности навоза размазанный нечеткий силуэт, который крутился вместе с шаром. В этом силуэте можно было выделить туловище, руки, ноги и даже два глаза, взгляд которых был устремлен одновременно и внутрь шара, и наружу. Эти глаза печально смотрели на мальчика.

— Молчи, сынок, молчи. Я знаю, что ты спросишь. Да. Со всеми происходит именно это. Мы, скарабеи, просто единственные, кто это видит.

— Папа, — спросил маленький шар, — а почему же я раньше думал, что ты идешь за своим шаром и толкаешь его вперед?

— А это потому, сынок, что ты был еще маленький.

— И всю жизнь так, башкой о бетон...

— Но все-таки жизнь прекрасна, — с легкой угрозой сказал отец. — Спокойной ночи.

Мальчик глянул вперед и увидел наезжающую на глаза бетонную плиту.

— Доброе утро, — сказал большой шар, когда тьма рассеялась, — как настроение?

— Никак, — ответил маленький.

— А ты старайся, чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый — о чем тебе грустить? То ли де...

Большой шар вздрогнул и замолчал.

— Ты ничего не слышишь? — спросил он у маленького.

— Ничего, — ответил тот. — А что я должен слышать?

— Да вроде... Нет, показалось, — сказал большой шар. — О чем я говорил?

- О настроении.
- Да. Ведь мы сами создаем себе настроение и все остальное. И надо стремиться, чтобы... Опять.
- Что? — спросил маленький.
- Шаги. Не слышишь?
- Нет, не слышу. Где?
- Впереди, — ответил большой шар, — как будто слон бежит.
- Это тебе кажется, — сказал маленький. — Спокойной ночи.
- Спокойной ночи.
- Доброе утро.
- Доброе утро, — вздохнул большой. — Может, и кажется. Ты знаешь, йа ведь старый уже. Здоровье шалит. Иногда утром проснусь и думаю — вот так буду где-нибудь катиться и...
- Почему, — сказал маленький, — вовсе ты не старый.
- Старый, старый, — с грустью отозвался большой. — Скоро тебе уже придется обо мне заботиться. А ты небось не захочешь...
- Как не захочу? Захочу.
- Это ты сейчас так думаешь. А потом у тебя своя жизнь начнется, и... Вот опять.
- Что опять? — нетерпеливо спросил маленький шар.
- Шаги. Ой... А теперь колокол бьет. Не слышишь?
- Большой шар остановился.
- Покатали вперед, — сказал маленький шар.
- Нет, — сказал большой, — ты катись, а йа тебя догоню.
- Ладно, — согласился маленький и исчез в тумане.
- Большой шар оставался на месте. Никаких шагов больше слышно не было, и он медленно тронулся вперед.
- Сынок! — крикнул он. — Эй! Ты где?
- Йа здесь, — ответил голос из тумана. — Спокойной ночи!
- Спокойной ночи!
- Доброе утро!
- Доброе утро! — крикнул большой шар, покатился в сторону, откуда долетел ответ, и двигался довольно долго, пока не стало ясно, что они с сыном разминулись.
- Эй! — крикнул он снова. — Ты где?
- Йа здесь.

На этот раз голос долетел издалека и слева. Большой шар двинулся было туда, но сразу же испуганно замер. Впереди раздался громopodobный удар, такой сильный, что даже бетон под ногами мелко задрожал. Следующий удар раздался

ближе, и навозный шар увидел огромную красную туфлю с острым каблуком, врезавшимся в бетон в нескольких метрах впереди.

— Папа! Я теперь тоже слышу шаги! Что это? — долетел далекий голос сына.

— Сынок! — отчаянно прокричал отец.

— Папа!

Мальчик закричал от страха и поднял взгляд. Над его головой мелькнула тень, и на миг ему показалось, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве, уносящуюся в небо, и еще показалось, что в невероятной высоте, куда взмыла туфля, возник силуэт огромной расправившей крылья птицы. Мальчик с трудом отлепил руки от навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел отцовский голос. Через несколько шагов он наткнулся на большое темное пятно на асфальте, поскользнулся и чуть не упал.

— Папа, — тихо сказал он.

Видеть то, что осталось от папы, было слишком тяжело, и он, постепенно понимая, что произошло, побрел назад к своему шару. Перед его глазами встала добрая папина морда со страшными только на вид хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз, и он заплакал. Потом он вспомнил, как папа, протягивая ему кусок навоза, говорил, что слезами горю не поможешь, и перестал плакать.

«Папина душа полетела на небо, — подумал он, вспомнив быстро уносящееся вверх пятно на огромной подошве, — и я уже ничем не смогу ему помочь».

Он поднял взгляд на шар, удивился, каким тот стал большим за последнее время, потом посмотрел на свои руки и со вздохом положил их на теплую податливую поверхность навоза. Поглядев последний раз туда, где оборвалась папина жизнь (ничего, кроме тумана, видно уже не было), он толкнул Йа вперед.

Шар был таким массивным, что требовал всего внимания и всей силы, и мальчик полностью погрузился в свой нелегкий труд. В его голове мелькали смутные мысли — сначала о судьбе, потом о папе, потом о себе самом, — и скоро он приоровился, и уже не надо было толкать шар, достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких черных лапках, чуть

приподняв морду, чтобы длинный хитиновый вырост на нижней челюсти не цеплял за шар. А еще через несколько шагов лапки достаточно глубоко увязли в навозе, шар поднял мальчика, обрушил на бетон, и жизнь вошла в свое русло, по которому шар и покатился вперед.

Бетонная плита наезжала на глаза, и наступала тьма, а когда появлялся свет, оставалась только слабая память о том, что минуту назад снилось что-то очень хорошее.

«Йа вырасту большой, женюсь, у меня будут дети, и йа научу их всему, чему меня научил папа. И йа буду с ними таким же добрым, каким он был со мной, а когда йа стану старым, они будут обо мне заботиться, и все мы проживем долгую счастливую жизнь», — думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу новому дню движения сквозь холодный туман по направлению к пляжу.

### 3. ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Вверху было только небо и облако в его центре, похожее на чуть улыбающееся плоское лицо с закрытыми глазами. А внизу долгое время не было ничего, кроме тумана, и когда он наконец рассеялся, Марина так устала, что еле держалась в воздухе. С высоты было заметно не так уж много следов цивилизации: несколько бетонных молотков, дощатые навесы над пляжем, корпуса пансионата и домики на далеких склонах. Еще была видна глядящая ввысь чаша антенны на вершине холма и стоящий рядом вагончик из тех, что называют наваристым словом «бытовка». Вагончик и антенна были ближе всего к небу, с которого медленно спускалась Марина, и она разглядела, что антенна — ржавая и старая, дверь вагончика крест-накрест заколочена досками, а стекла в его окне выбиты. От всего этого веяло печалью, но ветер пронес Марину мимо, и она сразу же забыла об увиденном. Расправив полупрозрачные крылья, она сделала в воздухе прощальный круг, взглянула напоследок в бесконечную синеву над головой и стала выбирать место для посадки.

Выбирать было особенно не из чего — достаточно пустого пространства было только на набережной, и Марина понеслась над бетонными плитами, еще в воздухе начав перебирать ногами. Посадка чуть не кончилась катастрофой, потому что в плитах попадались металлические решетки для стока воды, и Марина чудом не угодила в одну из них тонким каблучком. Коснувшись ногами земли, она быстро побежала вперед, стуча красными каблучками по бетону, метров через тридцать погасила инерцию, остановилась и огляделась.

Первым объектом, с которым она встретилась в новом для себя мире, оказался большой фанерный щит, где было нарисо-

вано несбывшееся советское будущее и его прекрасные обитатели — Марина на минуту впиалась глазами в их выцветшие нордические лица, над которыми висели похожие на ватрушки из «Книги о вкусной и здоровой пище» космические станции, а потом перевела взгляд на закрывавшую полстенда афишу, написанную от руки на ватмане широким плакатным пером:

**ПРИШЕЛЬЦЫ СРЕДИ НАС**

*Лекция о летающих тарелках и их пилотах*

*Новые факты. Демонстрация фотографий*

*Для желающих после лекции проводится*

**СЕАНС ЛЕЧЕБНОГО ГИПНОЗА**

*Лекцию и сеанс проводит*

*лауреат Воронежского слета экстрасенсов*

*кандидат технических наук А. У. Пауков*

В кустах за афишей подрагивали последние сгустки тумана, но небо над головой было уже ясным и с него вовсю светило солнце. В конце набережной был мост над впадающим в море сточным ручьем, а за ним стоял ларек, от которого доносилась музыка — именно такая, какая и должна играть летним утром над пляжем. Справа от Марины, на лавке перед душевым павильоном, дремал старик с гривой желтовато-седых волос, а в нескольких метрах слева, возле похожих на маленькую белую виселицу весов, ждала клиентов женщина в медицинском халате.

Марина услышала шуршание крыльев, подняла голову и увидела еще двух снижающихся муравьиных самок, повторяющих маневры, которые несколько минут назад проделала она. С их плеч свисали точно такие же сумки, как у Марины, и одеты они были так же — в джинсовые юбки, кооперативные блузки и красные туфельки на острых каблуках. Та, что летела впереди и ниже, пронеслась над ограждением набережной и, набирая высоту, помчалась над морем. Вторая пошла было на посадку, потом, видно, передумала и быстро замахала крыльями, пытаясь подняться, но было уже поздно, и она на всей скорости врезалась в витрину палатки. Раздались звон стекол и крики; Марина сразу же отвела глаза, успев только заметить, что к месту происшествия кинулось несколько прохожих.

Рядом по набережной, задрвав крылья и балансируя сумкой, пробежала еще одна только что приземлившаяся пере-

пнчатокрылая самка. Марина поправила на плече сумочку, развернулась и неспешно пошла вдоль длинного ряда скамеек.

На душе у нее стало легко и покойно, и если бы еще не жали туфельки, было бы совсем хорошо. Навстречу попадались загорелые волосатые мужчины в плавках — они оценивающе обводили стройную Маринину фигуру глазами, и от каждого такого взгляда делалось тепло и начинало сладко сосать под ложечкой. Марина дошла до моста над ручьем, полюбовалась белой полосой пены на границе моря и суши, послушала шорох перекатывающейся под волнами гальки и повернула назад.

Через несколько шагов она ощутила неясное томление — пора было что-то сделать. Марина никак не могла взять в толк, что именно, пока не обратила внимания на тихий шелест за спиной. Тогда она сразу поняла — или, скорее, вспомнила.

Крылья, которые до сих пор волочились за ней по пыли, были не нужны. Она подошла к краю тротуара, огляделась по сторонам и нырнула в кусты. Там она присела, сунула руку за плечо, поймала ладонью основание крыла и изо всех сил дернула. Ничего не произошло — крыло держалось слишком прочно. Марина дернула второе, и тоже безрезультатно. Тогда она наморщила лоб и задумалась.

— А, ну да, — пробормотала она и открыла сумочку. Первым, что попало ей под руку, был небольшой напильник.

Пилить крылья было не больно, но все же неприятно; особенно раздражал скребущий звук, от которого в лопатках возникало подобие зубной боли. Наконец крылья упали в траву, и от них остались только выступы возле лопаток и две дыры в кофточке. Марина сунула напильник в сумку, и в ее душу вернулся радостный покой. Она вынырнула из кустов на залитую светом набережную.

Мир вокруг был прекрасен. Но в чем именно заключалась эта красота, сказать было трудно: в предметах, из которых состоял мир, — в деревьях, скамейках, облаках, прохожих — ничего особенного вроде бы не было, но все вместе складывалось в ясное обещание счастья, в честное слово, которое давала жизнь непонятно по какому поводу. У Марины внутри прозвучал вопрос, выраженный не словами, а как-то по-другому, но означавший несомненно:

«Чего ты хочешь, Марина?»

И Марина, подумав, ответила что-то хитрое, тоже не вы-

разимое словами — но вложила в этот ответ всю упрямую надежду молодого организма.

— Вот такие песни, — прошептала она, глубоко вдохнула пахнувший морем воздух и пошла по набережной навстречу сияющему дню. Вокруг прохаживалось довольно много муравьиных самок; они ревниво поглядывали друг на друга и на Марину, на что она отвечала такими же взглядами; впрочем, смысла в этом не было, потому что различий между ними не существовало абсолютно никаких.

Не успела Марина подумать, что надо бы чем-нибудь себя занять, как увидела прибитую к деревянному столбу стрелку с надписью:

*Кооператив «АО ЛЮЭС»  
Видеобар с непрерывным показом  
французских художественных фильмов*

Стрелка указывала на тропинку, ведущую к большому серому зданию за деревьями.

Видеобар оказался затхлым подвалом с кое-как подмалеванными стенами, пустыми сигаретными пачками над стойкой и мерцающим в углу экраном. Сразу за дверью Марину остановил выпуклый мужик в спортивном костюме и потребовал два шестьдесят за вход. Марина полезла в сумку и нашла там маленький кошелек из черного дерматина; в кошельке оказались два мятых рубля и три двадцатикопеечные монеты. Она пересыпала их в мускулистую ладонь, которая сжала деньги тремя пальцами, а четвертым указала на свободное место за столиком.

Вокруг большей частью были недавно приземлившиеся девушки в дырявых на спине блузках. Телевизор, в который они замороженно глядели, очень напоминал небольшой аквариум, по единственной прозрачной стене которого время от времени пробегала радужная рябь. Марина устроилась поудобней и тоже стала глядеть в аквариум.

Внутри плавал мордастый мужчина средних лет в накинутой на плечи дубленке. Подплыв к стеклу, он влажно поглядел на Марину, а потом сел в машину красного цвета и поехал домой. Жил он в большой квартире, с женой и похожей на Жанну д'Арк юной служанкой, которая по сюжету вроде не была его любовницей, но немедленно заставила Марину задуматься — трахнул он ее во время съемок или нет.

Мужчина любил очень многих женщин, и часто, когда он

стоял у залитого дождем окна, они обнимали его за плечи и задумчиво припадали щекой к надежной спине. Тут в фильме было явное противоречие — Марина ясно видела, что спина у мужчины очень надежная (она даже сама мысленно припала к ней щекой), но, с другой стороны, он только и делал, что туманным утром бросал заплаканных женщин в гостиничных номерах, и на надежности его спины это не сказывалось никак. Чтобы его напряженная половая жизнь обрела необходимую романтическую полноту, вокруг иногда возникали то африканские джунгли, где он, чуть пригибаясь под пулями и снарядами, брал интервью у командира наемников, то Вьетнам, где он в кокетливо сдвинутой каске, с журналистским микрофоном в руке, под дивную французскую песню — тут Марине на глаза навернулись прозрачные слезы — брел среди призывно раскинувшихся трупов молоденьких американцев, которым мордастый мужчина, несмотря на возраст, совсем не уступал в отваге и мужской силе. Словом, фильм был очень тонкий и многоплановый, но Марину интересовало только развитие сюжета, и она с облегчением вздохнула, когда герой снова оказался в старом добром Париже, в гостиничном номере, за окном которого было туманное утро, и к его широкой и надежной спине припала окончательная щека.

Под конец Марина так ушла в свои мечты, что толком не заметила, как погас волшебный аквариум и она оказалась на улице; в себя она пришла от ударившего в глаза солнца, поспешила в тень и пошла по кипарисовой аллее, примеряя к своей жизни самые понравившиеся кусочки фильма.

Вот она лежит в кровати, на ней желтый шелковый халат, а на тумбочке рядом стоит корзина цветов. Звонит телефон, Марина снимает трубку и слышит голос мордастого мужчины:

— Это я. Мы расстались пять минут назад, но вы позволили звонить вам в любое время.

— Я уже сплю, — грудным голосом отвечает Марина.

— В это время в Париже сотни развлечений, — говорит мужчина.

— Хорошо, — отвечает Марина, — но пусть это будет что-то оригинальное.

Или так: Марина (в узких темных очках) запирает автомобиль, и остановившийся рядом мордастый мужчина делает тонкое замечание об архитектуре. Марина поднимает глаза и смотрит на него с холодным интересом:

— Мы знакомы?

— Нет, — отвечает мужчина, — но могли бы быть знакомы, если бы жили в одном номере...

Вдруг Марина позабыла про фильм и остановилась.

«Куда это я иду?» — растерянно подумала она и поглядела по сторонам.

Впереди была одинокая белая пятиэтажка с обвитыми плющом балконами, перед пятиэтажкой — иссеченный шинами пыльный пустырь, на краю которого пованивала декоративная белая мазанка придорожного сортира. Еще была видна пустая автобусная остановка и несколько глухих каменных заборов. Марина совершенно четко ощутила, что вперед ей идти не надо, оглянулась и поняла, что возвращаться назад тоже незачем.

«Надо что-то сделать», — подумала она. Что-то очень похожее на ампутацию крыльев, но другое — вроде бы она только что это помнила и даже шла по аллее с туманным пониманием того, куда и для чего она направляется, но сейчас все вылетело из головы. Марина ощутила то же томление, что и на набережной.

— Если бы мы жили в одном номере, — пробормотала она, — в одном но... Ох, Господи.

Она хлопнула себя по лбу. Надо было начинать рыть нору.

Подходящее место нашлось рядом с главным корпусом пансионата — в широкой щели между двумя гаражами, где земля была достаточно сырой и годилась для рытья. Марина туфелькой раскидала пустые бутылки и ржавую консервную жесть, открыла сумочку, вынула новенький красный совок и, присев на корточки, глубоко погрузила его в сухой крымский суглинок.

Первый метр она осилила без особого труда — после слоя почвы началась смешанная с песком глина, рыть которую было несложно. Правда, когда край ямы оказался на уровне груди, она пожалела, что не сделала нору шире — было бы легче выкидывать землю. Но вскоре она придумала, как облегчить себе работу. Сначала она как следует разрыхляла грунт под ногами, а потом, когда его набиралось много, горстями выкидывала за край ямы. Иногда встречались обломки кирпичей, камни, осколки старых бутылок и гнилые корни давно срубленных деревьев — это осложняло работу, но не сильно. Ма-

рина была настолько поглощена своим занятием, что не знала, сколько прошло времени; выкидывая из ямы очередной мокрый булжник, она заметила, что небо уже потемнело, и очень удивилась.

Наконец яма достигла такой глубины, что, выкидывая землю, Марине приходилось подниматься на цыпочки, и она почувствовала, что пора рыть вбок. Это оказалось сложнее, потому что грунт здесь был неподатливый и совок часто лязгал о камни, но делать было нечего; Марина, сжав зубы, на время растворила свою личность в работе, и от всего мира остались только земля, камни и совок. Когда она пришла в себя, первая камера была почти готова. Вокруг царил темнота, и когда Марина выползла из бокового хода в вертикальную часть норы, высоко над ее головой загадочно мигали звезды.

Марина чувствовала оглушительную усталость, но знала, что лечь спать ни в коем случае нельзя. Она вылезла из ямы на поверхность и стала раскидывать отработанную землю, чтобы никто не заметил вход в нору. Земли было слишком много, и Марина поняла, что поблизости всю ее не спрятать. Она чуть подумала, сняла с себя юбку и завязала подол узлом. Получился довольно вместительный мешок. Марина ладонями затолкала в него столько земли, сколько влезло, с трудом закинула груз на плечо и пошатываясь пошла к пустырю. Светила луна, и сначала Марине было страшно выйти из тени, но потом она решилась, быстро пробежала по залитому голубым светом пустырю за гаражами и ссыпала землю на обочине дороги. Второй раз это было уже не так страшно, а в третий она даже перестала коситься на окна пятиэтажки, в которых не то горели тусклые лампы, не то просто отражалась луна. Быстро перемещаться мешали туфельки — каблук одной из них сломался, когда она рыла нору. Марина скинула их, поняв, что они больше не нужны.

Бегать босиком стало легче, и довольно скоро на краю дороги выросла куча земли, словно сброшенная самосвалом, а вход в нору перестал быть заметен со стороны. Марина валилась с ног, но у нее все же хватило сил отыскать кусок картонного сигаретного ящика с нарисованным зонтиком и красной надписью «Parisienne», которым она, спускаясь в нору, прикрыла вход. Теперь все было сделано. Она успела.

— Хорошо, — пробормотала она, со счастливой улыбкой сползая по шершавой земляной стене на пол и вспоминая

мордастого мужика из фильма, — хорошо. Но пусть это будет что-нибудь оригинальное...

Весь следующий день она спала — один только раз ненадолго проснулась, подползла к выходу и, чуть отодвинув картонку, выглянула наружу. В нору ударил косою солнечный луч и долетел щебет птиц, такой счастливый, что даже показался ненатуральным, словно на дереве сидел покойный Иннокентий Смоктуновский и щелкал соловьем. Марина вернула картонку на место и поползла назад в камеру.

Когда она проснулась в следующий раз, первое, что она почувствовала, был голод. Марина открыла сумку, которая раньше решала все ее проблемы, но там остались только узкие черные очки, совсем как у девушки из фильма. Марина решила вылезти наружу и тут заметила, что юбки, из которой прошлой ночью получился мешок, нигде нет — видно, она так и осталась у дороги вместе с последней порцией земли. Туфельки на ногах тоже не было — Марина вспомнила, что сбросила их, когда они стали мешать. Лезть в таком виде наружу нечего было и думать. Марина села на землю и заплакала, а потом опять уснула.

Когда она проснулась, было темно. За время сна что-то в ней изменилось — теперь Марина не раздумывала, можно ли выходить в таком виде наружу. Она просто нащупала в темноте совок, откинула картонку, вылезла, присела и подняла глаза к небу.

Удивительно красива крымская ночь. Темнея, небо поднимается выше, и на нем ясно проступают звезды. Из всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую провинцию, и в душе оживают невыразимо понятные чувства всех тех, кто так же стоял когда-то на древних ночных дорогах, слушал треск цикад и, ни о чем особо не думая, глядел в небо. Узкие и прямые кипарисы кажутся колоннами, оставшимися от давно снесенных зданий, море шумит точно так же, как тогда (что бы это «тогда» ни значило), и перед тем как толкнуть навозный шар дальше, успеваешь на миг ощутить, до чего загадочна и непостижима жизнь и какую крохотную часть того, чем она могла бы быть, мы называем этим словом.

Марина опустила глаза и потрясла головой, чтобы собраться с мыслями. Мысли натряслись такие: надо сходить на рынок и выяснить обстановку.

Марина медленно пошла к темной скале пансионата, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. Вокруг видно почти ничего не было, и, как Марина ни осторожничала, через несколько шагов она ступила в ямку и упала, чуть не сломав сустав. От боли у нее прояснилось в голове, и Марина поняла, что на четвереньках двигаться гораздо удобней и безопасней. Она вприпрыжку потрусила вперед, выскочила на обсаженную цветами освещенную дорожку и побежала к фонарям набережной — перемещалась она на трех лапках, потому что в четвертой был сжат зазубренный и ободранный долгой работой совок.

Рынок оказался просто частью набережной под металлическим навесом. Вокруг никого не было, и Марина принялась шарить возле пустых прилавков, пытаясь отыскать хоть что-нибудь съедобное. Минут за двадцать она нашла множество давленных груш и яблок, несколько слив, два полуобглоданных кукурузных початка и совершенно целую виноградную гроздь. Она наполнила всем этим найденный здесь же рваный пластиковый пакет и пошла к пустым столикам возле угасшего мангала — днем она заметила, как здесь пили пиво и ели шашлык, и решила посмотреть, не осталось ли чего на столах.

— Самка, где виноград брали?

Марина от неожиданности так испугалась, что чуть не выронила сумку. Но когда она оглянулась, то испугалась еще сильнее и отпрыгнула на несколько шагов назад. Перед ней стояла худая женщина в измазанных глиной синих трусах и рваной блузке. Ее глаза дико горели, волосы были перепачканы землей и всклокочены, а руки и ноги сильно исцарапаны. Одной рукой она прижимала к груди фанерный ящик с обедками, а в другой держала точно такой же совок, как у Марины, и по этому совку Марина поняла, что перед ней тоже муравьица.

— А там вон, — ответила она и показала совком в сторону прилавков, — только там нет больше. Кончился.

Женщина сладко улыбнулась и шагнула к Марине, не спуская с нее горящих глаз. Марина сразу все поняла, пригнулась и выставила перед собой совок. Тогда женщина бросила ящик в траву, зашипела и прыгнула на Марину, целясь ей головой в живот. Марина успела заслониться от удара пакетом и смазала женщину совком по лицу, а потом еще пнула ногой. Самка в синих трусах завизжала и отскочила.

— Катись отсюда, гадина! — крикнула Марина.

— Сама гадина, — пятась и дрожа, прошипела женщина, — поналетели тут к нам, суки позорные...

Марина шагнула к ней, размахнулась совком, и женщина быстро-быстро убежала в темноту. Марина склонилась над ее ящиком, выбрала несколько мягких мокрых помидоров получше и положила в свой пакет.

— Еще кто к кому поналетел! Сраная уродина! — победно крикнула она в ту сторону, где скрылась женщина, и зашагала к мосту; не дойдя до него нескольких метров, она остановилась, подумала, вернулась и захватила брошенный сраной уродиной ящик.

«Какая страшная», — с омерзением думала она по дороге.

Сложив продукты в углу норки, Марина опять вылезла и, словно на крыльях, на четвереньках понеслась к пансионату. У нее было очень хорошее настроение.

— Вот такие песни, — шептала она, зорко вглядываясь во тьму.

Наконец она нашла то, что искала, — на газоне стоял маленький стог сена, накрытый полиэтиленом. Марина заметила его еще в первый день. За несколько рейдов она перетаскала к себе все сено, потом, удивляясь и радуясь своей лихости, подкралась к стене пансионата и медленно пошла вдоль нее, пригибаясь, когда проходила мимо окон. Одно из них было открыто, и из-за него доносилось громкое дыхание спящих. Марина, отвернувшись, чтобы случайно не увидеть своего отражения в стекле, подкралась к черному проему, подпрыгнула, одним сильным и красивым движением сорвала висевшую в окне шторку и не оборачиваясь кинулась назад к норке.

#### 4. СТРЕМЛЕНИЕ МОТЫЛЬКА К ОГНЮ

Зеркало в тяжелой раме из тусклого дерева, висевшее над спинкой кровати, казалось совершенно черным, потому что отражало самую темную стену комнаты. Иногда Митя щелкал зажигалкой, и по черной поверхности зеркала проходили оранжевые волны, но зажигалка быстро нагревалась, и ее приходилось гасить. Из окна на кровать падало чуть-чуть света, хотя уже был вечер, и на танцплощадке начала играть музыка. Сквозь марлеву занавеску можно было различить в темноте далекие вспышки разноцветных ламп — точнее, не сами вспышки, а их отсветы на листе.

Митя лежал в полутьме, задрал ноги в кроссовках на высокую решетчатую спинку кровати, и поглаживал рукой Марка Аврелия Антонина, сплющенного веками в небольшой зеленый параллелепипед, листать который было уже темно. Рядом лежала другая книга, китайская, называвшаяся «Вечерние беседы комаров У и Цэ».

«Удивительно, — думал он, — чем глупее песня и чем чище голос, тем больше она трогает. Только ни в коем случае не надо задумываться, о чем они поют. Иначе все...»

Лежать дальше было утомительно. Митя вынул из книги исписанный лист бумаги, сложил его вчетверо, сунул в карман и встал. Нашарив на столе сигареты, он отпер дверь и вышел наружу. Узкий проход между курортными домиками освещало только соседнее окно; была видна калитка, лавка у проволочной изгороди и длинные бледные травы в русле высохшего ручья. Митя запер дверь, увидел свое отражение в стекле и хмыкнул. С тех пор как он понял, что уже вылез из кокона, он стал выглядеть в темноте довольно странно. Тяжелые крылья, сложенные на его спине, казались плащом из

серебряной парчи, доходившим почти до земли, и Мите иногда бывало интересно, что видят на их месте другие.

За светящейся занавеской соседнего домика играли в карты и разговаривали. Там жила семейная пара, а сейчас у них, судя по голосам, были гости.

— Теперь черви, — говорил мужской голос. — Ну конечно, жизнь изменилась, Оксан. Ты еще спрашиваешь. С тобой все по-другому стало.

— Ну, а лучше или хуже? — требовательно спросил тонкий женский голосок.

— Ну как... Теперь ответственность появилась, — задумчиво ответил мужской голос. — Знаю, куда после работы идти. Ну и ребенок, сама понимаешь... Играю втемную.

— У тебя же и так минус четыреста, — вмешался другой мужской голос.

— А что делать? — спросил первый. — Шестерка червей.

Митя зажег сигарету (на огонек зажигалки метнулось несколько крохотных насекомых), прошел через калитку и перепрыгнул сухое русло. Осторожно преодолев несколько метров полной темноты, он продрался сквозь кусты, вышел на асфальт, остановился и поглядел назад. Светлая линия дороги доходила до вершины холма и обрывалась, а дальше были видны черные силуэты гор. Одна из гор, та, что справа, напоминала со стороны моря огромного бронированного орла, наклонившего голову вперед; с катера, который ходил по вечерам мимо, бывали иногда заметны непонятные огни на вершине — наверное, там стоял маяк. Сейчас огней не было.

Сделав несколько затяжек, Митя кинул окурочек на асфальт, тщательно раздавил его и медленно побежал вниз по дороге. Через несколько шагов его подхватила волна воздуха, он пронесся между кронами деревьев, поджал ноги, чтобы не зацепить натянутый между двумя столбами электрический провод (тот был невидим в темноте, и один раз Митя уже ободрал о него голень), и, когда вверху осталось только чистое темное небо, стал широкими кругами набирать высоту. Вскоре стало прохладнее, спина заняла от усталости; Митя решил, что поднялся достаточно высоко, и поглядел вниз.

Внизу, как и в любой другой вечер, горели редкие фонари и окна. Источников света, достаточно ярких для того, чтобы возникло хотя бы слабое желание направиться к ним, было мало — две ресторанные вывески, розовая неоновая язвочка

«АО ЛЮЭС» на углу темной башни пансионата и мерцающее зарево расположенной рядом танцплощадки. С высоты она была похожа на большой раскрытый цветок, все время меняющий цвета и вместо запаха источающий музыку, которая была слышна даже здесь. Инстинкт гнал к этому цветку всех окрестных насекомых каждый раз, когда чья-то лапка включала электричество, и Митя решил спуститься посмотреть, что там сейчас происходит.

Снизившись, он полетел на бредущем, почти цепляя верхушки деревьев. Когда танцплощадка приблизилась, она перестала походить на цветок и превратилась во что-то виденное в детстве, новогоднее — это был огромный клубок просвечивающих сквозь ветви электрических гирлянд, из которого сочилась музыка удивительной пошлости и красоты.

— Твоя вишневая «де-вят-ка» давно свела меня с ума, — пела неизвестная сумасшедшая из десятка мощных динамиков.

Внимательно вглядываясь в несущуюся под ногами тропинку, на которую он обычно садился, Митя широко раскрыл крылья, повернул их навстречу бьющему в лицо воздуху — они задрожали под ветром — и повис на месте. Мягко спружинив о сухую твердую землю, он сошел с тропинки и зашагал по газону.

Танцплощадка была просто асфальтовым полем за высоким проволочным забором. К забору прилепилась невысокая деревянная эстрада, на которой громоздились черные коробки динамиков. По периметру площадки в несколько рядов стояли занятые народом лавки, а само пространство для танцев было, как автобус в час червей, заполнено извивающимися распаренными телами. Митя заплатил за вход, миновал нескольких бутылочного цвета мух и сел на краю лавки. За вечер состав толпы успевал полностью смениться несколько раз; устав, народ расползался по лавкам или уходил совсем, но на смену вставали другие, и танец ни на миг не прерывался. Митя любил размышлять о том, как это похоже на жизнь, — правда, наслаждаться своей отрешенностью немного мешало сознание того, что он тоже почему-то сидит вместе со всеми на лавке и глядит на чужие потные лица.

Вдруг музыка стала громче, лампы погасли, а потом стали по очереди вспыхивать на долю секунды, вырывая из темноты то зеленую, то синюю, то красную монолитно-неподвижную толпу, которая в короткие моменты своего существова-

ния напоминала свалку гипсовых фигур, свезенных сюда со всех советских скверов и пионерлагерей; так прошло несколько минут, и стало ясно, что на самом деле нет ни танцев, ни танцплощадки, ни танцующих, а есть множество мертвых парков культуры и отдыха, каждый из которых существует только ту долю секунды, в течение которой горит лампа, а затем исчезает навсегда, чтобы на его месте через миг появился другой парк культуры и отдыха, такой же безжизненный и безлюдный, отличающийся от прежнего только цветом одноразового неба и углами, под которыми согнуты конечности статуй.

Митя встал, пробрался мимо весело жужжащих девочек в зеленых и синих платяцах и вышел за ворота, у которых сидело несколько качков в тренировочных костюмах предостерегающей окраски. В просвете между деревьями было виден тускло горящий лиловый фонарь. Он ярко загорелся, несколько раз мигнул и погас, и Митя, подчиняясь неожиданному импульсу, пошел вперед, во тьму.

Деревья, закрывавшие небо, скоро кончились, и из кустов на Митю задумчиво глянул позеленевший бюст Чехова, возле которого блестели под лунным светом осколки разбитой водочной бутылки. Набережная была пуста. Под одним из тусклых фонарей сидела компания доминошников с пивом, издававшая бодрые голоса и стук. Митя подумал, что обязательно надо будет искупаться, и пошел вдоль шеренги скамеек, призывно повернутых женственным изгибом к морю.

— Еще кто к кому поналетел! Сраная уродина! — донесся со стороны рынка триумфальный женский крик.

Закурив сигарету, Митя увидел впереди темную фигуру, опершуюся локтями на парапет.

Он разглядел тяжелый длинный плащ серебристого оттенка и недоверчиво покачал головой.

— Дима! — позвал он.

— Митя? — ответила фигура. — Все-таки прилетел?

— Еще кто к кому поналетел, — ответил Митя, подходя и пожимая протянутую руку. — Ты кого-нибудь ждешь?

Дима помотал головой.

— Пройдемся?

Дима кивнул.

Они спустились на пляж по скрипящей деревянной лестнице, прошли по крупной хрустящей гальке и оказались перед узкой полосой пены. К луне по морю шла широкая и пря-

мая серебряная дорога, цветом напоминающая крылья ночного мотылька.

— Красиво, — сказал Митя.

— Красиво, — согласился Дима.

— Тебе никогда не хотелось полететь к этому свету? В смысле — не просто проветриться, а по-настоящему, до конца?

— Хотелось когда-то, — сказал Дима. — Только не мне.

Они повернули и медленно пошли вдоль сияющей границы моря.

— Ты здесь один?

— Я всегда один, — ответил Дима.

— В последнее время я заметил, — сказал Митя, — что от частого употребления некоторые цитаты блестят, как перила.

— А что ты еще в последнее время заметил? — спросил Дима.

Митя задумался.

— Смотря что называть последним временем, — сказал он. — Мы сколько не виделись — год?

— Около того.

— Ну, например, зимой я заметил одну вещь. Что дома большую часть времени мы живем в темноте. Не в переносном смысле, а в самом прямом. Вот, помню, стою я на кухне и говорю по телефону. А под потолком слабая желтая лампочка горит. И тут я поглядел в окно, и меня как током ударило — до чего же темно...

— Да, — сказал Дима, — со мной тоже что-то похожее было. А потом я еще одну вещь понял — что мы в этой темноте живем вообще все время, просто иногда в ней бывает чуть светлее. Собственно, ночным мотыльком становишься именно в тот момент, когда понимаешь, какая вокруг тьма.

— Не знаю, — сказал Митя. — По-моему, деление мотыльков и бабочек на ночных и дневных — чистая условность. Все в конце концов летят к свету. Это же инстинкт.

— Нет. Мы делимся на ночных и дневных именно по тому, кто из нас летит к свету, а кто — к тьме. К какому, интересно, свету ты можешь лететь, если думаешь, что вокруг и так светло?

— Так что же, они все, — Митя кивнул в сторону набережной, — летят во тьму?

— Почти.

— А мы?

— Конечно, к свету.

Митя засмеялся.

— Прямо каким-то заговорщиком себя чувствуешь, — сказал он.

— Брось. Это они заговорщики. Абсолютно все. Даже эти, которые в домино наверху играют.

— Честно говоря, — сказал Митя, — у меня нет ощущения, что я сейчас лечу к свету.

— Если ты думаешь, — сказал Дима, — что мы куда-то летим, а не просто идем по пляжу, то ты, без всякого сомнения, летишь в темноту. Точнее, кружишься вокруг навозного шара, принимая его за лампу.

— Какого шара?

— Не важно, — сказал Дима. — Есть такое понятие. Хотя, конечно, вокруг такая тьма, что ничего удивительного в этом нет.

Некоторое время они шли молча.

— Вот смотри, — сказал Митя, — ты говоришь — тьма. Я сегодня вечером поглядел по сторонам — действительно, тьма. А на танцплощадке народ, все смеются, танцуют, и песня играет, вот как сейчас. Глупая страшно. Вишневая «девятка» и все такое прочее. А меня эта музыка почему-то трогает.

— Бывает, — сказал Дима.

— Я тебе даже так скажу, — с горячностью продолжал Митя, — если самый главный питерский сверчок возьмет лучшую шотландскую волынку и споет под нее весь «Дао дэ цзин», он и на сантиметр не приблизится к тому, во что эти вот идиоты, — Митя кивнул в сторону, откуда доносилась музыка, — почти попадают.

— Да во что попадают?

— Не знаю, — сказал Митя. — Как будто раньше было в жизни что-то удивительно простое и самое главное, а потом исчезло, и только тогда стало понятно, что оно было. И оказалось, что абсолютно все, чего хотелось когда-то раньше, имело смысл только потому, что было это, самое главное. А без него уже ничего не нужно. И даже сказать про это нельзя. Ты знаешь, до какого огня я действительно хотел бы долететь? Было такое стихотворение, вот послушай: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя...»

— По-моему, — сказал Дима, — не тебе жалеть этот огонь.

Уместней было бы, если бы этот огонь пожалел тебя. Или ты считаешь, что ты сам — этот огонь, который идет во тьму и плачет?

— Может, и считаю.

— Тогда не иди во тьму, — сказал Дима. — Тебя же никто не заставляет.

Над танцплощадкой зазвучала новая песня — женщина печально спрашивала у темного неба, луны и двух бредущих по пляжу фигур в темных плащах, где она сегодня, и жаловалась, что не знает, где ей найти не то себя, не то еще кого-то — последнее слово было неразборчивым, но это не имело значения, потому что дело было не в словах и даже не в музыке, а в чем-то другом, в том, что все вокруг тоже погрузилось в печаль и размышляло, где оно сегодня и как ему найти не то себя, не то что-то еще.

— Нравится? — спросил Митя.

— Ничего, — сказал Дима. — Главное достоинство в том, что она не понимает, о чем поет. Так же как твой приятель, который не нашел ничего лучше, как пожалеть свет, уходя в темноту.

— Это не мой приятель, — сказал Митя.

— Ну и правильно, — сказал Дима, — я бы с таким тоже никаких дел иметь не стал. Понимаешь, все, что вызывает жалость у мертвецов, основано на очень простом механизме. Если мертвецу показать, например, муху на липучке, то его вырвет. А если показать ему эту же муху на липучке под музыку, да еще заставить на секунду почувствовать, что эта муха — он сам, то он немедленно заплачет от сострадания к собственному трупу.

— Выходит, и я тоже мертвый? — спросил Митя.

— Конечно, — сказал Дима, — а какой же еще? Но тебе это хоть можно объяснить. А потому ты уже не совсем мертвый.

— Спасибо, — сказал Митя.

— Пожалуйста.

Они поднялись на набережную. Доминошники уже исчезли, и от них остались только колеблемая ветром газета, несколько сдвинутых ящиков, пустые пивные бутылки и рыбья чешуя; из-за меланхолии, которую навеяла музыка, казалось, что они не просто разошлись по домам, а рассосались в окружающей тьме — для полноты ощущения не хватало только их выветренных скелетов рядом с бутылками и чешуей.

— А чего это ты о танцплощадке заговорил? — спросил Дима.

— Я там был сейчас. Спустился даже, посидел немного. Очень странно. Вроде видно, что все они мертвые, прямо как из гипса. Знаешь, есть такая игрушка — два деревянных медведя с молотками? Двигаешь деревянную палочку взад-вперед, и они бьют по наковальне?

— Знаю.

— Так вот там то же самое. Все танцуют, смеются, раскланиваются, а посмотришь вниз — и видишь, как под полом бревна ходят. Взад-вперед.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Ведь летели-то они все на свет. А как ни летай, светится только танцплощадка. И получается, что все вроде бы летят к жизни, а находят смерть. То есть в каждый конкретный момент движутся к свету, а попадают во тьму. Знаешь, если бы я писал роман о насекомых, я бы так и изобразил их жизнь — какой-нибудь поселок у моря, темнота, и в этой темноте горит несколько электрических лампочек, а под ними отвратительные танцы. И все на этот свет летят, потому что ничего больше нет. Но полететь к этим лампочкам — это...

Митя щелкнул пальцами, подыскивая подходящее слово.

— Не знаю, как объяснить.

— А ты уже объяснил, — сказал Дима. — Когда про Луну говорил. Луна и есть главная танцплощадка. И одновременно главная лампочка главного Ильича. Абсолютно то же самое. Свет не настоящий.

— Да нет, — сказал Митя. — Свет настоящий. Свет всегда настоящий, если он виден.

— Правильно, — сказал Дима. — Свет настоящий. Только откуда он?

— Что значит «откуда»? От Луны.

— Да? А тебе никогда не приходило в голову, что она на самом деле абсолютно черная?

— Я бы сказал, что она скорее желто-белая, — ответил Митя, внимательно поглядев вверх. — Или чуть голубоватая.

— Скажи. Пять миллиардов мух с тобой, конечно, согласятся. Но ведь ты не муха. Из того, что ты видишь желтое пятно, когда смотришь на Луну, совершенно не следует, что она желтая. Я вообще не понимаю, как этого можно не понять. Ведь прямо вверху висит ответ на все вопросы.

— Может быть, — сказал Митя, — но у меня, к сожалению, ни одного из этих вопросов не возникает. Впрочем, я тебя понял. Ты хочешь сказать, что когда я смотрю на Луну, то вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не светится. По-моему, это не важно. С меня достаточно того, что свет существует. И когда я его вижу, то главное, что есть во мне, заставляет меня двигаться в направлении к свету. А откуда он, какой он — это все не особо важно.

— Ну хорошо. К Луне ты двигаться не желаешь. А к какому свету ты идешь сейчас?

— К ближайшему фонарю.

— А потом куда?

— К следующему.

— Ладно, — сказал Дима, — давай тогда поставим эксперимент на одном насекомом.

Он вытянул вперед руку, сделал такое движение, словно повернул невидимый выключатель, и вдруг все фонари на набережной погасли.

Митя остановился.

— А к какому свету ты поправишься сейчас? — спросил Дима.

— Ну ты даешь. Как ты это сделал?

— Именно так, — сказал Дима, — как ты подумал. Договорился с монтером, чтобы тот сидел в кустах и ждал, когда я дам ему знак. И все это исключительно для того, чтобы произвести на тебя впечатление.

— Я так подумал?

— А разве нет?

— Ну, в общем, да. Правда, не совсем так. Я действительно подумал про монтера и про знак, но только не про кусты.

— Про кусты ты тоже подумал.

— Да я не о фонарях. Я о Луне. Точнее, о лунном свете и Чехове, но это не важно. Как ты это делаешь?

— Что? Мысли читаю?

— Да нет, это я сам могу. Чужие несложно. Я о фонарях.

— Очень просто. Если ты ответил себе на один вопрос, то можешь управлять всеми видами света.

— Какой вопрос? — спросил Митя.

— Вообще лучше самому задать его себе, но поскольку ты не очень склонен это сделать, тебе задам его я.

Дима выдержал паузу.

— Луна отражает солнечный свет, — сказал он. — А свет чего отражает Солнце?

Митя молча сел на скамейку и откинулся на спинку.

Было тихо; ветер шевелил листву над головой, и шум моря сливался с последними нотами затихающей песни — казалось, этот смешанный звук идет на самом деле от желтого круга висящей в небе танцплощадки. Потом добавился рокот приближающегося к причалу прогулочного катера, и слева появились его медленно наплывающие огни.

— American boy, уеду с тобой, уеду с тобой — Москва, прощай, — взвились над танцплощадкой два чистых юных голоса, и долетел аккомпанемент балалаек, простой и трогательный, как платье пионерки.

## 5. ТРЕТИЙ РИМ

Крохотный планер пронесся так близко от выступающих из горного склона зубьев скал, что на мгновение почти слился со своей тенью, и над столиками летнего кафе раздался дружный вздох. Скользящий в небе треугольник, похожий на серебристую ночную бабочку, в последний момент развернулся и полетел над морем, приближаясь к пляжу. Сэм зааплодировал, и Артур перевел взгляд на него.

— Вас это так впечатляет? — спросил он.

— Как вам сказать, — отозвался тот. — Я в молодости занимался чем-то подобным, поэтому в состоянии оценить чужое мастерство. Пройти так близко к скалам лично я не решился бы.

— А я вообще не понимаю, зачем так бессмысленно рисковать жизнью, — сказал Артур.

— Мы с вами, если задуматься, тоже рискуем ею каждый день, — заметил Сэм.

— Но ведь, согласитесь, по необходимости. А взять и просто расшибить лоб о скалы очень не хотелось бы.

— Это верно, — сказал Сэм, задумчиво следя за треугольником, который опять повернул к скалам, — верно. А откуда они стартуют?

— Вон гора, — сказал Артур. — Видите?

Далеко за пляжем и поселком виднелась невысокая гора, длинная и пологая, на вершине которой можно было разглядеть несколько разноцветных планеров. Сэм вынул маленький коричневый блокнот с золотой надписью «Мето executive», что-то в нем записал и даже схематично зарисовал пляж, поселок и пологую гору.

— Там все время восходящий поток, — сказал Артур. — Поэтому они ее и облюбовали.

Подошла официантка со строгим, как у судьбы, лицом и молча сгрузила с подноса на стол тарелки, бутылку шампанского и несколько бокалов. Сэм недоуменно поднял на нее глаза и сразу отвел — на щеке официантки был огромный багровый лишай.

— Заказывали, — пояснил Артур.

— А, — улыбнулся Сэм. — Я уж и забыл.

— У нас ресторанный категория, — сказала официантка. — Можете правила посмотреть. Ожидание до сорока минут.

Сэм рассеянно кивнул головой и поглядел в свою тарелку. В меню блюдо называлось «*біточкі по-сілянські з цібулей*». Оно состояло из нескольких маленьких прямоугольных кусочков мяса, лежавших в строгом архитектурном порядке, целого моря соуса справа от мяса и пологой горы картофельного пюре, украшенной несколькими цветными точками моркови и укропа. Картофельное пюре лавой наплывало на куски мяса, и содержимое тарелки походило на Помпеи с птичьего полета, одновременно странным образом напоминая панораму приморского городка, которая открывалась со столика. Сэм поднял вилку, занес ее над тарелкой и заметил сидящую на границе пюре и соуса молодую муху, которую он сначала принял за обрывок укропной метелочки. Он медленно протянул к ней руку — муха вздрогнула, но не улетела, — осторожно взял ее двумя пальцами и перенес на пустой стул.

Муха была совсем юной — ее упругая зеленая кожа весело сверкала под солнцем, и Сэм подумал, что ее английское название — «greenbottle fly» — очень точное. Ее лапки были покрыты темными волосками и кончались нежными розовыми присосками — словно на каждой из ладоней призывно темнело по два полуоткрытых рта, а талия была тонка настолько, что, казалось, могла переломиться от легчайшего дуновения ветра. Застенчиво подрагивающие крылья, похожие на две пластинки слюды, отливали всеми цветами радуги и были покрыты стандартным узором темных линий, по которым без всякой крыломантии можно было предсказать ее простую судьбу. Глаза у нее тоже были зелеными и глядели немного исподлобья, а со лба на них падала длинная темная челка, из-за которой муха казалась даже моложе, чем была, и производила впечатление школьницы, нарядившейся в платье старшей сестры. Поймав взгляд Сэма, муха чуть покраснела.

— How are you? — спросила она, старательно выговаривая слова. — I'm Natasha. And what is your name?

— Сэм Саккер, — ответил Сэм. — Но мы можем говорить по-русски.

Наташа улыбнулась, показав ровные белые зубы, перевела быстрые глаза на презрительно улыбающегося Артура и сразу помрачнела.

— Я не помешала? — спросила она и сделала такое движение, словно собиралась встать.

— Да как вам сказать, — процедил Артур, глядя в сторону.

— Ну что вы, — быстро вмешался Сэм, — наоборот. Разве может такое очаровательное существо кому-нибудь помешать? Шампанского?

— С удовольствием, — ответила Наташа и двумя пальцами взяла протянутый Сэмом бокал.

— А вы тут живете? — спросил Сэм.

Наташа отхлебнула шампанского и утвердительно кивнула.

— Родились тут?

— Нет, — сказала Наташа, — я родилась очень далеко, на севере.

— А чем занимаетесь?

— Музыкой, — ответила Наташа, поставила бокал на стол и сделала такое движение, словно растягивала перед грудью эспандер.

— Да, — сказал Сэм, переводя взгляд с двух бугорков под блестящей зеленой тканью Наташиного платья на дешевый серебряный браслетик между запястьем и запястьем, — интересно было бы вас послушать.

— Простите, — подал голос Артур, — вы не возражаете, если я отойду позвонить? Арнольда долго нет.

Сэм кивнул головой, и Артур пошел к будке автомата, зажатой двумя кооперативными ларьками. Возле будки стояла очередь. Артур, заняв в ней место, принялся разглядывать книги, разложенные уличным торговцем прямо на газоне.

Наташа открыла лежавшую у нее на коленях сумочку, достала напильник, с недоумением посмотрела на него, кинула назад и вытащила маленький косметический набор.

— А вы откуда, Сэм? — спросила она, разглядывая себя в зеркало. — Вы американец?

— Да, — ответил Сэм, — но живу большей частью в Европе. Вообще, даже сложно сказать, где я на самом деле живу, — большую часть времени летаю туда-сюда.

— Вы бизнесмен?

Раскрыв цилиндрик с помадой, Наташа подкрасила при-  
соски на лапках, и у Сэма мелькнула мысль, что это делает  
ее вульгарной, но вдвойне привлекательнее.

— В общем можно сказать так, — ответил он. — А больше  
всего в жизни меня интересуют новые впечатления.

— Ну и как, много здесь новых впечатлений?

— Хватает, — ответил Сэм. — Но они, знаете, на любителя.

На стол легла тень, и донесся совершенно неуместный в  
начале осени густой запах цветущих трав и деревьев.

— А ты, значит, не любитель? — раздался над ухом у На-  
таши громкий голос, от чего она чуть не выронила зеркальце.

Оглянувшись, Наташа увидела невысокого толстяка в пе-  
строй майке, который с ненавистью глядел на Сэма, поигрыва-  
вая небольшим темным чемоданчиком.

— Арнольд! — обрадовался Сэм. — А мы вас все ждем. Ар-  
тур звонить пошел. Ну как, удалось что-нибудь выяснить?

— Удалось, — ответил Арнольд, швыряя кейс на стул ря-  
дом с Сэмом. — Все теперь ясно стало.

— Нашли! — сказал Сэм, беря кейс в руки. — Ну, слава Бо-  
гу. А я и не заметил, что он у вас с собой. Вот спасибо.

Раскрыв кейс, он бегло осмотрел содержимое и, сомкнув  
кольцом большой и указательный пальцы, показал Арнольду  
кружок пустоты размером с металлический доллар. Толстяк  
подтянул стул от соседнего столика и тяжело сел.

— А это Наташа, — сказал Сэм, — познакомьтесь. Наташа,  
это Арнольд.

Арнольд повернул голову к Наташе и впился в нее глазами.

— Понятно, — сказал он, нагладевшись. — А вот чтобы  
пойти, к примеру, на ткацкую фабрику, крутильщицей или  
валяльщицей? Или волочильщицей? Это как? Не хочешь?

— Что вы такое говорите? — побледнев, прошептала Ната-  
ша. Ей в нос шибануло густым одеколонным запахом, она не-  
доуменно подняла взгляд на Сэма и увидела, что улыбка  
сползает с его лица, а в глазах проступает явный ужас.

— Не пугайте девушку, — сказал он, косясь в сторону те-  
лефонной будки, откуда торопливо шел Артур. — Наташа, это  
он шутит.

— Я? Шучу? Ты сюда, сука, кровь прилетел пить и дума-  
ешь, мы с тобой шутки будем шутить?

— А кто это «мы»? — спросил Сэм.

— Сейчас объясню, — сказал Арнольд, приподнимаясь со

стула, и неизвестно, что произошло бы дальше, если бы подбежавший сзади Артур не обрушил на его голову полупустую бутылку шампанского.

Арнольд вместе со стулом повалился на пол и замер. За соседними столиками стихли разговоры, несколько граждан даже приподнялись со своих мест, собираясь не то вмешаться, не то убежать. Артур быстро сел верхом на товарища и стал заламывать ему руку за спину. Это не очень получалось, хотя Арнольд вроде не сопротивлялся.

— Так и знал, что он не удержится, — нервно бормотал Артур, — тоже попробует. Говорил, у вас психика неустойчивая. А у него, значит, устойчивая. Вы идите, пока он в себя не пришел, уведите девушку. А я...

Арнольд пошевелился, и Артур чуть не свалился с него на асфальт.

— Идемте, Наташа, — сказал Сэм, хватая Наташу за руку.

Они быстро вышли из-за столика и, разминувшись с бегущим к месту драки милиционером, быстро пошли прочь.

— Что это с ним? Наркотики? — спросила Наташа.

— Примерно, — ответил Сэм. — Я бы не хотел обсуждать чужую беду. Не знаете, где здесь можно перекусить? А то поесть так и не дали.

Наташа оглянулась на толпу, сгрудившуюся среди ресторанных столиков.

— Все, — сказала она, — свинтили дурня. Что вы говорите? Поесть? Это надо на такси ехать. Дойдем до «Волны» — они там ходят.

— Простите, Наташа, — сказал Сэм, — может быть, у вас какие-нибудь планы?

В ответ Наташа поглядела на Сэма с такой простодушной откровенностью, что все ее планы стали сразу понятны и видны.

Дорога шла мимо глубокого котлована с руинами недостроенного здания. Из трещин в стенах росли трава, кусты и даже несколько молодых деревьев, и казалось, что это не котлован, вырытый под новостройку, а могила погибшего здания или раскопки древнего города. Сэм залюбовался и шел молча; притихла и Наташа.

— Да, — сказал Сэм, когда котлован остался позади. — Уди-

вительно. Я тут заметил одну странную вещь. Россия ведь третий Рим?

— Третий, — сказала Наташа, — точно. И еще второй Израиль. Это Иван Грозный сказал. Я в газете читала.

— Так вот, если написать «третий Рим», а потом дописать слово «третий» наоборот, получится очень интересно. С одной стороны будет читаться «третий Рим», а с другой — «третий мир».

— В Ялте, — сказала Наташа, — часа три отсюда на катере, есть канатная дорога. Садись на набережной и поднимаешься на гору. Там дворец строили, или музей Ленина, не знаю. А потом бросили. И остались только колонны и часть крыши. Все огромное такое, и вокруг пустырь. Будто храм какой. Точно, третий Рим и есть. Сэм, а вы в первом были?

Сэм кивнул, и Наташа тихонько вздохнула.

— Пришли, — сказала она. — Здесь машину надо ловить.

Асфальтовая дорожка кончалась у длинного здания, где помещались магазин и непонятное заведение под названием «Волна», перед которым грелись на солнце два янычара в «адидасе». Под навесом автобусной остановки напротив сверкали белками несколько худых и загорелых южных старух. Наташа подняла руку; из тени ив, росших возле остановки, выехала старая серая «Волга» с оленем на капоте. Наташа наклонилась к окошку, посоветовалась с шофером, повернулась к Сэму и кивнула.

У шофера были длинные рыжие усы, торчащие в стороны несколько несимметрично, словно он только что закончил что-то ими ощупывать, а пахло в машине бензином и перезрелыми персиками. Попетляв среди белых домиков, утонувших в листе яблонь и груш, «Волга» выехала на пыльную грунтовку. Шофер разогнал машину, и пейзаж за задним стеклом скрылся в густых клубах желтой пыли, большие порции которой влетали в окна.

Сэм закашлялся, закрыв рот рукой, и Наташа заметила, что его губы вытягиваются в длинную трубочку. Делая вид, что поднимает что-то с пола, он нагнулся к спинке переднего сиденья, заговорщицки подмигнул Наташе и в знак молчания приложил палец к своим вытягивающимся губам. Наташа кивнула. Заострившийся на конце хоботок Сэма мягко вошел в серую обшивку сиденья. Шофер вздрогнул. Его глаза беспокойно поглядели на пассажиров из продолговатого зеркальца над рулем.

— А вы правда думаете, Сэм, что у нас третий мир? — спросила Наташа, стараясь отвлечь шофера.

— Ну, в общем, да, — не разгибаясь, промычал Сэм. — В этом нет ничего обидного. Если, конечно, не обижаться на факты.

— Непривычно как-то.

— А придется привыкнуть. Это геополитическая реальность. Ведь Россия — очень бедная страна. И Украина тоже. Тут... Как это выражение... Земля не родит. Даже если взять самые плодородные почвы где-нибудь на Кубани, это будет ничто по сравнению с землями, скажем, в Огайо...

Сэм произнес «ох-хаййо», и звук получился такой, что его вполне можно было намазывать на бутерброд вместо масла, а уж какие плодородные земли в штате Огайо, стало ясно сразу.

— Какой третий мир, — с горечью сказал шофер, неестественно пошевелив усами, — продали нас. Как есть, всех продали. С ракетами и флотом. Кровь всю высосали.

— Кто продал? — спросила Наташа. — И кому?

— Известно кто, — с уверенной ненавистью сказал шофер. — И кому, тоже известно. Ладно флот продали — так ведь и честь нашу продали...

Сэм что-то промычал, и шофер вяло махнул рукой.

— В спину, понимаешь, — пробормотал он и надолго затих.

Постепенно его лицо сильно побледнело, а глаза, прежде бегающие и настороженные, остекленели в безразличии. Сэм, наоборот, покрылся румянцем, словно только что вышел из бани. Выдернув губы из сиденья и выпрямившись, он улыбнулся Наташе. Наташа сосредоточенно молчала.

— Наташа, я вас не обидел? — спросил Сэм.

— Чем? — удивилась Наташа.

— Этим третьим миром.

— Что вы, Сэм. Просто мне в детстве нагадали, чтобы я боялась римской цифры три. Но я ее нисколько не боюсь. А обижаться мне никакого резона нет. Я ведь не Россия. Я Наташа.

— Наташа, — сказал Сэм. — Красивое имя. Перейдем на «ты»?

— С удовольствием, — сказала Наташа.

С обеих сторон дорогу обступали виноградники. Когда они кончились, слева опять появилось море. Сэм раскрыл кейс, вынул оттуда маленькую стеклянную баночку, выплюнул в нее немного красной жидкости, завинтил крышку и кинул банку назад. Наташа тем временем напряженно размыш-

ляла — на лбу у нее даже образовалась маленькая красивая извилинка. Сэм поймал ее взгляд и улыбнулся.

— Все о'кей? — спросил он.

— Ага, — улыбнулась в ответ Наташа. — Я вот о чем думаю. Ну, допустим, первый мир — это Америка, Япония там и Европа. Третий Рим, мир то есть, это, скажем, мы, Африка и Польша. А что такое второй мир?

— Второй? — удивленно спросил Сэм. — Хм. Не знаю. Действительно, интересно. Надо выяснить, откуда это выражение пошло. Наверно, никакого второго мира просто нет.

Он поглядел в окно и заметил высоко в небе серебристый треугольник — то ли тот самый планер, за которым он следил из-за столика в ресторане, то ли другой точно такой же.

— Я другого понять не могу, — сказал он, — куда это мы едем?

— Обедать, — сказала Наташа.

— Я уже сыт, — сказал Сэм.

— Тогда, может, лучше тут затормозим? — предложила Наташа. — Здесь места очень красивые, дикие. Можно искупаться.

Сэм сглотнул слюну.

— Послушайте, — сказал он шоферу, — мы, пожалуй, здесь вылезем, а?

— Ваше дело, — хмуро сказал шофер. — Давайте пять долларов, как обещали.

Сэм вылез на дорогу и потянулся за кошельком.

— Матрешки не нужны? — спросил шофер.

— Какие? — спросил Сэм.

— Всякие есть. Горбачев, Ельцин.

Сэм отрицательно покачал головой.

— Будет чесаться спина, — сказал он, протягивая пятерку в раскрытую дверь, — одеколоном протрите.

Шофер мрачно кивнул. Машина развернулась на месте и, обдав их желтой пылью, рванула назад. Стало тихо. Сэм с Наташей пошли по тропинке, которая зигзагом сбегала вниз по крутому каменистому склону. Спускались они молча, потому что тропинка была очень узкой и идти по ней надо было осторожно.

Четкой линии берега внизу не было — склон переходил в лабиринт скал, между которыми плескалось море. Сняв тапочки — Сэм с умилением понял, что на ногах у нее были розовые домашние тапочки, а не туфли необычного фасона, как он подумал сначала, — Наташа зашла по колено в воду. Сэм,

подвернув штаны и разувшись, последовал за ней, держа кейс и мокасины над головой и пытаюсь вспомнить, какую же греческую легенду ему напоминает происходящее. Они долго петляли меж коричневых каменных стен и наконец вышли к большой наклонной плите, поверхность которой выступала из воды примерно на полметра.

— Вот тут я загорала, — сказала Наташа, залезая на камень. — С той стороны можно нырять — уже глубоко.

Забравшись на плиту, Сэм полез за видеокамерой.

— Помоги, Сэм, — попросила Наташа.

Повернувшись, Сэм увидел, что она стоит к нему спиной и, заведя руку за спину, пытается дотянуться до тесемок, завязанных сзади. Осторожно положив камеру на мокасины, Сэм прикоснулся к Наташе и сквозь платье почувствовал, как она вздрогнула. Тесемки абсолютно ничего не держали и были, как Сэм помнил из статьи в «Нэшнл Джографик», просто наивным приспособлением для завязывания знакомств, которым пользовались русские девушки, — даже металлические шарики на их концах напоминали блесну. Но дрожь, прошедшая по Наташиной спине, заставила Сэма забыть о методике правильного поведения, которую рекомендовал журнал, и когда Наташа перешагнула через упавшее на камень платье и осталась в крохотном купальнике из блестящей зеленой ткани, его руки сами потянулись к камере.

Он долго снимал худенькое полудетское тело Наташи, ее счастливую улыбку и волну летящих по ветру волос, снимал ее голову над изумрудной водой и мокрые отпечатки ступней на камне, а потом, передав Наташе камеру и объяснив, на что надо нажимать, бросился в море и рванул к возникшей вдали белой точке прогулочного катера таким безоглядным баттерфляем, словно и правда собирался достичь его вплавь.

Когда, тяжело дыша, он вернулся на плиту, Наташа лежала на спине, ладонью прикрывая глаза от солнца. Сэм устроился рядом, положил щеку на теплую поверхность камня и прищурясь поглядел на Наташу.

— Вот вернусь домой, — сказал он, — буду смотреть это по телевизору и грустить.

— Сэм, — сказала Наташа, — в Риме ты был, это я уже знаю. А во Франции?

— Совсем недавно, — ответил Сэм, придвигаясь к ней поближе. — А почему ты спрашиваешь?

— Так, — вздохнув, сказала Наташа. — Мать у меня часто про Францию говорила. Что ты там делал?

— Как обычно, кровь сосал.

— Нет, я не в том смысле. Ты просто так взял и поехал?

— Не совсем. Меня друзья пригласили. На ежегодный прустовский праздник в город Комбре.

— А что это за праздник такой?

Сэм долго молчал, и Наташа решила, что ему лень рассказывать. Где-то стрекотала машина прогулочного катера. Совсем рядом раздалось несколько чуть слышных мажорных гитарных аккордов, а потом послышалось тихое жужжание и Наташа ощутила легкий укол в ногу; она рефлекторно хлопнула по этому месту ладонью — под ее пальцами что-то расплющилось, скаталось в крошечный шершавый шарик и отлетело в воду. Сэм заговорил нараспев, гнусаво произнося некоторые звуки в нос:

— Представь небольшую сельскую церковь, построенную около пяти веков назад, с грубо высеченными фигурами христианских королей, глядящих на площадь с облетевшими каштанами, ветви которых металлически блестят в свете нескольких фонарей; на брусчатке перед порталом появляется одинокий усатый мужчина, похожий на мишень из провинциального тира, и уже трудно сказать, что происходит потом, когда непреодолимая сила влечения отнимает у памяти мгновения полета, оставляя ей лишь короткие прикосновения бродящих наугад лапок к пропахшему кельнской водой и сигарным дымом шелку кашне и грубое...

— Сэм, — прошептала Наташа, — что ты делаешь. Нас же увидят....

— ...чем-то даже оскорбительное ощущение близости чужой кожи к твоему рту. Наслаждение усиливается, когда начинаешь различать за прорванными занавесями покровов, отделяющих одно тело от другого, глухой шум, сначала ток крови...

— Ах, Сэм... Не сюда.....

— ...а затем — повелительные удары сердца, подобные сигналам, посылаемым с планеты Марс или из какого-то другого мира, так же недоступного нашему взору; их ритм и задает то страстные, то насмешливые движения твоего тела, в долгий выступ которого, блуждающий в пульсирующих лабиринтах чужой плоти, как бы перетекает все сознание; и вдруг все

кончается, и ты вновь плывешь куда-то над старыми камнями мостовой...

— Сэм...

Сэм откинулся на камень и некоторое время не чувствовал вообще ничего — словно и сам превратился в часть прогретой солнцем скалы. Наташа сжала его ладонь; приоткрыв глаза, он увидел прямо перед своим лицом две большие фасетчатые полусферы — они сверкали под солнцем, как битое бутылочное стекло, а между ними, вокруг мохнатого ротового хоботка, шевелились короткие упругие усики.

— Сэм, — прошептала Наташа, — а в Америке много говна?

Сэм улыбнулся, кивнул головой и снова закрыл глаза. Солнце било прямо в веки, и за ними возникало слабое фиолетовое сияние, на которое хотелось глядеть и глядеть без конца.

## 6. ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ

Трудно было сказать, сколько дней Марина углубляла нору и рыла вторую камеру. Дни бывают там, где встает и заходит солнце, а Марина жила и работала в полной тьме. Сначала она передвигалась на ощупь, но через некоторое время заметила, что неплохо видит в темноте, — заметила совершенно неожиданно, когда в середине главной камеры уже была готова широкая кровать из сена, накрытого украденной в пансионате шторой. Марина как раз думала, что возле кровати, как в фильме, должна обязательно стоять корзина с цветами, и тут увидела в углу камеры трофейный фанерный ящик. Она огляделась и поняла, что видит и остальное — кровать, нишу в полу, где были сложены найденные на рынке продукты, и собственные конечности; все это было бесцветным, чуть расплывчатым, но вполне различимым.

«Наверно, — подумала Марина, — я и раньше видела в темноте, просто не обращала внимания».

Взяв ящик, она поставила его возле кровати, сунула туда клочок сена и, как сумела, придала ему форму букета. Отойдя к дальней стене камеры, она с удовольствием осмотрела получившийся интерьер, подошла к кровати и нырнула под штору.

Чего-то не хватало. Промучившись несколько минут, Марина поняла, в чем дело, — подтянув к себе лежащую на полу сумочку, она вынула из нее узкие черные очки и нацепила их на нос. Теперь оставалось только ждать звонка. Телефона у Марины в норе не было, но это ее мало смущало — она знала, что в той или иной форме звонок последует, потому что еще тогда, далеким солнечным утром на набережной, жизнь дала ей в этом честное слово.

Лежать под шторой было тепло и удобно, но немного

скучно. Марина сначала думала о всякой всячине, а потом незаметно для себя впала в оцепенение.

Разбудил ее донесшийся из-за стены шум. В том, что шум донесся именно из-за стены, Марина была уверена — она уже давно привыкла к звукам, которые прилетали сверху (это были голоса, шаги и рев мотора выезжающей из гаража машины), и автоматически отфильтровывала их, так что они совсем не мешали ей спать. Но этот звук был другим — за стеной определенно рыли землю. Марина даже слышала звяканье совка о камни, с которыми она сама в свое время немало повозилась. Шум за стеной иногда исчезал, но потом возникал опять, вроде бы даже ближе, чем раньше, и Марина успокаивалась. Иногда из-за стены долетала песня — Марина не могла разобрать слов; было только ясно, что поет мужчина, а мелодия — вроде бы «Подмосковные вечера», но сказать точно было нельзя. Постепенно у Марины выкристаллизовалась уверенность, что ход за стеной роют именно к ней, и она даже догадывалась, кто именно, но целомудренно боялась до конца в это поверить. Вскakiвая с кровати, она подбегала к стене и надолго припадала к ней ухом, потом бросалась назад и замирала под шторой. Когда шум стихал, Марина приходила в смятение.

«А вдруг, — думала она, — он промахнется и прорвет ход не ко мне, а к этой сраной уродине?»

Она вспоминала самку с базара, и ее кулаки яростно сжимали сено.

«А сраная уродина, — думала Марина дальше, — возьмет и скажет, что она — это я. А он ей поверит... Он же такой глупенький...»

От такой подлости у нее даже перехватывало дыхание, и она представляла себе, что сделает с уродиной, если где-нибудь ее встретит.

Так продолжалась довольно долго; наконец стена, за которой рыли ход, начала подрагивать, и с нее на пол посыпалась земля. Марина последний раз оглядела камеру — все вроде было в порядке — и юркнула под штору. В стену с той стороны начали бить чем-то тяжелым, и не успела Марина последний раз поправить на носу очки, как стена рухнула.

В образовавшейся дыре появился сапог. Он шевельнулся, несколько раз ковырнул землю, расширяя проход, и исчез, а потом в дыру просунулось мясистое лицо, которое Марина узнала сразу же. Это был он или почти он, только не бронет,

а рыжий, и вместо дубленки на нем была заснеженная шинель с майорскими погонами. Аккуратно, чтобы не запачкаться землей, он протиснулся в дыру, и Марина заметила висевший на его груди тяжелый черный футляр с баяном.

— День добрый, — сказал майор, снял баян, поставил его на предохранитель и опустил на пол. — Скучаешь?

Внутри у Марины все сжалось, но она нашла в себе силы изящно приподнять очки и с холодным интересом взглянуть на майора.

— Мы знакомы? — спросила она.

— Сейчас будем, — сказал майор, подходя к кровати и берясь крепкими ладонями за край свисающей с кучи сена шторы...

— Ты не представляешь, Николай, какие вокруг живут звери, — говорила Марина, прижимаясь к лежащей рядом на сене холодной мохнатой тушке. — Вот, например, ходила я недавно на рынок за продуктами. Так меня там чуть не убили. Еле потом до дома добралась. Николай, ты спишь?

Николай не отвечал, и Марина, повернувшись на спину, уставилась в земляной потолок. Клонило в сон. Скоро ей стало казаться, что потолок над головой исчез, а на его месте выступили звезды. Одна из звездочек мигнула и поползла по потолку, и Марина, вспомнив детские лица со стенда с выгоревшим на солнце будущим, загадала желание.

— Сам я военный, — говорил Николай, — майор. Живу и работаю в городе Магадане. Но главное для меня в жизни — музыка. Так что если ты любишь музыку, у нас с тобой обязательно установится духовная близость...

Марина открыла глаза. Вокруг, как обычно, была тьма, но она знала, что уже настало то единственное утро, которое бывает в норе.

— Ты, Марина, — продолжал Николай, внимательно глядя на свои сапоги, стоящие возле постели, — скоро будешь такая толстая, что уже не сможешь никуда вылезти. А вечером в Магадане сотни развлечений, так что я тебе предлагаю сходить сегодня в театр.

— Хорошо, — сказала Марина, у которой сладко сжалось сердце, — но пусть это будет что-нибудь оригинальное.

Вместо ответа Николай протянул ей два листочка бумаги. «Магаданский ордена Октябрьской революции военный оперный театр» — прочла Марина, перевернула билет и увидела на другой стороне синюю надпечатку: «Жизнь за Царя».

— Так ведь это где — Магадан, — сказала она.

Николай кивнул в сторону проделанной им в стене дыры, и Марине показалось, что оттуда повеяло холодом.

До вечера Николай еще несколько раз залезал на Марину, и она, прислушиваясь к ощущениям от елозящего на ней холодного влажного тела, с недоумением спрашивала себя: неужели именно в этом все дело и именно об этом во Франции сочиняют такие красивые песни? Иногда Николай замирал и принимался рассказывать о своей службе, о делах и товарищах; скоро Марина уже знала их всех по именам и званиям. Когда Николай слезал с нее, он сразу же начинал работать по дому — сначала углубил нишу для еды, потом принялся заделывать выход, ведущий к двум гаражам. Марина ощутила беспричинную тоску.

— Зачем это ты? — с кровати спросила она.

— Дует сильно, — сказал Николай. — Сквозняк.

— А как мы тогда вылезать будем?

Николай опять кивнул на дыру в стене, из которой он появился несколько часов назад. До вечера он успел придать ей квадратную форму и даже сплел из соломы небольшой половочок, который положил перед дырой на пол.

Наконец Николай поглядел на часы и сказал:

— Пора в театр.

Марина слезла с кровати и тут вспомнила, что ей совершенно нечего одеть.

— А ты завернись в штору, — сказал Николай, когда она объяснила ему свою проблему, — сейчас все так ходят.

Марина последовала его совету, и получилось не так уж плохо. Николай натянул сапоги, надел шинель, повесил на плечо баян и нырнул в черную дыру в стене; Марина последовала за ним. За дырой был длинный кривой коридор, холодный и темный, который заканчивался узким лазом вверх; из лаза на земляной пол падал слабый синеватый свет и редкие снежинки. Николай выбрался наружу и протянул Марине руку; придерживая у горла штору, Марина последовала за ним.

Они оказались в полутемном дворе, из которого вышли на широкую заснеженную набережную. За парашютом прости-

ралась ровная белая плоскость замерзшего моря, похожая на огромный занесенный снегом каток. Набережную освещало несколько фонарей; по ней шли прохожие — большей частью вооруженные баянами офицеры, некоторые вели под руку своих завернутых в шторы жен; Марина, когда увидела их, испытала большое облегчение. Все офицерские жены были босые, как и она, и Марина успокоилась окончательно; взяв под руку Николая, она пошла по улице, любуясь падающим снегом.

Театр оказался величественным серым зданием с колоннами, очень похожим на главный корпус пансионата; Марина вспомнила южную ночь, звезды на небе и шум моря и помотала головой — таким это все казалось далеким и нереальным. Но театр удивительно напоминал здание, возле которого она когда-то вырыла нору, и даже лепные снопы на фронтоне были те же самые, только сейчас бóльшая их часть была завешена широкой кумачовой полосой с белой надписью:

#### МУРАВЕЙ МУРАВЬЮ — ЖУК, СВЕРЧОК И СТРЕКОЗА

В театре было многолюдно, празднично и торжественно; доносились жутковатые звуки настраиваемых инструментов. Офицерские жены оценивающе поглядывали на Маринину штору, и Марина с удовлетворением поняла, что ее штора не хуже, чем у большинства. Правда, попадались шторы и лучше — например, жена одного генерала носила малиновую бархатную портьеру с золотыми кистями, но зато сама эта жена была старая и морщинистая. Николай представил Марину нескольким друзьям, таким же рыжим майорам, и по их влажным зовущим взорам Марина поняла, что произвела впечатление.

Недалеко от Марины остановился пожилой генерал со сточенными временем жвалами, поглядел на нее с благосклонной улыбкой, и Марина подумала, что с ним надо поговорить о культуре.

— Скажите, — спросила она, — вам нравятся французские фильмы?

— Нет, — по-военному сухо ответил генерал. — Мне не нравятся французские фильмы. Мне нравится творчество кинорежиссера Сергея Соловьева, особенно то место, где его бьют кирпичом по голове и он падает с табурета на пол.

Тут Марина заметила, что то, что она приняла за благосклонную улыбку, на самом деле было результатом паралича

лицевых мышц и смотрел на нее генерал вовсе не благосклонно, а скорее чуть напуганно.

— А ваш муж, — добавил генерал, отходя в сторону и косясь на Николая, — хороший перспективный офицер.

— Служу Магаданскому Муравейнику! — щипая Марину за ногу, чтобы она не вздумала сказать что-нибудь еще, ответил вытянувшийся Николай.

Марина ждала, что он станет ее ругать, но он ничего не сказал.

Прозвенел звоночек, и все повалили в зал. Места у Николая с Мариной оказались не очень хорошие — сцена была видна под острым углом; то, что происходило в ее глубине, было неразличимо, и когда начался спектакль, Марина никак не могла взять в толк, о чем он. Николай наклонился к ней и шепотом стал объяснять, что большие черные муравьи напали на муравейник рыжих, а один старый муравей, пообещав провести их в камеру, где лежала главная матка и хранились яйца, на самом деле завел их в воронку муравьиного льва. На Николая сзади шикнули, и он замолчал, но Марина уже разобралась, в чем дело.

Большую часть действия она только слышала, но зато когда настал самый главный момент и на сцене остались старый муравей и муравьиный лев, Марина сумела отлично все рассмотреть. Муравьиный лев был бритым наголо румяным мужчиной в военной форме двадцатых годов, с орденом на груди; он с видимой скукой сидел на стуле, хлопая серой папашой по его ножке и дожидаясь, когда старый муравей кончит петь; наконец тот затих и отполз в глубь сцены, тогда муравьиный лев встал и медленно пошел вслед за ним. Тревожно и страшно заиграл оркестр, по залу прошел вздох ужаса, но Марина уже ничего не видела. Она смотрела на тяжелую зеленую кулису и мечтала о том, что Николай станет генералом и выхлопочет такую же для нее.

Когда спектакль кончился, Николай предложил сходить в буфет выпить шампанского. Марина с радостью согласилась — она помнила, что в фильме мордастый мужчина все время пил со своими женщинами шампанское из высоких узких бокалов. И тут случилась беда.

На пустой лестнице, затянутой широким красным ковром, Николай споткнулся, потерял равновесие и упал, ударившись затылком о ступени. Он сразу же потерял сознание и быстро

задрогал ногами, а на лице у него проступило отвращение. Марина попыталась поднять его за руку, но Николай был слишком тяжел, и Марина кинулась вниз, чтобы позвать на помощь. К счастью, на следующей же площадке она наткнулась на двух майоров, которых Николай перед спектаклем представил ей как своих друзей. Они молча курили, дожидаясь, когда подойдет их очередь в буфете. Выслушав Марину, они побросали окурки и поспешили за ней.

Николай лежал все в той же позе и так же подергивал ногами, только теперь у него вдобавок стали произвольно двигаться руки — они совершали плавные движения в стороны, будто растягивали и сжимали баян, но больше всего Марину напугало то, что Николай тихо-тихо напевал «Подмосковные вечера».

Один из майоров сел на корточки возле Николая, взял его кисть и нащупал пульс, а другой стал отсчитывать время по часам. Через минуту они переглянулись, и тот, который щупал пульс (свободной рукой Николай продолжал играть на невидимом баяне), отрицательно помотал головой.

Оба майора поглядели на Марину, и тут она впервые заметила, какие страшные жвала шевелятся у них под носами. Собственно, и у Николая, и у самой Марины были точно такие же, но раньше она не придавала этому значения. Глаза Марины заволкло слезами; сквозь их мутную пленку она увидела, что ей протягивают большой темный предмет; она подставила руки, и в них лег баян в футляре. Ее словно парализовало — она безучастно наблюдала, как первый майор приподнял Николаеву ногу, а второй, быстро работая жвалами, отгрыз ее по пах вместе с защитной штаниной, на которой в такт движениям его челюстей подергивался тонкий красный лампас. Когда он перегрызал вторую ногу, вокруг появилось еще несколько майоров; они поставили свои бокалы с шампанским на пол, и работа пошла быстрее. Николай перестал играть на невидимом баяне только тогда, когда один из вновь появившихся стал отгрызать ему голову и, видимо, перекусил нерв. Другой майор принес стопку газет «Магаданский муравей» и начал заворачивать в них отпиленные конечности Николая. Дальше у Марины в памяти был длинный провал.

Она пришла в себя на улице, от укусов холодных снежинок в лицо. Театр остался далеко за спиной; в одной руке она

держала ящик с баяном, а в другой — два продолговатых тяжелых свертка, плотно упакованных в несколько слоев газетной бумаги. Кое-как она дошла до того места, откуда несколько часов назад начинался поход в театр, огляделась и увидела в глубине занесенного снегом двора два ржавых гаража, стоявших под углом друг к другу. Между гаражами под тонким слоем свежего снега виднелось круглое углубление и недавние следы. Марина сунула руку в снег, сняла с лаза крышку — это был борт картонного ящика от папирос «Север» — и спустилась вниз.

Там было темно и тихо. Марина положила свертки в снег, который намело внизу, и поползла спать. Уже вскарабкавшись на сено, она вспомнила, что произошло в театре, когда Николая почти кончили разделявать: не в силах глядеть на это, она отвернулась и увидела, как по затынутым ковром ступеням под руку с большим рыжим полковником в сверкающих сапогах, не спуская с ее лица торжествующего взгляда, спускается сраная уродина с рынка, завернутая в лимонную портьеру с фиолетовыми виноградными гроздьями.

## 7. ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ

Прогулочный катер успел отойти в море довольно далеко, а шел все прямо, как будто направлялся в Турцию. Слева выступила часть побережья, раньше скрытая горой, и хоть сам берег не был виден в темноте, появились огни. Казалось, они горят на поверхности моря, словно мимо катера медленно движутся свечи в бумажных коробочках, стоящие на маленьких плотках. Луна тоже казалась висящим среди облаков бумажным шаром с горящей внутри свечой. Облака вокруг были высокие и редкие, с ярко-голубой от лунного света кромкой, и небо из-за этого казалось в несколько раз выше, чем обычно.

Митя стоял у борта, облокотившись на поручень, и молча смотрел на берег.

— О чем ты столько времени думаешь? — спросил Дима.

— Все о том же, — сказал Митя. — О том, что со мной происходит.

— Ты сейчас едешь по морю на катере и смотришь на берег.

— Нет, — сказал Митя, — не прямо сейчас, а вообще в жизни. Никогда не замечал такой странности? Кому-нибудь другому очень просто рассказать, как надо жить и что делать. Я бы любому все объяснил. И даже показал бы, к каким огням лететь и как. А если то же самое надо сделать самому, сидишь на месте или летишь совсем в другую сторону.

— Не понимаю, — сказал Дима, — какие сложности. Вон, видишь, сколько их горит. Выбрал любой и лети, пока сил хватит.

— В том-то и дело, — сказал Митя, — что лично во мне выбирают сразу двое. И я даже не могу отделить их друг от друга. Не знаю, кто настоящий, и не знаю, когда один сменит другого. Потому что оба вроде бы намерены двигаться к све-

ту, только по разным маршрутам. А делать они предлагают совершенно противоположное.

— Кому предлагают?

— Мне.

— Ага, — сказал Дима, — значит, в тебе уже трое?

— Как трое?

— Первый, второй и тот, кому они предлагают.

— Ты цепляешься к словам. Я могу по-другому сказать.

Когда я пытаюсь принять решение, я все время натываюсь на себе на кого-то, кто принял прямо противоположное, и именно этот кто-то потом все и делает.

— А ты?

— А что я? Когда он появляется, я им и становлюсь.

— Так, значит, это ты и есть?

— Но я ведь хотел делать прямо противоположное.

Митя надолго замолчал.

— Эти двое как бы делят мое время, — заговорил он опять. — Один — это настоящий я, окончательный, тот, кого я считаю самим собой. Тот, кто хочет лететь к свету. А второй — это временный я, существующий только секунду. Он тоже, в общем, собирается лететь к свету, но перед этим ему необходим короткий и последний отрезок тьмы. Как бы проститься. Кинуть последний взгляд. И что странно, у того меня, который хочет лететь к свету, есть вся жизнь, потому что он и есть я, а у того, кто хочет лететь к тьме — только одна секунда, и все равно...

— И все равно ты постоянно замечаешь, что летишь во тьму.

— Да.

— И тебя это удивляет?

— Очень.

Дима кинул за борт скомканную конфетную бумажку и следил за фантиком, пока его не накрыла полоса пены от винта.

— Вся жизнь ночного мотылька, — сказал он, — и есть эта секунда, которую он тратит, чтобы попрощаться с темнотой. К сожалению, ничего, кроме этой секунды, в мире просто нет. Понимаешь? Вся огромная жизнь, в которой ты собираешься со временем повернуть к свету, на самом деле и есть тот единственный момент, когда ты выбираешь тьму.

— Почему?

— А что еще может быть, кроме этой секунды?

— Вчера. Завтра. Послезавтра.

— И вчера, и завтра, и послезавтра, и даже позавчера тоже существуют только в этой секунде, — сказал Дима. — Только в тот момент, когда ты о них думаешь. Так что если ты хочешь выбрать свет завтра, а сегодня попрощаться с тьмой, то на самом деле ты просто выбираешь тьму.

— А если я хочу перестать выбирать тьму? — спросил Митя.

— Выбери свет, — сказал Дима.

— А как?

— Просто полети к нему. Прямо сейчас. Никакого другого времени для этого не будет.

Митя поглядел на берег.

Что-то мелькнуло в воздухе, и раздался громкий удар о верхнюю палубу. Потом послышалось звяканье ботинок о тонкую металлическую палубу и бодрые голоса.

— Что это там? — задрал голову, спросил Митя.

— Комары, — сказал Дима. — Сразу трое.

— Ночью? — спросил Митя. — И от берега вроде далеко.

— Для них сейчас день, — ответил Дима. — Солнце всюду светит.

— Что они там делают?

— Откуда я знаю, — сказал Дима.

Справа по борту катера медленно поплыла огромная скалистая гора. Она была похожа на каменную птицу, расправившую крылья и наклонившую голову вперед, а на ее вершине мигали два красных огня.

— Видишь, — сказал Дима, — сколько вокруг света и тьмы. Выбирай что хочешь.

— Допустим, я хочу выбрать свет. Но как я узнаю, настоящий он или нет? Ты же сам недавно про луну говорил, про лампочки Ильича, танцплощадку и так далее.

— Настоящий свет — любой, до которого ты долетишь. А если ты не долетел хоть чуть-чуть, то к какому бы яркому огню ты до этого ни направлялся, это была ошибка. И вообще, дело не в том, к чему ты летишь, а в том, кто летит. Хотя это одно и то же.

— Да, — сказал Митя, — наверное. Ну, допустим, я выбираю вон те два красных огня.

Дима поглядел на вершину горы.

— Не так уж близко, — сказал он. — Но это не имеет значения.

— И что теперь делать? — спросил Митя.

— Лететь.

— Что, прямо сейчас?

— А когда же еще? — спросил Дима.

Митя перелез через ограждение борта, схватился за привязанную к флагштоку короткую веревку и раскрыл крылья. Ветер рывком поднял его тело, и он стал похож на поднятый на корме темный флаг или на взлетевшего над ней воздушного змея. Потом он разжал пальцы, и катер поплыл вперед и вниз; стали видны три фигурки на заваленной надувными спасательными плотами верхней палубе.

Когда рядом появился Дима — взлетел он незаметно и быстро, без всякого нарциссизма, — фигурки на верхней палубе пришли в движение. Одна из них, с зачехленной гитарой, неожиданно приподнялась с четверенок, в два шага разбежалась и, провалившись в воздухе почти до поверхности моря, кое-как полетела к берегу, постепенно набирая скорость. Оставшиеся двое начали спорить и некоторое время яростно жестикулировали, а потом, когда Мите уже трудно было различать их контуры, тоже взлетели. Еще через минуту катер стал просто светлым пятнышком внизу, и Митя перевел взгляд вперед.

Там был отвесный каменный склон. Когда он оказался достаточно близко, лететь пришлось почти вертикально вверх. Через несколько минут этого воздушного восхождения внезапно изменилась перспектива — Мите стало казаться, что склон горы уходит не вверх, а вдаль, и он летит на небольшой высоте над каменистой пустыней, где в лунном свете различимы каждый выступ и каждая трещина; красные огни на вершине стали похожи на лампы далекого железнодорожного семафора.

Ему в спину ударил ветер, и Митя чуть не врезался в каменный карниз, далеко выступающий от поверхности горы. После этого он полетел медленнее. Иногда в трещинах скалы появлялись кусты, которые казались согнутыми сильным ветром; стоило напомнить себе, что на самом деле они, как и положено, тянутся вверх, и пустынная равнина внизу превращалась в то, чем она и была, — в каменную стену. Но лишь только Митя переставал напоминать себе об этом, как внизу опять появлялась бесконечная пустыня, по которой неслись, растягиваясь и искривляясь на трещинах, две длинные черные тени. Митя поднял глаза — впереди уже не было никаких красных огней.

Луна ушла за край облака, и каменная равнина, над которой они летели, показалась ему крайне мрачной. Далеко за ее границей горели огни нескольких прибрежных поселений, похожие на звезды с какого-то другого неба. Митя еще раз посмотрел в темную пустоту впереди и почувствовал внезапный страх и желание развернуться и полететь вниз.

— Слушай, — сказал он летящему рядом Диме, — а куда мы сейчас направляемся? Огней ведь уже нет.

— Как это нет, — сказал Дима, — если мы к ним летим.

— Какой смысл к ним лететь, если их не видно? Давай вернемся.

— Тогда нас тоже не будет. Тех нас, которые к ним полетели.

— Может, эти огни просто были не настоящие, — сказал Митя.

— Может быть, — сказал Дима, — а может, мы были не настоящие.

Опять вышла луна, и на каменной поверхности склона появились короткие резкие тени выступов. Митя ощутил беспричинную тоску и беспокойство, помотал головой и понял, что уже долгое время слышит странный пронзительный лай. Этот лай был очень громким, но таким тонким, что ощущался не ушами, а животом. Иногда лай стихал, и ему на смену приходил не то вой, не то свист, от которого к горлу подступала легкая тошнота. Свист был очень неприятного тембра, и Митя подумал, что если бы красные кхмеры в Кампучии делали электронные будильники, то те, наверное, звенели бы именно так.

— Слышишь? — спросил он Диму.

— Слышу, — спокойно ответил тот.

— А что это?

— Летучая мышь, — сказал Дима.

Митя даже не успел испугаться: на залитом луной каменном склоне, перекрывая несущиеся вверх тени, мелькнула еще одна — огромная, размытая по краям и бесформенная. Митя с Димой метнулись к скале и с разгона плюхнулись на крохотную площадку, на которой росло несколько маленьких кустов; Митя при этом чуть не вывихнул ногу. Свист сразу же стих.

— Не шевелись, — прошептал Дима.

— Она нас заметила?

— Конечно, — сказал Дима. — Если ты ее услышал, то она тебя и подавно.

— Она слышит, как мы говорим?

— Нет, — сказал Дима. — У нее очень интересные взаимоотношения с реальностью. Она сначала кричит, а потом вслушивается в отраженный звук и делает соответствующие выводы. Так что если не шевелиться, она может оставить нас в покое.

Несколько минут они стояли молча. Вокруг было тихо, только снизу долетал слабый шум далекого моря.

— Помнишь вопрос, который я тебе задал? — спросил Дима. — Насчет того, какой свет отражает солнце?

— Помню.

— На самом деле и солнце, и свет тут ни при чем. О том же самом можно сказать по-другому. Взять хотя бы то, что происходит с нами прямо сейчас. Как ты думаешь, что видит летучая мышь, когда до нее долетает отраженный от тебя звук?

— Меня, надо полагать, — вглядываясь в небо, ответил Митя.

— Но ведь звук — ее собственный.

— Значит, не меня, а свой звук, — ответил Митя.

Лай летучей мыши стих, и она была не видна, но Митя чувствовал, что мышь рядом, и это беспокоило его куда сильнее, чем логические построения.

— Да, — сказал Дима, — но ведь звук отразился от тебя.

Митя еще раз оглядел небо. Размеренный неторопливый тон Димы начинал действовать ему на нервы.

— И выходит, — говорил Дима, — что в некотором смысле ты просто один из звуков, издаваемых летучей мышью. Так сказать, куплет из ее песни.

Вдруг перед площадкой, обдав их волной воздуха, бесшумно пронеслась тяжелая черная масса и исчезла из виду. Минуту или две не было слышно ничего, а потом издалека донесся прежний пронзительный лай. Он приближался — видимо, летучая мышь легла на боевой курс.

— Ты — один из звуков, издаваемых летучей мышью. А что такое летучая мышь?

— Это то, что нас сейчас будет есть, — ответил Митя, чувствуя, как от несущегося со стороны моря свиста слабеют ноги и наезжают одна на другую мысли в голове.

Далеко в небе мелькнуло темное пятнышко, и свист стал громче; Митя животом различил в нем запредельную, на две октавы выше всего слышанного в жизни, мелодию.

— Подумай, — сказал Дима, — чтобы исчез ты, летучей мыши достаточно перестать свистеть. А что нужно сделать тебе, чтобы исчезла летучая мышь?

Он оттолкнулся от края площадки и головой вперед бросился вниз. Митя прыгнул следом, и в то место, где он только что стоял, врезалась, с треском ломая кусты, тяжелая черная масса.

Несколько метров он неуправляемо падал вниз, а потом затормозил и быстро полетел вдоль склона, почти цепляя за него крыльями. Дима исчез.

Сзади опять долетел тошнотворный свист. Митя оглянулся и увидел ныряющую вверх-вниз темную тень. Пролетев еще с десяток метров, он заметил узкую расщелину в скале и метнулся к ней. Втиснувшись внутрь, он вжался в неровности камня и замер. Несколько минут было тихо, и он слышал только собственное громкое дыхание, а потом со стороны моря опять долетел свист, почти сразу же темная масса мягко врезалась в скалу, закрыла просвет, и в нескольких сантиметрах от лица Мити полоснула воздух черная когтистая лапа. Митя мельком увидел серую широкоскулую и остроухую морду с маленькими глазками и огромной зубастой пастью — отчего-то она напомнила ему радиатор старой «Чайки». Мышь зашуршала крыльями по скале и исчезла. От всего этого события у Мити осталось такое ощущение, что в расщелину, где он прятался, попыталась въехать мягкая и мохнатая правительственная машина, управляемая полуслепым шофером.

Митя перенес вес тела на левую ногу, а правую отвел назад. Опять раздался свист, и когда черное тело мыши забило у входа, Митя изо всех сил пнул его ногой. Он попал во что-то податливое и услышал громкий визг. Мышь исчезла. Затаив дыхание, Митя ждал, но мышь не подавала никаких признаков жизни. Осторожно подобравшись к выходу из расщелины, он высунул голову и сразу услышал пронзительный свист. У него перед глазами мелькнуло перепончатое крыло, а над ухом лязгнули зубы. Митя отпрыгнул назад и чуть не потерял равновесие.

Через несколько минут Мите стало казаться, что он различает издаваемые мышью звуки — тихий шорох крыльев и скрип царапающих камень когтей. Может быть, эти звуки производил ветер, но Митя был уверен, что мышь по-прежнему ждет его у входа. «Вот так, — подумал он. — Как только

понимаешь, что живешь в полной темноте, из нее немедленно появляются летучие мыши...»

Вдруг у Мити мелькнула слабая надежда.

«А чего она может бояться?» — подумал он.

Первым, что пришло ему в голову, был летучий кот. Закрыв глаза, Митя попытался представить себе, что это такое. Летучий кот оказался сидящим на задних лапах существом с большими мохнатыми крыльями и хвостом с чем-то вроде мухобойки на конце, как рисуют у древних крылатых ящеров; больше всего он почему-то напоминал сфинкса с швейной машинки «Зингер». Старательно представив все подробности, Митя тихо засвистел, и в расщелину сразу свесилась перевернутая морда, глаза которой, как показалось Мите, были недоверчиво выпучены. Митя засвистел громче и представил себе, как летучий кот раскрывает пасть и прыгает вперед. Морда в расщелине исчезла, и Митя услышал быстро удаляющееся хлопанье крыльев.

Митя сунул в рот два пальца и изо всех сил свистнул вслед удаляющемуся темному пятнышку, а потом шагнул из расщелины в пустоту, после короткого падения затормозил в воздухе и повернул вверх.

Димы нигде не было видно. Митя полетел к тому месту, где они расстались, — оно было в стороне и значительно выше. На площадке Димы не оказалось, и Митя полетел к вершине. Он был уверен, что с Димой ничего не произошло, но все-таки, несмотря на эйфорию от неожиданной победы, испытывал нехорошее предчувствие. И только через несколько минут полета, когда до вершины было уже недалеко и мимо него проплывала гладкая, словно вылитая из металла каменная стена без единой неровности, он услышал свист и понял, в чем дело. Мышь вовсе не оставила его в покое. Она просто дожидалась, когда он вылетит из своего убежища и окажется в месте, где спрятаться будет негде.

Митя сунул в рот два пальца и изо всех сил засвистел в ответ, пытаясь снова вызвать в своем воображении образ черного пушистого сфинкса, но свист вышел жалкий и вся затея показалась крайне глупой. Мышь уже мелькала вдалеке, как черный каучуковый мячик, скачущий к нему по невидимой поверхности, и деться от нее было совершенно некуда. «Что я могу сделать, чтобы она исчезла? — лихорадочно думал Митя. — Чтобы исчез я, ей достаточно перестать свистеть... Я — это то,

что она слышит... Чтобы исчезла она... Может, тоже надо перестать что-то делать? А что я делаю, чтобы она возникла?»

Это было совершенно непонятно. То есть было примерно понятно, что имел в виду Дима в метафорическом смысле, но было совершенно неясно, какой толк во всех этих метафорах, когда рядом летает совершенно не интересующаяся ими летучая мышь.

Митя зажмурился и неожиданно увидел ясный голубой свет — словно он не закрыл глаза, а наоборот, закрыты они были раньше и вдруг, открывшись от страха, впервые заметили что-то такое, что находилось перед ними всегда и было настолько ближе всего остального, что делалось из-за этого невидимым. И одновременно в его голове пронеслось мгновенное воспоминание о давно прошедшем дне, когда он тащился по серому ноябрьскому парку, над которым летели с севера низкие свинцовые облака. Он шел и думал, что еще несколько дней такой погоды — и небо опустится настолько, что будет, как грузовик с пьяным шофером, давить прохожих, а потом поднял глаза и увидел в облаках просвет, в котором мелькнули другие облака, высокие и белые, а еще выше — небо, такое же, как летом, до того синее и чистое, что сразу стало ясно — с ним, небом, никогда никаких превращений не происходит, и какие бы отвратительные тучи ни слетались на праздники в Москву, высоко над ними всегда сияет эта чистая неизменная синева.

И было большой неожиданностью увидеть в самом себе нечто похожее, так же мало затрагиваемое происходящим вокруг, как одинаковое в любое время года небо — ползущими над землей тучами.

«Весь вопрос в том, — подумал Митя, — откуда смотришь. Если, например, крепко стоять двумя ногами на земле... Стоп. А кто, собственно, смотрит? И на кого?»

Первое, что он услышал, когда пришел в себя, был знакомый свист.

«Господи, — подумал Митя, с усилием открывая глаза, — какие еще мыши...»

Он висел в пятне ярко-синего света, словно на нем скрестились лучи нескольких прожекторов. Но никаких прожекторов на самом деле не было — источником света был он сам.

Митя поднял перед лицом руки — они сияли ясным и чистым синим светом, и вокруг них уже крутились крошечные серебристые мушки, непонятно откуда взявшиеся на такой высоте над морем.

Митя полетел вверх, и за все время, пока он поднимался к вершине, в голову ему не пришло ни одной мысли.

Вершина оказалась небольшой плоской площадкой, где росло несколько мелких кустов боярышника и торчал стальной шест маяка. Две красные лампы, до этого скрытые каменным выступом, опять стали видны. Они вспыхивали попеременно, и черные тени кустов меняли направление, будто на землю падала тень раскачивающегося в воздухе маятника. Под шестом с лампами стояли две непонятно откуда взявшиеся складные табуретки. На одной из них сидел Дима.

Митя помахал ему рукой, сел на свободную табуретку и развернул на колене вынутый из кармана лист бумаги.

— Сейчас, — сказал он внимательно глядящему на него Диме, — сейчас.

Минуту или полторы он писал, потом быстро сложил из листа самолетик, встал, подошел к обрыву и пустил его — тот сначала нырнул вниз, а потом круто взмыл вверх и пошел вправо — туда, где остался поселок.

— Что это ты? — спросил Дима.

— Так, — сказал Митя. — Мистический долг перед Марком Аврелием.

— А, — сказал Дима, — это бывает. Ну а все-таки, свет чего отражает солнце?

Митя сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой, и над ее обрезом возник ярко-синий язычок огня.

— Вот, — сказал Дима. — Как все просто, да?

— Да, — сказал Митя, — удивительно.

Он поднял глаза на мигающие сверху лампы. Возле их стекол воздух трещал от крыльев сотен неведомых насекомых, безуспешно пытающихся пробиться сквозь толстое ребристое стекло к самому истоку света.

— Куда же все-таки она делась? — спросил Митя.

— Ты про мышь? Куда она могла деться. Вон летает.

Дима показал на крохотный черный комок, ныряющий вверх-вниз на границе освещенного участка. Митя посмотрел туда и перевел взгляд на свои руки — они по-прежнему были окружены ровным голубоватым сиянием.

— Я сейчас понял, — сказал он, — что мы на самом деле никакие не мотыльки. И не...

— Вряд ли тебе стоит пытаться выразить это словами, — сказал Дима. — И потом, ведь ничего вокруг тебя не изменилось от того, что ты что-то понял. Мир остался прежним. Мотыльки летят к свету, мухи — к говну, и все это — в полной тьме. Но ты — ты теперь будешь другим. И никогда не забудешь, кто ты на самом деле, верно?

— Конечно, — ответил Митя. — Вот только одного я не могу понять. Я стал светлячком только что или на самом деле был им всегда?

## 8. УБИЙСТВО НАСЕКОМОГО

— И под конец, — с явным удовольствием рассказывал Артур, глядя на Арнольда, подставившего голову под хлещущую из крана воду, — ты закричал на все отделение: «Американские комары наших мух е...ут, а мы смотреть будем?»

Арнольд закрыл лицо руками; вода потекла по его предплечьям, закручиваясь на локтях и двумя потоками падая на кафель.

— Но самое интересное, что в милиции к тебе отнеслись с явным сочувствием, — сказал Артур, — и даже деньги отдали, что бывает очень редко. Ты хоть что-нибудь помнишь?

Арнольд отрицательно потряс головой.

— Минуты три назад еще помнил, — сказал он, закрывая кран и кое-как расправляя на голове волосы. — А сблевал последний раз — и сразу все как отрезало.

— Хоть про масонов-то помнишь? — спросил Арнольд. — Я прямо заслушался.

Арнольд задумался.

— Нет, — сказал он, — не помню.

— А про Магадан духа?

— Тоже не помню.

— Вот это самое интересное и было, — сказал Артур. — Это ты ментам рассказывал, когда протокол составляли. Что есть где-то такой особый город, куда никто просто так не попадает. И там существует особое искусство и особая наука, и всё — как в восьмидесятом году. Последний оплот. И время по-другому течет: тут один день проходит, а там — несколько лет. Так сказать, советская Шамбала наоборот. Но вход в нее то ли под землей, то ли в воздухе, этого я не понял. И ты еще дал понять, что у тебя там связи.

— Не помню, — сказал Арнольд. — И вообще, хватит. Проехали.

— Ладно, — сказал Артур. — Проехали так проехали. Ты мне только скажи, чего тебя на приключения потянуло? Ты же видел, что с Сэмом было.

— Даже не знаю, — сказал Арнольд. — Взял чемодан, смотрю — клиент как бревно лежит. Интересно стало. Я подумал — неужели и на меня подействует? Напился, вылетаю — вроде ничего. Ну, думаю, слабый парень этот Сэм. Полетел, значит, с вами встречаться, а потом... Помню только, как Сэма за столом увидел. А что это с ним была за девушка?

— Не знаю, — сказал Артур. — Я и сам не понял. Бац, а она уже за столом. Они сейчас от голода очень проворные. Готов?

Арнольд остановился у зеркала, привел себя, насколько возможно, в порядок и положил на тумбочку перед старушкой мятый рубль. Выйдя из душевого павильона, приятели направились в сторону моря.

— Слушай, — сказал Артур, — до вечера все равно делать нечего. Давай Арчибальда навестим?

— А он все там же?

— Вроде да, — сказал Артур. — Я иногда прохожу мимо его избушки, только зайти все недосуг. Но дверь открыта.

Через несколько минут они подошли к стоящему прямо на газоне бревенчатому домику, повернутому приоткрытой дверью к набережной. Домик был очень маленький и казался перенесенным сюда с детской площадки; над его дверью красовалась вывеска — красный крест, полумесяц и большая капля крови, а сверху была красная надпись «*Донорский пункт*».

Артур толкнул дверь и вошел внутрь; Арнольд последний раз пригладил волосы и шагнул следом.

Внутри было полутемно. Напротив двери помещался невысокий прилавок, на котором стояло несколько банок медицинского вида и электрокипятильник для шприцев, а сзади, у стены, располагалась пыльная конструкция из стеклянных сосудов, соединенных оранжевыми резиновыми трубками. Арнольд знал, что это нагромождение пробирок и колб совершенно бессмысленно и является просто декорацией, но все равно ощутил специфический дух больницы. За прилавком никого не было. На стене висело объявление, тоже пыльное, выведенное через трафарет шариковой ручкой:

## БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

*Ваша кровь нужна другим. Научные исследования доказали, что регулярная сдача крови положительно сказывается на половой функции и увеличивает продолжительность жизни. Выполните свой нравственный, гражданский и религиозный долг!*

*После сдачи крови бесплатно выдается шоколад «Финиш». Регулярные сдатчики получают значок «Заслуженный донор» и памятную грамоту.*

В избушке никого не было. За прилавком была полуоткрытая дверь. Арнольд обогнул прилавок и выглянул наружу. Там зеленел небольшой тихий оазис — это был участок газона, со всех сторон закрытый густыми зарослями кустов, так что попасть туда можно было только из домика. В центре зеленого пятка стоял маленький круглый мужчина в белом халате и шапочке. У него в руках был пластмассовый вертолет, посаженный на штырь с леской, и в тот самый момент, когда Арнольд выглянул из двери, мужчина изо всех сил дернул леску.

Винт вертолета превратился в прозрачный круг, и игрушка взмыла в воздух. Мужчина задрал голову, издал тихий счастливый смех и несколько раз невысоко подпрыгнул на месте от восторга. Вертолет повис в воздухе, стал косо падать и исчез за кустами. Мужчина кинулся к двери и чуть не налетел на Арнольда. Остановясь, он выпучил глаза.

— Арнольд! — сказал он и выронил штырь с леской на траву.

— Здорово, дружище, — сказал Артур, появляясь из двери домика.

— Привет, ребята, — сказал Арчибальд, растерянно бегая глазами по гостям и пожимая им руки. — Вот хорошо, что зашли. Я уж думал, вы уехали куда. Как дела? Чем занимаетесь?

— Дела отлично, — ответил Артур. — Совместное предприятие с американцами делаем. А ты как?

— У меня все по-старому, — сказал Арчибальд. — Сейчас, ребята. Вы садитесь пока.

Он нырнул в дверь и через минуту появился с большой ретортой, полной темно-красной жидкости, и тремя стаканами. Поставив стаканы на траву, Арчибальд до краев налил их и поднял свой.

— А чья это? — поинтересовался Артур.

— Коктейль, — ответил Арчибальд. — Туркменская второй группы и подмосковно-инженерная с отрицательным резусом. За встречу!

Он сделал большой глоток. Артур с Арнольдом тоже отхлебнули.

— Ну и дрянь, — поморщившись, сказал Артур. — Ты извини, конечно. Но как ты можешь это пить, с консервантом?

— А что делать? — развел руками Арчибальд. — Иначе за день сворачивается.

— Что ж ты, так и живешь? Да ты когда свежую кровь пил последний раз?

— Вчера, — сказал Арчибальд, — пятьдесят грамм. Я, когда клиентов много, тоже себе позволяю.

— Из стакана, — фыркнул Артур. — Какой ты комар после этого? Что бы твой отец сказал, если бы увидел?

— Да какой я комар, — извиняющимся тоном проговорил Арчибальд, — так, слово одно. Мать была божья коровка, вот только крест от нее остался, — он вытянул из-за ворота халата золотую цепочку, — а отец таракан. Я вообще непонятно кто.

— И нравится тебе быть непонятно кем?

Арчибальд одним глотком допил кровь и задумчиво повертел стаканом в воздухе.

— Непонятно кем? — переспросил он. — Не знаю. Нравится, наверно. Тихо, покойно. Конечно, когда молодой был, не думал, что этим кончится. Все казалось, стою на пороге чего-то удивительного, нового, вот только еще немного... — он запнулся, подыскивая слово, и пошевелил пальцами в воздухе, словно пытаясь показать, чему именно он хотел когда-то посвятить еще немного времени, — еще чуть-чуть — и переступлю. А порог оказался...

Он кивнул головой в сторону двери, ведущей в избушку.

— Ты когда последний раз летал? — спросил Артур.

— Не помню даже. Вы меня, ребята, на грустные мысли наводите. Зачем вам, а?

— А ты ведь не сдался еще в душе, — сказал Артур, — я, как этот вертолетик увидел, так все и понял.

— Может, и не сдался, — сказал Арчибальд и плеснул из колбы себе в стакан. — Вам наливать?

Артур вопросительно поглядел на Арнольда. Тот отрицательно покачал головой.

— Слушай, — сказал Артур, — я тебе вот что предлагаю. Ты запри свою кибитку часа на два и давай на пляж слетаем. Попьем нормальной крови, проветримся. А?

— Отпадает, — сказал Арчибальд. — Я и ста метров сейчас не пролечу.

— Кончай, — сказал Артур. — Пролетишь. Если не будешь самовнушением заниматься. Ты себя просто настроил так.

— Бросьте, ребята.

— Правда, — заговорил Арнольд, — давай. У тебя аппетит к жизни пропал. А чтобы он появился, надо немного от нее откусить и пожевать. Ведь если сейчас не полетишь, то что тебя потом заставит?

— Так и сдохнешь тут среди шприцев и шлангов, — сказал Артур. — Извини, конечно.

— А может, я уже сдох, — сказал Арчибальд, исподлобья глядя на приятелей.

— Вот и проверим, — не сдавался Артур. — Если летишь — значит, жив. Остаешься — значит, сдох.

— Полетели, полетели, — заговорил Арнольд. — Мы тебя, если надо, подстрахуем.

Выпитая кровь уже начала действовать на Арчибальда. Он зло засмеялся, встал, качнулся и опрокинул колбу с кровью, но не обратил на это внимания.

— Сейчас, дверь запру только, — сказал он с легким восточным акцентом и скрылся в домике.

Через секунду Арчибальд выглянул, показал Артуру с Арнольдом длинный острый нож, нехорошо улыбнулся и опять исчез за дверью.

Арнольд наклонился к Артуру и прошептал:

— Зря мы это начали. Может, уйдем? Он же действительно за нами увяжется.

— Поздно, — шепотом ответил Артур.

И действительно, было уже поздно: Арчибальд появился из своего домика. Он успел переодеться: теперь на нем были тяжелые туристские ботинки, военная рубашка и джинсы, перетянутые офицерской портупеей; в руке — зачехленная гитара, из-за которой он походил на рано постаревшего итээра, собравшегося на слет клуба самодеятельной песни.

— Джамбул на коне, — сказал он, — как птица в небе.

Артур с Арнольдом переглянулись.

— Понимаешь, — заговорил Арнольд, — мы не в том смысле, что прямо сейчас надо все бросить и лететь. Просто надо хотя бы иногда...

— Так летим или не летим? — презрительно спросил Арчибальд.

— Летим, летим, — сказал Артур, не обращая внимания на яростные взгляды Арнольда.

Присев на четвереньки, он поглядел на Арчибальда, раздул щеки, тихо затрещал, приложил руку к груди и резко отвел ее в сторону, словно дергая леску. Полы его пиджака задрожали и превратились в стрекочущий прозрачный полукруг над спиной; он медленно поднялся на несколько метров, явно пародируя полет пластмассового вертолетика.

Арчибальд покраснел, на удивление легко взмыл вверх и завис напротив обидчика. Артур продолжал валять дурака — трещал, дергал невидимую леску и покачивался из стороны в сторону. Подлетев к мрачно наблюдающему за этим Арчибальду, Арнольд взглянул на него и жалостливо отвел взгляд. Хоботок Арчибальда, загнутый вниз и какой-то мятый, вызвал у него длинный ряд ассоциаций, закончившийся вопросом: «Страна, скажи, как твое имя?» (Это был, как Арнольд вспомнил, заголовок газетной статьи, слева от которой размещалась реклама пластмассового приспособления от импотенции «Эректор».)

— Куда? — спросил Арчибальд.

— Пролетим над пляжем, — сказал Артур, — сориентируемся.

Внизу поплыла набережная. Потом мелькнули дощатые крыши раздевалок и открылся берег, на котором неподвижно лежали сотни полуголых тел. Запах моря смешивался с множеством других пляжных запахов; теснота, с которой лежали отдыхающие, напоминала о заводской бане, и желания приземлиться ни у Артура, ни у Арнольда не возникло.

— Может быть, в заповедник? — предложил Артур, кивая хоботком в сторону далеких скал.— Там народу почти не бывает.

— Егеря пристанет, — сказал Арнольд.

— Он там не бывает никогда.

— А клиента найдем?

— Один-два всегда есть, — сказал Артур, наклонил голову и полетел впереди, стараясь двигаться не очень быстро, но и не настолько медленно, чтобы Арчибальд понял, что его щадят.

Берег моря образовывал длинную вогнутую дугу, и друзья полетели по прямой, над морем. Сначала Арчибальд наслаждался полетом и искренне досадовал на то, что уже столько лет добровольно лишает себя наслаждения, доступ-

ного в любой момент, но когда усталость разогнала ударившую в голову кровь, он посмотрел вниз и обомлел.

Под его притиснутыми к брюшку лапками («Господи, какие худые!» — подумал Арчибальд) и зажатой в них гитарой, похожей на ракету «Хаунд дог» под брюхом бомбардировщика Б-52, расстиралось море — оно было очень далеко, и волны на нем казались неподвижными. Берег оказался на таком расстоянии, что Арчибальд понял — свались он сейчас вниз, вплавь он до него не доберется. Ему стало страшно, и он поднял взгляд на небо.

Артур с Арнольдом были в превосходном настроении и коротко обменивались впечатлениями о погоде; про Арчибальда словно забыли. Они отлетали все дальше от берега, и Арчибальд стал ощущать короткие приступы паники. От страха он тратил массу лишних усилий, махая крыльями намного быстрее, чем требовалось; сначала он подумал, что все-таки сумеет долететь до заповедника, и уже почти успокоился, решив никогда больше не ввязываться в такие приключения, как вдруг что-то сильно толкнуло его в лицо и грудь.

Арчибальд зажмурился от рези в глазах, поднес к ним одну лапку и протер их — вся лапка, когда он поглядел на нее, оказалась покрытой грубым папиросным табаком. Табак запылил ему глаза и рот, забился в волосы и в большом количестве попал за шиворот, но задуматься, откуда он мог взяться на такой высоте и в таких количествах, Арчибальд не успел, потому что гитара неожиданно стала очень тяжелой, а в спине возникла настолько острая боль, что стало ясно: еще полсотни метров, и крылья откажут.

— Ребята, — позвал он улетевших чуть вперед Артура с Арнольдом и, поняв, что его не слышат, зажужжал во весь хоботок:

— Ребята!!

Те обернулись и сразу все поняли.

— До берега дотянешь? — торопливо подлетая, спросил Артур.

— Нет, — задыхаясь, ответил Арчибальд, — я сейчас упаду.

Перед его глазами все слилось в мутное бессмысленное пятно; последним, что он различил, была крошечная белая лодочка прогулочного катера на темно-синем фоне.

— Так, Арнольд, давай его... Садимся на авианосец. До палубы дотянешь?

Эти слова донеслись до Арчибальда из другого измерения — в его мире не оставалось уже ни высоты, ни палубы, ни необходимости куда-нибудь дотянуть. Но голоса становились все громче и нахальнее, и кто-то даже начал сильно трясти за плечо, после чего пришлось открыть глаза. Над ним склонялись Артур и Арнольд.

— Арчибальд, — позвал Артур, — ты меня слышишь?

Арчибальд молча приподнялся на локтях. Он лежал на верхней палубе среди оранжевых спасательных плотов — по цвету они так напоминали пыльные резиновые трубки, висящие на стене у него дома, что ему сразу стало спокойно. Под головой у него была гитара, а рядом сидели на корточках Артур с Арнольдом. Теплоход слегка покачивало; с нижней палубы сквозь шум мотора пробивались крики пассажиров.

— Ну ты даешь, — сказал Арнольд. — Мы тебя в последний момент поймали. У тебя что, высотобоязнь?

— Типа того, — ответил Арчибальд.

— Над морем ниже лететь опасно, — сказал Артур. — Чайки.

Он кивнул в сторону кормы, над которой неподвижно висело несколько белых птиц — они летели с той же скоростью, что и катер, но совсем не махали крыльями и казались эмблемами с кулис невидимого МХАТа. Время от времени с палубы бросали в море конфету или печенье, и тогда одна из птиц чуть поворачивала крылья и уносилась назад, превращаясь в покачивающееся на воде белое пятнышко, а ее место над кормой занимала другая.

Вдруг с кормы в небо взмыли две темные ширококрылые тени и унеслись вверх — это произошло так быстро, что ни Артур, ни Арнольд ничего не заметили.

— Красиво, — сказал Арчибальд и попытался встать.

— Пригнись, — скомандовал Артур, — из рубки увидят.

После нескольких эволюций Арчибальд встал на четвереньки, лицом к белой полосе пенного следа за кормой.

— Господи, — сказал он, — как я живу! Я ведь неправильно живу!

— Успокойся, — велел Артур. — Мы тоже. Только истерики не надо.

— Море, — медленно и членораздельно сказал Арчибальд, — катер идет. Чайки. И все это рядом. А я... На палубу вышел, а палубы нет...

Вдали, у горы, мимо которой шел теплоход, из моря под-

нимались несколько плоских камней; на вершине одного из них мелькнули два обнаженных тела и сразу исчезли за наехавшей скалой. Арчибальд издал невнятный стон — словно из глубин его сердца вырвалась на свободу вся долго копившаяся ненависть к себе, к своему жирному дряблему телу и бессмысленной жизни, — и, прежде чем приятели успели среагировать, он схватил гитару и бросился в воздух.

Его сознание сузилось в подобие ракетной системы наведения — в нем остались только плоский камень с двумя лежащими на нем телами, который становился все ближе и наконец заполнил собой все пространство; тогда новой целью стала стремительно несущаяся на него голая женская нога — Арчибальд ощутил, как его хоботок выпрямился и налился давно забытой силой. Арчибальд громко зажужжал от счастья и с размаху всадил его в податливую кожу, подумав, что Артур с Арнольдом...

Но с неба вдруг упало что-то страшно тяжелое, окончательное и однозначное, и думать стало некому, нечего, нечем и незачем.

— Я не хотела, — повторяла заплаканная Наташа, прижимая к голой груди скомканное платье, — не хотела! Я ничего даже не заметила!

— Никто никого и не обвиняет, — сухо сказал мокрый Артур. — Это просто несчастный случай, очень несчастный.

Сэм молча обнял Наташу за плечи и развернул ее, чтобы она больше не могла смотреть на то, что совсем недавно ходило по земле, радовалось жизни, сосало кровь и называло себя Арчибальдом. Сейчас это был мятый ком кровавого мяса, кое-где прикрытый тканью, из центра которого торчал треснутый гриф гитары — ни рук, ни ног, ни головы уже нельзя было различить.

— Ехали на катере, — сказал мокрый Арнольд, — и он вдруг ни с того ни с сего как взлетит. И с такой скоростью — мы его даже догнать не смогли. Кричали вам, кричали. А когда подлетели... Вы ведь и не заметили ничего. Его назад в море отнесло. Полчаса искали.

— Если кто-нибудь виноват, — сказал Артур, — так это мы. Он сначала никуда не хотел лететь, словно чувствовал. Но потом согласился. Наверно, просто решил умереть как комар.

— Может быть, — сказал Арнольд. — А что это он сказал про палубу?

— Это из песни, — ответил Артур. — На палубу вышел, а палубы нет. В глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет. Упал, сердце больше не билось...

— Да, — сказал Арнольд. — Когда-нибудь и нас это ждет.

Ему в щеку ударило что-то легкое и острое, и он рефлекторно поймал маленький самолетик, сложенный из исписанного листа бумаги. Арнольд поднял глаза — над ним возвышалась почти отвесная каменная стена, уходившая вверх не меньше чем на сто метров. Он развернул самолетик (линии, по которым он был сложен, расходились из верхней части листа, как лучи, но точка, откуда они начинались, была за краем листа) и прочел следующее:

#### ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ

1. Трезвое и совершенно спокойное настроение  
Никогда не приводит к появлению подтянутых строк.  
А стихи надо писать со всем стремлением,  
Как народный артист выпиливает треугольный брелок.
2. А тут идет дождь, и совершенно нет сил, чтобы  
Сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на спине,  
И не глядя ясно, что в соседнем доме окна желты,  
И недвижимый кто-то людей считает в тишине.
3. Но тоска очищает. А испытывать счастье осенью — гаже,  
Чем напудренной интеллигентной старухе давать минет.  
Отдыхай, душа. Внутренний плевок попадет в тебя же,  
А внешний вызовет бодрый коллективный ответ.
4. Так и живешь. Читаешь всякие книги, думаешь  
о трехметровой яме,  
Хоть и без нее понятно, что любая неудача или успех —  
Это как если б во сне ты и трое пожарных мерились х...ями,  
И оказалось бы, что у тебя короче или несколько длинней,  
чем у всех.
5. Размышляешь об этом, выполняя назначенную судьбой работу,  
И все больше напоминаешь себе человека, построившего  
весь расчет  
На том, что в некоей комнате и правда нет никакого комода,  
Когда на самом деле нет никакой комнаты, а только Коммод.

6. Бывает еще, проснешься ночью где-нибудь в полвторого  
И долго-долго глядишь в окно на свет так называемой Луны,  
Хоть давно уже знаешь, что этот мир — галлюцинация  
наркомана Петрова,  
Являющегося в свою очередь галлюцинацией  
какого-то пьяного старшины.
7. Хорошо еще, что с сумасшедшими возникают трения  
И они гоняются за тобой с гвоздями и бритвами в руках.  
Убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего  
И не успеваешь почувствовать ни свое одиночество, ни страх.
8. Вообще, хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дожждаться лета,  
И вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься бед,  
Если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно яркого света,  
Кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет.

Последнее четверостишие было приписано косым размашистым почерком, явно в спешке. «КГБ» было зачеркнуто, сверху было написано «АФБ» и тоже зачеркнуто, а рядом стояло тоже зачеркнутое «ФСК».

## 9. ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК

Максим прикрыл за собой калитку, поглядел вперед и окаменел. Из-за кустов шиповника к нему медленно шел хозяйский волкодав — задумчивый и тихий, с печальными красными глазами; изо рта у него свисало несколько блестящих, как бриллиантовые подвески, нитей слюны, из-за чего он слегка напоминал заколдованную принцессу. Волкодав с сомнением поглядел на Максимову красную пилотку с желтой кисточкой и жирной шариковой надписью «*Viva Duce Mussolini*» и уже открыл пасть, чтобы гавкнуть, но увидел высокие офицерские сапоги, которые Максим тщательно начистил утром, и несколько растерялся.

— Банзай! — крикнула простоволосая женщина в халате, появляясь из-за кустов вслед за собакой. — Банзай!

— Банзай! — радостно крикнул Максим в ответ, но то, что он принял за неожиданный и тем более прекрасный духовный резонанс, оказалось недоразумением — женщина не приветствовала его, как он решил в первый момент, а звала собаку. Максим звучно кашлянул в кулак и подумал, что он всегда ошибается в людях, думая о них слишком хорошо.

— Я извиняюсь, — сказал он поставленным баритоном, — а Никита дома?

Хозяйка, не отвечая, потащила оглядывающуюся собаку назад. Максим деликатно постучал в окно, затянутое изнутри рулонной фольгой. В фольге приоткрылся маленький квадратик черноты, и в нем появился внимательный глаз с сильно расширенным зрачком. Потом квадратик закрылся, и из-за расположенной у окна двери донесся скрежет отодвигаемой тумбочки. В щели появилось увитое редкой волнистой бородкой бледное лицо Никиты. Сначала Никита поглядел за Мак-

сима и, только убедившись, что никого и ничего больше за дверью нет, снял цепочку.

— Заходи, — сказал он.

Максим вошел. Пока Никита запирает дверь и придвигал к ней тумбочку, Максим огляделся. Никаких изменений в обстановке не произошло, только появился где-то подобранный Никитой стенд «Средства воздушной агрессии империализма», покрытый большими черно-белыми фотографиями самолетов, — он был прислонен к груде слежавшегося хлама, в котором Максиму удалось идентифицировать только несколько старых подрамников. Лежащий у стены матрас, на котором Никита спал, был накрыт несколькими одеялами, а поверх них была расстелена газета с целой горой плана, который Максим по темно-зеленому с рыжевatinкой цвету классифицировал как сильно пересушенную северо-западную чуйку урожая конца прошлой весны; куча выглядела солидной, примерно на два стакана и семь кораблей, и Максим ощутил простую и спокойную радость бытия, перешедшую затем в чувство уверенности не только в завтрашнем дне, но и как минимум в двух следующих неделях. Рядом с газетой лежали большая лупа, лист бумаги, на котором зеленели какие-то точки, и любимая Никитина книга «Звездные корабли», раскрытая посередине.

— У тебя папиросы есть? — спросил Никита.

Максим кивнул и вынул из кармана пачку «Казбека».

— Задуй тогда сам, — сказал Никита, взял лупу и склонился над листом.

Максим присел на корточки возле газеты и распечатал папиросы. Черный всадник на пачке тревожил его душу, и Максим, вынув несколько штук, спрятал пачку назад в карман. Взяв папиросу, он повернул ее набитой частью в сторону стенда и сильно дунул в мундштук. Табачная пробка вылетела из бумажного цилиндра и с силой ударила в один из черных самолетов — прочитав подпись, Максим понял, что попал в бомбардировщик Б-52 «Стратофортресс» с подвешенной ракетой «Хаунд Дог».

— Цель уничтожена, — прошептал он, зажал папиросу в губах, наклонился над кучей плана и стал засасывать его в гильзу.

Никита, признанный мастер пневмозабивки, смотрел на деятельность Максима мрачно и даже немного брезгливо, но

никак ее не комментировал. Он был сторонником несколько другой техники, при которой в конце папиросы сохранялось немного табаку, — дело было не столько в том, что при такой методике план не попадал в рот, сколько в преимущества по отношению к поколению шестидесятников, которых Никита очень уважал, а Максим, как и все постмодернисты, не ставил ни во что, — поэтому, забывая косяк, он просто перекручивал папиросную бумагу у начала картонного мундштука, в результате чего получалась так называемая «бестабачная пятка».

Задув три косяка, Максим протянул один Никите, вторым вооружился сам и чиркнул спичкой.

— Хороший, — сказал он, затянувшись два раза, — но все-таки не план Маршалла. Ближе к тайному плану мирового сионизма, а?

— Я бы не сказал, — отозвался Никита. — Скорее ленинский план вооруженного восстания.

— А, — встрепнулся Максим, — вроде того, который он в Разливе выращивал и морячкам давал?

— Ну. Еще был план ГОЭЛРО.

— ГОЭЛРО? — переспросил Максим. — Который на прошлой неделе курили? Не очень мне понравился. От него потом желтые круги перед глазами.

— Еще там был ленинский кооперативный план, — бормотал Никита, — план индустриализации и план построения социализма в отдельно взятой стране.

— А где «там» — там, где ты брал, или у Ленина?

— Да, — сказал Никита.

— А шалаш, — догадался Максим, — так назывался, потому что весь из шалы был сделан!

— Но плана Маршалла там не было, — заключил Никита.

Планом Маршалла назывался один удивительный сорт с Дальнего Востока, который в прошлом году проходил на дальней периферии Никитино мира, там, где уже начинались сложные уголовные расклады и за траву намного охотнее брали патроны для «макарова», чем деньги. Плана Маршалла перепало совсем немного, но он так запомнился, что каждую новую партию неизбежно сравнивали с ним.

Добив косяк, Никита взял лупу и склонился над листом бумаги, усеянным зелеными точками.

— Что это ты разглядываешь? — поинтересовался Максим.

— А это конопляные клопы, — сказал Никита.

— Какие конопляные клопы?

— Никогда не видел? — меланхолично спросил Никита. — Ну так посмотри.

Максим переместился поближе к листу бумаги. На нем лежали обломки сухой конопляной трубки примерно одного размера, миллиметра два-три длиной, состоявшие из черенка листа и коротенького отрезка ножки, — поэтому все они были одинаковой треугольной формы. Максим прикинул, сколько времени у Никиты должно было уйти, чтобы просеять целую гору травы, собирая эти кусочки, и с уважением посмотрел на приятеля.

— Так это ж шалашка, — сказал он, — какие это клопы?

— Я тоже так думал, — сказал Никита. — А ты в лупу посмотри.

Максим взял лупу и склонился над листом. Сначала он не заметил ничего необыкновенного в увеличившихся в несколько раз обломках листьев, но потом увидел на них странные симметричные полоски и внезапно узнал в этих полосках прижатые к брюшке лапки. И сразу же, как это бывает с ребусами, где нужно выделить осмысленный рисунок в хаотическом переплетении линий, произошла удивительная трансформация: весь лист, который только что был покрыт конопляным сором, оказался усеянным небольшими плоскими насекомыми буро-зеленого цвета с длинной продолговатой головкой (ее Максим принимал за обломок ножки листа), треугольным жестким тельцем (у клопов остались, видимо, рудиментарные крылья — можно было даже различить разделяющую их тоненькую линию) и лапками, которые были поджаты к телу и сливались с ним.

— Они дохлые, — спросил Максим, — или спят?

— Нет, — ответил Никита. — Это они притворяются. А если на них долго не смотреть, то они ползать начинают.

— Никогда бы не подумал, — пробормотал Максим. — Во, один шевелится. И давно ты их заметил?

— Вчера, — сказал Никита.

— Сам?

— Не, — сказал Никита. — Показали. Я тоже не знал.

— А много их в траве?

— Очень, — сказал Никита. — Считай, в каждом корабле штук двадцать. Это как минимум.

— А почему ж мы их раньше не замечали? — спросил Максим.

— Так они же очень хитрые. И планом прикидываются. Но зато такая примета есть: за день до того как менты придут, клопы бегут с корабля — ну, короче, как крысы. Поэтому умные люди как делают — берут коробок травы, кладут его на шкаф, а сверху накрывают трехлитровой банкой. И если клопы выползают и забираются на стены банки, умные люди сразу собирают всю траву и везут на другой флэт.

— Так что, — сказал Максим, — выходит, они в каждом косяке есть?

— Практически да. Замечал — бывает, когда куришь, что-то трещит? И запах меняется?

— Так это же семена, — сказал Максим.

— Вот, — сказал Никита, — я тоже так думал раньше. А вчера специально косяк забил одними семенами — ничего подобного.

— Так что, это...

— Да, — сказал Никита. — Они.

Косяк в руке Максима щелкнул и выпустил тонкую и длинную струю дыма, словно в нем произошло извержение микроскопического вулкана. Максим испуганно поглядел на папиросу и перевел взгляд на Никиту.

— Во, — сказал Никита. — Понял?

— Так это ж на каждом косяке бывает раза по три, — побледнев, сказал Максим.

— О чем я и говорю.

Максим замолчал и задумался. Никита сел на пол и стал надевать кеды.

— Ты чего это? — спросил Максим.

— Стремак, — объяснил Никита. — Надо погулять пойти. У тебя часы есть?

— Нету.

— Тогда включи радио. Там объявят. В три часа надо на рынке быть.

Максим протянул руку к старому «ВЭФу» и щелкнул ручкой. Передавали новости.

— Выступая на сессии Организации Объединенных Наций, — заговорил ксилофонический женский голос, — король Иордании Хусейн отметил, что американский план ближневосточного урегулирования представляется ему малоэффективным. Он заявил, что у арабских народов имеется свой

план, о котором необходимо шире информировать международную общественность. А теперь несколько слов о событиях внутри страны. Из Кузбасса сообщают — на Новокраматорском металлургическом комбинате задута седьмая домна с начала пятилетки. Поясним радиослушателям, что в ранее принятой терминологии одна домна составляет десять стаканов, или сто кораблей, или тысячу косяков. Таким образом, семь ты...

Никита нагнулся над приемником и выключил его.

— Не дождемся, — сказал он. — Лучше на улице спросим.

— Тысяча косяков, — мечтательно повторил Максим и выпучил глаза. — Эй, ты слышал, что сейчас передали?

— Да, — отозвался Никита. — А что?

— И тебя ничего не удивило?

— Нет.

— Ну ты даешь, — засмеялся Максим. — Совсем скурился чувак. Ты правда, что ли, ничего не заметил?

— А что я должен был заметить?

— Про пятилетку. Ведь пятилеток нет больше.

— Пятилеток нет, — сказал Никита. — Но пятилетний план остался. Его же на пять лет вперед сушили.

— А-а! — понял Максим.

— Пойдем быстрее, — сказал Никита, выглянув в окно, — пока во дворе пусто. Еще косяк возьмем?

— Не вопрос, — сказал Максим и сунул папиросу в карман.

Никита задержался у двери.

— Стой, — сказал он, с сомнением глядя на Максима, — так не пойдет.

— Чего не пойдет?

— Вид у тебя стремный, вот чего. Переверни пилотку.

Максим послушно снял пилотку и нацепил ее желтой кисточкой вперед. Никита остался доволен и открыл дверь.

На улице дул ветер и было прохладно. Недавно прошел дождь, но асфальт уже успел высохнуть. Максим с Никитой вышли на дорогу и двинулись в гору, по направлению к блестящим воротам, образованным трубой теплоцентрали, которая выгибалась над дорогой в форме буквы «П».

— Слушай, — сказал Никита, — туда не пойдем.

— А чего?

— Вон, видишь, — сказал Никита, указывая на арку. — Что это за «пэ» такое?

Максим поглядел вперед.

— Брось, — сказал он, — это у тебя думка начинается. Идем.

Но после Никитиных слов проходить под буквой «П» было довольно страшно, и Максим с Никитой перелезли через трубу в нескольких метрах справа от арки, промочив штаны в сырой траве и вымазав ноги в грязи. Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги.

— Чего это ты в сапогах ходишь? — спросил он. — Жарко ведь.

— В образ вхожу, — ответил Максим.

— В какой?

— Гаева. Мы «Вишневый сад» ставим.

— Ну и как, вошел?

— Почти. Только не все еще с кульминацией ясно. Я ее до конца пока не увидел.

— А что это? — спросил Никита.

— Ну, кульминация — это такая точка, которая высвечивает всю роль. Для Гаева, например, это то место, когда он говорит, что ему службу в банке нашли. В это время все вокруг стоят с тямками в руках, а Гаев их медленно оглядывает и говорит: «Буду в банке». И тут ему сзади на голову надевают аквариум, и он роняет бамбуковый меч.

— Почему бамбуковый меч?

— Потому что он на бильярде играет, — пояснил Максим.

— А аквариум зачем? — спросил Никита.

— Ну как, — ответил Максим. — Постмодернизм. Де Кирико. Хочешь, сам приходи, посмотри.

— Не, не пойду, — сказал Никита. — У вас в подвале сургучом воняет. А постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров.

— Почему?

— А им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты в само слово вслушайся.

— Никита, — сказал Максим, — не базарь. Сам, что ли, вахтером не работал?

Слева между холмами мелькнуло море, но дорога сразу же повернула вправо, и море исчезло. Впереди никого не было. Максим полез в карман, вынул оттуда косяк и закурил.

— Ну, работал, — сказал Никита, принимая дымящуюся папиросу, — только я чужого никогда не портил. А ты, даже когда в подвале этом еще не прижился, уже был паразит. Вот я тебя картину просил на три корабля обменять, помнишь?

— Какую? — фальшиво спросил Максим.

— А то не помнишь. «Смерть от подводного ружья в саду золотых масок», — ответил Никита. — А ты что сделал? Вырезал в центре треугольник и написал «х...й».

— Отец, — с холодным достоинством ответил Максим, — чего это ты пургу метешь, а? Мы ведь это проехали давно. Я тогда был художник-концептуалист, а это был хэппенинг.

Никита глубоко вдохнул дым и закашлялся.

— Говно ты, — сказал он, отдышавшись, — а не художник-концептуалист. Ты просто ничего больше делать не умеешь, кроме как треугольники вырезать и писать «х...й», вот всякие названия и придумываешь. И на «Вишневом саде» вы тоже треугольник вырезали и «х...й» написали, а никакой это не спектакль. И вообще, во всем этом постмодернизме ничего нет, кроме х...ёв и треугольников.

— Художника-концептуалиста я в себе давно убил, — примирительно сказал Максим.

— А я-то думаю, чего это у тебя изо рта так воняет?

Максим остановился и открыл было рот, но вспомнил, что хотел одолжить у Никиты плана, и сдержался. Никита всегда так себя вел, когда чувствовал, что у него скоро попросят травы.

— Ты, Никита, прямо как участковый стал, — мягко сказал Максим. — Тот тоже жизнь объяснял. Ты, говорил, Максим, на производство идти не хочешь, вот всякую ерунду и придумываешь.

— Правильно объяснял. Ты от этого участкового отличаешься только тем, что когда он одевает сапоги, он не знает, что это эстетическое высказывание.

— А сам ты кто? — не выдержал Максим. — Может, скажешь, не постмодернист? Такое же говно в точности.

Но Никита уже успокоился, и его глаза подернулись прежней вялой меланхолией.

— А эта картина хорошая была, — сказал Максим. — «Смерть от подводного ружья». Она у тебя какого периода? Астраханского?

— Нет, — ответил Никита. — Кыргызского.

— Да я же помню, — сказал Максим. — Астраханского.

— Нет, — сказал Никита. — Астраханского — это «Пленные негуманоиды в штабе Киевского военного округа». У меня тогда был длинный киргизский период, потом короткий аст-

раханский, а потом опять киргизский. Чего Горбачеву никогда не прощу, — это что Среднюю Азию потеряли. Такую страну развалил.

— Думаешь, он хотел? — спросил Максим, стараясь увести беседу как можно дальше от опасной темы. — У него просто не было четкого плана действий.

Никита не поддержал разговора. Шоссе, по которому они шли, уводило все дальше от моря; вокруг были только голые холмы, и Максим подумал, что если опять начнется дождь, спрятаться будет некуда. Он начал замерзать.

— Пошли обратно, что ли, — сказал он. — Эй, пяточку оставь!

Никита затянулся последний раз и отдал Максиму окуроч.

— Зачем обратно, — сказал он, — сейчас повернем. Тут напрямик можно выйти.

От шоссе отходила узкая асфальтовая дорога. Вдоль нее стоял длинный деревянный забор, за которым возвышались недостроенный санаторий и пара подъемных кранов. Максим с тревогой подумал, что на дороге могут встретиться собаки, но когда Никита свернул с шоссе, молча пошел следом. Вдруг в голову ему пришла неприятная мысль.

— Слушай, Никита, — сказал он, — а чего это мы про банку говорили?

— Это ты про «Вишневый сад» рассказывал.

— Нет, — сказал Максим, — раньше. Про конопляных клопов.

— А. Это коробок травы банкой накрывают и смотрят — если клопы выползут, значит, шухер.

Папироса в руке у Максима издала треск и выпустила длинную и тонкую струю дыма, похожую на ракетный выхлоп. Максим вздрогнул.

— Так, — сказал он, — а мы почему из дома вышли?

— Стремно стало, — сказал Никита. — Я подумал, а вдруг менты придут?

— Понятно, — сказал Максим и оглянулся. — А ну пошли быстрее.

Он стал таким бледным, что Никита, поглядев на него, испугался и прибавил шаг.

— Куда спешить? — спросил он.

— Ты что, не понял ничего? — сказал Максим. — Нас сейчас брать будут.

Тут дошло и до Никиты. Он прибавил шаг, оглянулся и

увидел на шоссе тормозящий у развилки желтый милицейский «джип» с голубой полосой вдоль борта — к сожалению, эти цвета сейчас не имели к независимой Украине никакого отношения.

— Стой, — сказал Никита и поглядел на Максима безумными глазами, — мы так не уйдем. Они на машине.

— А что ты предлагаешь?

— Давай ляжем у обочины и притворимся мертвыми. Они тогда мимо проедут и сделают вид, что нас не видят. На фига им лишнее дело заводить?

— Совсем рехнулся, — сказал Максим. — Надо спрятаться.

— А где здесь спрячешься?

— На свалке, — сказал Максим.

Слева от дороги начиналась огромная свалка. Точнее, это была не совсем свалка, а загаженная до невозможности площадка, на которой устроили склад стройматериалов — плит разных размеров и формы, бетонных кубов и труб, но мусора на ней было гораздо больше. Максим оглянулся и увидел, что милицейский «джип» свернул с шоссе на дорогу, по которой они с Никитой только что прошли.

— Бегом, — прошептал Максим и кинулся в щель между двумя рядами плит. Никита побежал следом. Сзади послышалось урчание приближающегося мотора, а потом стихло.

— Из машины вышли! — взвизгнул Максим, поскользнулся на мокрой доске, упал, вскочил на ноги, завернул еще за одну кладку плит и нырнул в пустую бетонную трубу, лежавшую на сырых досках перед огромной горой пустых ящиков. Никита последовал за ним. Труба была диаметром почти в два метра, так что не надо было даже особенно пригибаться; Максим с Никитой пробежали ее всю и остановились, шумно дыша, у тупика, где стены смыкались резким конусом, в центре которого оставалось отверстие примерно с голову.

— Они нас видели? — спросил Никита.

— Тише! — прошептал Максим.

— Не услышат, — сказал Никита. — Тут просто акустика такая. Не теряй голову.

— Кто голову теряет? — сказал Максим. — Я? Это я, что ли, предложил мертвым притвориться, как эти клопы?

Никита ничего не сказал и поглядел на дыру выхода — она белела метрах в пятнадцати и казалась совсем небольшой. В трубе было сыро. Никита перевел взгляд на Максима. Ког-

да тот задумывался, его лицо менялось, теряло обычное выражение вежливого достоинства и становилось похожим на протез — таких лиц было очень много на фотографиях из архива Министерства водного хозяйства СССР, часть которого случайно попала к Никите в результате сложных двойных и тройных плановых обменов.

— Полчасика подождем, — сказал Максим, — а потом можно будет вылезти посмотреть. Тебя как, тащит еще?

— Ага, — сказал Никита.

— Меня тоже. Крутой. Я у тебя займу два корабля?

Никита кивнул.

— Черт, — сказал Максим, зная по опыту, что после условного согласия Никиты надо как можно быстрее перевести разговор на другую тему, — пилотку потерял. Наверно, когда поскользнулся.

— Нет, — попался Никита. — Ты ее раньше снял. Посмотри в карманах.

Максим полез в карман и вынул оттуда пачку «Казбека».

— Я тут одну вещь осознал, — сказал он. — Что папиросы «Казбек» — на самом деле никакой не «Казбек».

— Почему?

— А посмотри. Написано «Казбек», а что нарисовано?

— Гора Казбек.

— Так это задний план, — сказал Максим. — Можно сказать, фон. А на переднем плане что?

Никита поглядел на пачку так, словно первый раз в жизни ее видел.

— Действительно, — сказал он.

— Вот то-то и оно. Черный всадник. А ты когда-нибудь думал, что это за черный всадник на переднем плане?

— Завязывай, — сказал Никита. — Опять думка начнется.

Максим собрался было что-то сказать, но Никита поднял палец.

— Тихо, — прошептал он.

Снаружи послышались голоса и сразу смолкли. Несколько минут было тихо, а потом Максим услышал ритмичный стук, словно кто-то постукивал пальцами по столу. Звук приближался, и скоро стало ясно, что это удары конских копыт. Дробное перестукивание несколько раз облетело вокруг трубы и стихло.

— Слушай, — приподнимаясь, сказал Максим, — по-моему,

это мы зря в панику ударились. Чего стрематься? У нас и плана с собой больше нет. Пошли отсюда?

— Пошли, — согласился Никита и тоже встал с пола.

И вдруг в трубу подул ветер. Сначала его еще можно было принять за обычный сильный сквозняк, но не успел Максим сделать несколько шагов, как ветер достиг такой силы, что сбил его с ног и потащил назад. Никита удержал равновесие и даже прошел еще несколько метров, сильно наклонясь вперед, но ветер усилился до того, что старые дощатые ящики, лежавшие перед круглой дырой выхода, стали срываться с места и катиться в трубу. От трех или четырех Никита увернулся, но ветер заставил его опуститься на четвереньки и ухватиться за выбоины в бетоне. Он оглянулся. Максим лежал в самом конце трубы, уже заваленный ящиками, и небольшая черная дырка над его головой страшно гудела, засасывая воздух. Максим закричал, но Никита ничего не разобрал, потому что воздушный поток относил все слова назад. Мимо пролетело еще несколько ящиков, а потом один из них ударил Никиту по рукам, он разжал пальцы и вместе с ящиками покатился в конец трубы. Ветер стал еще сильнее, и ящики уже не катились по трубе, а летели в ней, сталкиваясь и ломаясь о стены. Никита закрыл уши ладонями и зажмурился, чувствуя, как гул становится все громче и тонкие доски со всех сторон вдавливаются в его тело и трещат. Ветер стих так же внезапно, как начался.

— Эй, — крикнул Никита, — Максим! Ты живой?

— Живой, — ответил Максим. — А ты где?

— Тут, где же еще, — ответил Никита.

Спина Максима упиралась в крутой бетонный скос, а все остальное окружающее пространство было загромождено переломанными ящиками так плотно, что нельзя было даже пошевелиться. Судя по голосу, Никита был недалеко, метрах в трех-четыре за мешаниной из досок и оргалитовых листов, но виден он не был.

— Что это? — спросил Максим.

— А ты что, не понял? — переспросил Никита с некоторым, как показалось Максиму, злорадством. — Это нас в косяк забили.

— Кто? Менты?

— Откуда я знаю, — сказал Никита.

— Я, кажется, ногу сломал, — пожаловался Максим.

— Так тебе и надо, — сказал Никита. — Я сколько раз говорил: не верти пятки без табака. Но теперь уже, конечно, никакой разницы. Сейчас такое будет...

— А что будет?

— А ты, Максим, сам подумай.

Но думать уже не было нужды. Опять потянуло ветром, на этот раз он принес с собой густые клубы дыма, и Максим с Никитой надолго закашлялись. Максим почувствовал волну обжигающего жара и увидел в щелях между досками красные отблески пока далекого огня. Потом все вокруг опять заволокло дымом, и Максим зажмурился — держать глаза открытыми стало невозможно.

— Никита! — крикнул он.

Никита не отвечал.

«Так, — стал соображать Максим, — я в самом конце, а косяк — это затяжек восемь. Две уже было. Значит...»

На Максима обрушилась новая волна жара, и он почувствовал, что задыхается. По его рукам и лицу потек горячий деготь.

— Никита! — опять позвал он и попытался приоткрыть глаза. Сквозь дым сверкнуло багровое сияние, уже близкое, и там, где раньше звучал Никитин голос, раздался оглушительный треск. Максим с трудом отвернул голову от дыры, в которую стягивался весь дым, и попытался вдохнуть немного воздуха. Это удалось.

«А если короткий косяк, — с ужасом подумал он, — то ведь и за пять тяг можно... Господи! Если ты меня слышишь!»

Максим попытался перекреститься, но руки были намертво зажаты наваленными вокруг ящиками.

— Господи! Да за что это мне? — прошептал он.

— Неужели ты думаешь, — услышался громовой и одновременно задушевный голос из отверстия, в которое стягивался дым, — что я хочу тебе зла?

— Нет, — закричал Максим, вжимаясь в бетон от подступившего жара, — не считаю! Господи, прости!

— За тобой нет никакой вины, — прогремел голос. — Думай о другом.

## 10. ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ ВРАГА

По крыше автобусной остановки барабанил дождь. Наташа сидела на узкой железной лавке, забившись в холодный стеклянный угол, и плакала. Рядом сидел Сэм и ежился от долетающих брызг.

— Наташа, — позвал он, пытаюсь отвести ее руки от лица.

— Сэм, — сказала Наташа, — не смотри на меня. У меня глаза потекли.

— Тебе надо успокоиться, — сказал Сэм. — Выпить чего-нибудь или...

Он сунул два пальца в нагрудный карман рубашки, вынул оттуда длинную папиросу со скрученным концом, похожим на наконечник стрелы, и, с некоторым сомнением осмотрев ее, сунул в рот. Прикурив, он пару раз затянулся и хлопал Наташу по плечу.

— На вот, попробуй.

Наташа осторожно выглянула из-под ладоней.

— Что это? — спросила она.

— Марихуана, — ответил Сэм.

— Откуда у тебя?

— Не поверишь, — сказал Сэм. — Иду сегодня утром по набережной, она еще пустая была, и слышу — копыта стучат. Оборачиваюсь, смотрю — скачет всадник, весь в черном, в длинной такой бурке. Подъезжает ко мне, коня — на дыбы, и протягивает папиросу. Я и взял. И тут конь как заржет...

— А дальше? — спросила Наташа.

— Ускакал.

— Очень странно.

— Да нет, — сказал Сэм, — это, по-моему, древний татарский обычай. Я что-то похожее читал у Геродота, еще в колледже.

— А мне плохо не будет? — спросила Наташа.

— Будет хорошо, — сказал Сэм и затаился еще раз.

Как бы подтверждая эти слова, папироза в его пальцах щелкнула и выпустила длинную узкую струю дыма. Наташа с опаской, словно это был голый электрический провод, взяла папирозу и недоверчиво поглядела на Сэма.

— Я боюсь, — прошептала она, — я не пробовала никогда.

— Неужели ты думаешь, — нежно спросил Сэм, — что я хочу тебе зла?

Наташино лицо искривилось, и Сэм понял, что вот-вот она опять заплачет.

— За тобой нет никакой вины, — так же нежно сказал он. — Думай о другом.

Наташа сморгнула слезы, поднесла к губам папирозу и потянула в себя дым. Папироза снова щелкнула и с шипением выпустила синюю струйку.

— Что это щелкает? — спросила Наташа. — Второй раз уже.

— Не знаю, — сказал Сэм. — Какая разница.

Наташа кинула окурок в покрытый пузырями ручей, текущий по асфальту прямо между ее тапочками. Окурок шлепнулся в воду, погас и поплыл, покачиваясь, вдаль; ручей водопадиком обрушивался с тротуара на мостовую, и когда картонная гильза перевалилась через бетонный бордюр, Наташа потеряла ее из виду.

— Видишь, Наташа, эти пузыри? — спросил Сэм. — Вот так и мы. Насекомые убивают друг друга, часто даже не догадываясь об этом. И никто не знает, что будет с нами завтра.

— Я даже не заметила, как он подлетел, — сказала Наташа. — Все машинально вышло.

— Он был пьян, — сказал Сэм. — И потом, кто же в ляжку кусает? Только самоубийцы. Это ведь самое чувствительное место.

Он положил руку на Наташину ногу.

— Вот сюда, да?

— Да, — тихонько ответила Наташа.

— Не болит?

Наташа подняла на Сэма пустые и загадочные зеленые глаза.

— Поцелуй меня, Сэм, — попросила она.

Дождь постепенно стихал. Стеклопанель остановки была оклеена выцветшими объявлениями. Впившись в Ната-

шины губы, Сэм заметил прямо напротив своего лица бумажку с надписью: «Дешево продается жирная собака. Звонить вечером, спросить Сережу». Полоски с телефонами были оборваны, а почерк был крупный, твердый и наклоненный влево. Сэм перевел глаза. Рядом висело другое объявление: «Интимный электромассаж на дому. Оплата по договоренности». Из-под него выглядывало третье объявление, в котором человек по имени Андрис выражал нетерпеливое желание купить кресло «Мемфис» из гарнитура «Атлантис».

— Ох, Сэм, — сказала Наташа, — так меня еще никто не целовал.

— Куда бы нам пойти? — спросил Сэм.

— У меня мать дома, — сказала Наташа, — а я с ней в ссоре.

— Может, ко мне в гостиницу?

— Что ты! Что про меня подумают? Тут же все всех знают. Уж лучше ко мне.

— А мать?

— Она нас не увидит. Только у нее есть одна ужасная привычка — она все время вслух читает. Иначе до нее смысл не доходит.

— Далеко это?

— Нет, — сказала Наташа, — совсем рядом. Минут семь идти от силы. Сэм, я, наверно, страшная, да?

Сэм встал, вышел из-под навеса и поглядел вверх.

— Идем, — сказал он. — Дождь кончился.

За время дождя ведущая к пансионату грунтовка превратилась в сплошной разлив грязи, и увитый виноградом серебристый Ильич, торчащий на ее краю, казался носовой фигурой корабля, засосанного вязким рыжим месивом. Сначала Сэм пытался ступать в те места, где грязь казалась менее глубокой, но через несколько метров дорога стала казаться ему хитрым и злым живым существом, старающимся как можно сильнее нагадить ему за то время, пока он пользуется ее услугами. Он выбрался на траву и пошел по ней — ноги сразу промокли, но зато грязь с мокасин быстро обтерлась о сырые стебли. Наташа шла впереди, держа в каждой руке по тапочку и балансируя ими с удивительным изяществом.

— Почти пришли, — сказала она, — теперь направо.

— Но там же газон, — сказал Сэм.

— Да, — сказала Наташа, — живем мы скромно, но другие еще хуже. Вот сюда. Не поскользись. Руку держи.

— Ничего, слезу. А, черт.

— Я же говорила, руку возьми. Ничего, застираем, за час высохнет. Теперь вперед и налево. Пригнись только, а то головой заденешь. Ага, вот сюда.

— Можно посветить?

— Не надо, мать проснется. Сейчас глаза привыкнут. Ты только тише говори, а то ее разбудишь.

— А где она? — шепотом спросил Сэм.

— Там, — прошептала Наташа.

Постепенно Сэм начал различать окружающее. Они с Наташей сидели на небольшом диване; рядом стояла тумбочка с двухкассетником и письменный стол, над которым висела полка с несколькими книжками. В углу тихонько трещал маленький белый холодильник, на дверце которого, как бы компенсируя очевидное отсутствие мяса внутри, помещался плакат с голым по пояс Сильвестром Сталлоне. Метрах в трех от дивана комната была перегороджена доходившей почти до низкого потолка желтой ширмой.

Сэм достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Наташа попыталась поймать его за руку, но было уже поздно — комната осветилась, и из-за ширмы долетел тихий женский стон.

— Ну все, — сказала Наташа, — разбудил.

За ширмой что-то тяжело пошевелилось и прокашлялось, потом зашуршала бумага, и тонкий женский голос начал громко и членораздельно читать:

— *...Но, конечно же, у всех сколько-нибудь смыслящих в искусстве насекомых уже давно не вызывает сомнения тот факт, что практически единственным актуальным эстетическим этифеноменом литературного процесса на сегодняшний день — разумеется, на эгалитарно-эсхатологическом внутрикультурном плане — является альманах «Треугольный х...й», первый номер которого скоро появится в продаже. Обзор подготовили Всуеслав Петухов и Семен Клопченко-Коноплянх. Примечание. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Полет над гнездом врага. К пятидесятилетию со дня окукливания Аркадия Гайдара...*

— Теперь можно вслух говорить, — сказала Наташа, — она ничего не услышит.

— И часто она так? — спросил Сэм.

— Целыми днями. Может, музыку включим?

— Не надо, — сказал Сэм.

— Дай я затынусь, — сказала Наташа, присаживаясь к Сэму на колени и вынимая из его пальцев горящую сигарету.

Сэм обнял ее за живот и нащупал под мокрой зеленой тканью горячую впадинку пупка.

— *И получается,* — монотонно читал за ширмой тонкий голос, — *что прочесть его, в сущности, некому: взрослые не станут, а дети ничего не заметят, как англичане не замечают, что читают по-английски. «Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто...»*

— Как это она без света читает? — тихо спросил Сэм, стараясь отвлечь внимание Наташи от неловкой паузы, в которой была виновата неподатливая пластмассовая «молния».

— Не знаю, — прошептала Наташа. — Сколько себя помню, все время одно и то же... Наверно, помнит наизусть.

— *Видишь мир глазами маленького мальчика,* — читал голос, — *и не из-за примитивности описанных чувств — они достаточно сложны, — а из-за тех бесконечных возможностей, которые таит в себе мир «Судьбы барабанищика». Это как бы одно из свойств жизни, на котором не надо и нельзя специально останавливаться, равнодушная и немного печальная легкость, с которой герой встречает новые повороты своей жизни. «Никто теперь меня не узнает и не поймет, — думал я. — Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто его и не было...» Вселенная, в которой живет герой, по-настоящему прекрасна: «А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни светлые, величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились влоборота, поглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом...»*

— Наташа, — сдался Сэм, — как это расстегнуть?

— Да она и не расстегивается, — хихикнула Наташа, — она так пришита, для красоты.

Она взялась за подол и одним быстрым движением стянула платье через голову.

— Фу, — сказала она, — волосы растрепались.

— *Но кто смотрит на этот удивительный и все время обновляющийся мир?* — спросил голос за ширмой. — *Кто тот зритель, в чувства которого мы погружаемся? Можно ли ска-*

звать, что это сам автор? Или это один из его обычных мальчиков, в руку которому через несколько десятков страниц ложится холодная и надежная рукоятка браунинга? Кстати сказать, тема ребенка-убийцы — одна из главных у Гайдара. Вспомним хотя бы «Школу» и тот как бы звучащий на всех ее страницах выстрел из маузера в лесу, вокруг которого крутится все остальное повествование. Да и в последних работах — «Фронтowych записях» — эта линия нет-нет да и вынырнет: «Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет... Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму... Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую кринку...»

Расстегнув рубаху Сэма, Наташа прижала нежные присоски на своих ладонях к его покрытой жесткими волосками груди.

— Но нигде эта нота, — усилился голос, — не звучит так отчетливо, как в «Судьбе барабанщика». Собственно, все происходящее на страницах этой книги — прелюдия к тому моменту, когда барабанной дробью выстрелов откликается странное эхо, приходящее не то с небес, не то из самой души лирического во всех смыслах героя. «Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился. Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером!.. Даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загрохотавшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы...»

Наташины ладони поползли вниз и наткнулись на что-то, напоминающее теплый блок цилиндров гоночной машины. Наташа сообразила, что это место, откуда у Сэма растут лапки, нежно погладила его и повела ладонь ниже, пока не коснулась первой полоски на его покрытом короткой щетиной перепончатом брюшке.

— Oh yeah, honey, — пробормотал Сэм, — I can feel it.

Его лапка легла на прохладную и твердую Наташину спину и нащупала поросшее влажным мхом основание подрагивающего крыла.

— It's been my dream for ages, — прошептала Наташа с оптимистической интонацией лингафонного курса, — to learn American bed whispers...

— Убийство здесь, — откликнулся голос за ширмой, — мало чем отличается от, скажем, попыток открыть ящик сто-

ла с помощью напильника или от мытарств с негодным фотоаппаратом — коротко и ясно описана внешняя сторона происходящего и изображен сопровождающий действия психический процесс, напоминающий трогательно простую мелодию небольшой шарманки. Причем этот поток ощущений, оценок и выводов таков, что не допускает появления сомнений в правильности действий героя. Конечно, он может ошибаться, делать глупости и сожалеть о них, но он всегда прав, даже когда не прав. У него есть естественное право поступать так, как он поступает. В этом смысле Сережа Щербачев — так зовут маленького барабанищика — без всяких усилий достигает того состояния духа, о котором безнадежно мечтал Родион Раскольников. Можно сказать, что герой Гайдара — это Раскольников, который идет до конца, ничего не пугаясь, потому что по молодости лет и из-за уникальности своего жизнеощущения просто не знает, что можно чего-то испугаться, просто не видит того, что так мучит петербургского студента; тот обрамляет свою топорную работу унылой и болезненной саморефлексией, а этот начинает весело палить из браунинга после следующего внутреннего монолога: «Выпрямляйся, барабанищик! — уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. — Встань и не гнишь! Пришла пора!» Отбросим фрейдистские реминисценции...

Сэм почувствовал, как его хоботок выпрямляется под проворными лапками Наташи, и разомлело посмотрел ей в лицо. От ее подбородка отвисал длинный темный язык с мохнатым кончиком, разделяющимся на два небольших волосатых отростка. Этот язык возбужденно подрагивал, и по нему скатывались темно-зеленые капли густой секреции.

— Eat me, — прошептала Наташа, потянула за длинные шершавые антенны, торчавшие из-под глаз Сэма, и он с жужжанием и стоном вонзил хоботок в хрустнувший зеленый хитин ее спины.

— ...всегда были сложные отношения с ницшеанством. Достоевский пытался художественно обосновать его несостоятельность — и сделал это вполне убедительно. Правда, с некоторой оговоркой: он доказал, что такая система взглядов не подходит для выдуманного им Родиона Раскольникова. А Гайдар создал такой же убедительный и такой же художественно правдивый, то есть не вступающий в противоречие со сформированной самим автором парадигмой, образ сверхче-

ловека. Сережа абсолютно аморален, и это неудивительно, потому что любая мораль или то, что ее заменяет, во всех культурах вносится в детскую душу с помощью особого леденца, выработанного из красоты. На месте пошловатого фашистского государства «Судьбы барабанищика» Сережины голубые глаза видят бескрайний романтический простор; он населен возвышенными исполинами, занятыми мистической борьбой, природа которой чуть приоткрывается, когда Сережа спрашивает у старшего сверхчеловека, майора НКВД Герчакова, каким силам служил убитый на днях взрослый. «Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки (sic!), сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце».

Прижимаясь к быстро надувающемуся и твердеющему брюшку Сэма, уже багровому, Наташа сжала его всеми шестью лапками.

— Oh, — шептала она, — it's getting so big... So big and hard...

— Yeah, baby, — нечленораздельно отвечал Сэм. — You smell good. And you taste good.

— *Итак*, — сказала женщина за ширмой, — *что написал Гайдар, мы более или менее выяснили. Теперь подумаем, почему. Зачем бритый наголо мужчина в гимнастерке и папахе на ста страницах убеждает кого-то, что мир прекрасен, а убийство, совершенное ребенком, — никакой не грех, потому что дети безгрешны в силу своей природы? Пожалуй, по-настоящему близок Гайдару по духу только Юкио Мисима. Мисиму можно было бы назвать японским Гайдаром, застрелил он действительно из лука хоть одного из святых себастьянов своего прифронтового детства. Но Мисима идет от вымысла к делу, если, конечно, считать делом ритуальное самоубийство после того, как его фотография в позе Святого Себастьяна украсила несколько журнальных статей о нарождающемся японском культуризме, а Гайдар идет от дела к вымыслу, если, конечно, считать вымыслом точные снимки переживаний детской души, перенесенные из памяти в физиологический раствор художественного текста. «Многие записи в его дневниках не поддаются прочтению, — пишет один из исследователей. — Гайдар пользовался специально разработанным шифром. Иногда он отмечал, что его снова мучили повторяющиеся сны «по схеме № 1» или «по схеме № 2». И вдруг открытым текстом, как вырвавшийся крик: «Снились люди, убитые мной в детстве...»*

Голос за ширмой замолчал.

— Чего это она? — спросил Сэм.

— Уснула, — ответила Наташа.

Сэм нежно погладил колючий кончик ее брюшка и откинулся на диван. Наташа тихонько сглотнула. Сэм подтянул к себе стоящий на полу кейс, раскрыл его, вынул маленькую стеклянную баночку, сплюнул в нее красным, завинтил и кинул обратно — вся эта операция заняла у него несколько секунд.

— Знаешь, Наташа, — сказал он. — По-моему, все мы, насекомые, живем ради нескольких таких моментов.

Наташа уронила побледневшее лицо на надувшийся темный живот Сэма, закрыла глаза, и по ее щекам побежали быстрые слезы.

— Что ты, милая? — нежно спросил Сэм.

— Сэм, — сказала Наташа, — вот ты уедешь, а я здесь останусь. Ты хоть знаешь, что меня ждет? Ты вообще знаешь, как я живу?

— Как? — спросил Сэм.

— Смотри, — сказала Наташа и показала овальный шрам на своем плече, похожий на увеличенный в несколько раз след от оспяной прививки.

— Что это? — спросил Сэм.

— Это от ДДТ. А на ноге такой же от раствора формалина.

— Тебя что, хотели убить?

— Нас всех, — сказала Наташа, — кто здесь живет, убить хотят.

— Кто? — спросил Сэм.

Вместо ответа Наташа всхлипнула.

— Но ведь есть же права насекомых, наконец...

— Какие там права, — махнула лапкой Наташа. — А ты знаешь, что такое цианамид кальция? Двести грамм на коровник? Или когда в закрытом навозохранилище распыляют железный купорос, а улетать уже поздно? У меня две подружки так погибли. А третью, Машеньку, хлористой известью залили. С вертолета. Французский учила, дура... Права насекомых, говоришь? А про серно-карболовую смесь слышал? Одна часть неочищенной серной кислоты на три части сырой карболки — вот и все наши права. Никаких прав ни у кого тут не было никогда и не будет, просто этим, — Наташа кивнула вверх, — валюта нужна. На теннисные ракетки и колготки для жен. Сэм, здесь страшно жить, понимаешь?

Сэм погладил Наташину голову, поглядел на украшенный плакатом холодильник и вспомнил Сильвестра Сталлоне, уже раздетого неумолимым стечением обстоятельств до маленьких плавок и оказавшегося на берегу желтоватой вьетнамской реки рядом с вооруженной косоглазой девушкой. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросила та.

— Ты возьмешь меня с собой? — спросила Наташа.

*Рэмбо секунду подумал. «Возьму», — сказал Рэмбо.*

Сэм секунду подумал.

— Видишь ли, Наташа, — начал он и вдруг оглушительно чихнул.

За ширмой что-то большое пошевелилось, вздохнуло, и оттуда монотонно понеслось:

— Закрывая «Судьбу барабанщика», мы знаем, что шептал маленькому вооруженному Гайдари описанный им теплый и ласковый голос. Но почему же именно этот юный стрелок, которого даже красное командование наказывало за жестокость, повзрослев, оставил нам такие чарующие и безупречные описания детства? Связано ли одно с другим? В чем состоит подлинная судьба барабанщика? И кто он на самом деле? Наверное, уже настала пора ответить на этот вопрос. Среди бесчисленного количества насекомых, живущих на просторах нашей необъятной страны, есть и такое — муравьиный лев. Во время первой фазы своей жизни это — отвратительное существо, похожее на бесхвостого скорпиона, которое сидит на дне песчаной воронки и поедает скатывающихся туда муравьев. Потом что-то происходит, и монстр со страшными клешнями покрывается оболочкой, из которой через неделю-две вылупляется удивительной красоты стрекоза с четырьмя широкими крыльями и зеленоватым узким брюшком. И когда она летает в сторону багрового вечернего солнца, на которое в прошлой жизни могла только коситься со дна своей воронки, она, наверное, не помнит уже о съеденных когда-то муравьях. Так, может... снятся иногда. Да и с ней ли это было? Майор Е. Формиков. Весна тревоги нашей. Репортаж с учений магданской флотилии десантных ледоколов...

## 11. КОЛОДЕЦ

Стебли травы сгибались под собственной тяжестью, образуя множество возникающих на секунду ворот, а вверху в зеленое ночное небо уходили светло-коричневые колонны огромных деревьев — собственно, их смыкающиеся кроны и были этим небом. Митя летел между стеблями, все время меняя направление, и перед ним появлялись новые и новые коридоры покачивающихся триумфальных арок. Трава светила в темноте, когда ее сгибал ветер, или, может быть, сияние появлялось из воздуха всякий раз, когда в нем перемещался один из стеблей, словно качающаяся трава выцарапывала свет из темноты.

Внизу делала свои однообразные движения жизнь — мириады разноцветных насекомых ползли по земле, и каждое из них толкало перед собой навозный шар. Некоторые раскрывали крылья и пытались взлететь, но удавалось это немногим, да и они почти сразу падали на землю под тяжестью своего шара. Большая часть насекомых двигалась в одном направлении, к залитой светом поляне, которая иногда мелькала в просветах между стеблями. Митя полетел в ту же сторону и вскоре увидел впереди большой пень неизвестного южного дерева — он был совершенно гнилой и светился в темноте. Вся поляна перед ним была покрыта шевелящимся пестрым ковром насекомых; они заворуженно глядели на пень, от которого исходили харизматические волны, превращавшие его в несомненный и единственный источник смысла и света во вселенной. Каким-то образом Митя понял, что эти волны были просто вниманием, отраженным вниманием всех тех, кто собрался на поляне, чтобы увидеть этот пень.

Подлетев чуть ближе, он разглядел небольшую кучку на-

секомых, стоявших по периметру пня, повернувшись к поляне. Они были самыми разными — среди них были очень красивые древесные клопы с мозаиками на хитиновых панцирях, черные богомолы с молитвенно сложенными лапками, осы, сверкающие скарабеи, множество стрекоз и бабочек с цветными крыльями; за их спинами виднелось несколько строго серых пауков, которые, впрочем, не очень лезли на глаза собравшимся внизу насекомым. Что происходило в самом центре пня, не было видно, и от этого возникало ощущение темной тайны — казалось, там сидит очень грозное и всесильное насекомое, настолько могущественное, что видеть его не положено никому, и очень хотелось думать, что оно хорошее и доброе. Насекомые на краю пенька легонько дирижировали лапками, как бы следуя беззвучной музыке, и в такт их движениям покачивалась собравшаяся внизу огромная толпа. Ее движения словно следовали неслышному мотиву, и так четко, что он был почти слышен — казалось, на далеком органе играют мелодию, которая была бы даже величественной, если бы ее время от времени не прерывало непонятное «умпс-умпс». Но стоило перестать смотреть на пенек и ритмично покачивающуюся вокруг толпу насекомых, и сразу становилось ясно, что вокруг тишина.

Митя поднялся довольно высоко, скоро пень оказался под ним — теперь он мог посмотреть, что находится в самом его центре, и от этой возможности стало чуть не по себе, особенно когда вспомнились разоблачения многочисленных тайн этого пня в газетах, которые продают муравьи в самых глубоких и темных переходах прорытого ими метрополитена. Митя опустил взгляд и вздрогнул.

В центре пня была лужа, в которой плавало несколько похожих на соленые огурцы гнилушек. Точнее, даже не в центре — пень был настолько гнилым, что от него осталась только кора, а сразу за ней начиналась трухлявая яма, полная гнилой воды.

Митя представил себе, что случится, когда кора треснет и вода хлынет на живой ковер, покачивающийся вокруг пня, и ему стало страшно. И тут он заметил, что исходящий от пня свет странно мерцает — как будто кто-то со страшной скоростью гасит его и зажигает опять, выхватывая из темноты неподвижную толпу крошечных гипсовых насекомых, почти такую же, как миг назад, но все же немного иную.

Внизу непрерывным потоком ползли спешащие к пню насекомые, напирали на тех, кто прополз по этому же пути раньше, и втаптывали их в землю — словно живой разноцветный ковер стягивался к пню и подворачивался сам под себя. Насекомые прыгали на пень, и большая их часть срывалась вниз, попадая под лапки, шипы и рога наползающей со всех сторон смены, но некоторым удавалось подняться вверх, к тем, кто стоял на зеленовато светящемся краю; они очень проворно залезали туда, сразу же поворачивались таким образом, чтобы ни в коем случае не увидеть, что находится в центре пня, и принимались дирижировать, поддерживая и возобновляя неизвестно кем и когда выдуманную мелодию.

Митя полетел прочь. Было некому рассказать, что этот пеньек вместе со всеми теми, кто на нем собрался, — еще далеко не все, что есть в мире, и от этого делалось грустно, а еще грустнее было от того, что и сам Митя в этом не был вполне уверен. Но, долетев до границы поляны, он увидел рассеянный свет, излучаемый не то травой, не то трущимся о нее ветром, вспомнил, что с ним было до того, как он попал на поляну с гнилым пнем, и успокоился. Над ним опять понеслись триумфальные арки согнутых стеблей, и чем дальше от поляны он улетал, тем меньше внизу оставалось спешащих к ней насекомых. Скоро их не осталось совсем, и тогда вокруг стали появляться цветы. Они казались разноцветными посадочными площадками необычных форм, но испускали такой одуряющий запах, что Митя предпочитал любоваться ими на расстоянии, тем более что на некоторых копошились ушедшие от мира пчелы, уединения которых Митя не хотел нарушать.

В траве впереди мелькнул красный огонек, и Митя автоматически повернул к нему. Когда он оказался так близко, что на всем вокруг появился слабый красноватый отблеск, Митя полетел крадучись, подолгу зависая за широкими стеблями и незаметно перелетая от одного к другому. После нескольких таких маневров он выглянул из-за стебля и увидел рядом, прямо перед собой, двух очень странных, ни на кого не похожих красных жуков. На головах у них были большие желтые выросты, похожие на широкополые соломенные шляпы, а низ брюшка был, насколько Митя мог разглядеть, цвета хаки. Они сидели на стебле в полной неподвижности и задумчиво смотрели вдаль, чуть покачиваясь вместе с растением.

— Я думаю, — сказал один из жуков, — что в мире нет ничего выше нашего одиночества.

— Если не считать эвкалиптов, — сказал второй.

— И платанов, — подумав, добавил первый.

— И еще дерева чикле, — сказал второй.

— Деревя чикле?

— Да, — повторил второй, — деревья чикле, которое растет в юго-восточной части Юкатана.

— Пожалуй, — согласился первый, — но уж этот гнилой пенек на соседней поляне никак не выше нашего одиночества.

— Это точно, — сказал второй.

Красные жуки опять задумчиво устались вдаль.

— Что нового в твоих снах? — спросил через несколько минут первый.

— Много чего, — сказал второй. — Вот сегодня, например, я обнаружил далекий и очень странный мир, откуда нас тоже кто-то увидел.

— Неужели? — спросил первый.

— Да, — ответил второй. — Но тот, кто нас увидел, принял нас за две красные лампы на вершине горы, стоящей у моря.

— И что мы сделали в твоём сне? — спросил первый.

Второй выдержал драматическую паузу.

— Мы светились, — сказал он с индейской торжественностью, — пока не выключили электричество.

— Да, — сказал первый, — наш дух действительно безупречен.

— Еще бы, — отозвался второй. — Но самое интересное, что тот, кто нас заметил, прилетел прямо сюда и прячется сейчас за соседним стеблем.

— В самом деле? — спросил первый.

— Конечно, — сказал второй. — Да ты ведь и сам знаешь.

— И что он собирается делать? — спросил первый.

— Он, — сказал второй, — собирается прыгнуть в колодец номер один.

— Интересно, — сказал второй, — а почему в колодец номер один? Он ведь точно так же может прыгнуть в колодец номер три.

— Да, — подумав, сказал первый, — или в колодец номер девять.

— Или в колодец номер четырнадцать, — сказал второй.

— Но лучше всего, — сказал первый, — это прыгнуть в колодец номер сорок восемь.

Митя вжался в стебель, слушая, как в нескольких метрах от него стремительно нарастают числительные, и тут ему на плечо легла чья-то рука и сильно его тряхнула.

Повернув голову, он увидел склонившегося над ним Диму. Вокруг была площадка на вершине горы, над которой поднималась мачта с двумя красными фонарями (сейчас они уже не горели), рядом стояли две складные табуретки, а сам он лежал под кустом.

— Вставай, — сказал Дима. — У нас мало времени.

Митя поднялся, помотал головой, пытаясь вспомнить только что снявшийся сон, но тот уже улетучился и оставил после себя только неясное ощущение.

Дима пошел по узкой тропинке, ведущей прочь от шеста с двумя красными лампами. Митя поплелся следом, еще позевывая, но через несколько десятков метров, когда тропинка превратилась в узкий карниз, под которым не было ничего, кроме стометровой пустоты и моря, остатки сна слетели с него окончательно. Тропинка нырнула в щель между скалами, прошла под низкой каменной аркой (тут у Мити мелькнуло неясное воспоминание, связанное со сном) и вывела в небольшую расщелину, заросшую темными кустами. Митя сорвал несколько холодных ягод терновника, кинул их в рот и сразу же выплюнул, увидев яркий белый череп, лежащий под кустом. Череп был маленький и узкий, наподобие собачьего, только меньше и тоньше.

— Там, — сказал Дима, показывая на кусты.

— Что? — спросил Митя.

— Колодец.

— Какой колодец? — спросил Митя.

— Колодец, в который ты должен заглянуть.

— Зачем?

— Это единственный вход и выход, — сказал Дима.

— Куда?

— Для того, чтобы на это ответить, — сказал Дима, — надо заглянуть в колодец. Сам все увидишь.

— Да что это такое?

— По-моему, ты сам знаешь, что такое колодец.

— Знаю. Приспособление для подъема воды.

— А еще? Когда-то ты мне сам говорил про города и про колодец. Что-то о том, что города меняют, а колодец остается одним и тем же.

— Помню. Это сорок восьмая гексаграмма, — сказал Митя и опять подумал, что очень похожее только что было с ним во сне. — Она так и называется — колодец. *«Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но и ничего не приобретешь. Уйдешь и придешь, но колодец останется колодцем... Если почти достигнешь воды, но не хватит веревки, и если разобьешь бадью, — несчастье!»*

— Откуда это? — спросил Дима.

— Книга перемен.

— Ты ее что, наизусть знаешь?

— Нет, — с неудовольствием признался Митя. — Просто эта гексаграмма мне пять раз выпадала.

— Как интересно. И о чем она?

— О колодце. О том, что существует некий колодец, которым можно пользоваться. Точнее, сначала им нельзя пользоваться, потому что на первой позиции в нем нет воды, на второй ее нельзя зачерпнуть, а на третьей ее некому пить. Зато потом все приходит в норму. Если я не путаю. А смысл примерно в том, что мы носим в себе источник всего, что только может быть, но поскольку первая, вторая и третья позиции символизируют недостаточно высокие уровни развития, то на них этот источник еще не доступен. Вообще, символично, что к этой гексаграмме мы переходим от гексаграммы «истощение», на пятой позиции которой...

— Хватит, — перебил Дима. — Помнишь песню, что мы слышали на набережной? Насчет того, где найти себя? Та, кто ее пела, совершенно не понимала, о чем она поет. И ты точно так же не понимаешь, о чем сейчас говоришь. А чтобы понять, что ты только что сказал, тебе надо заглянуть в колодец.

— А если я не пойду?

— Не пойти ты просто не можешь.

— Почему? — спросил Митя.

Дима посмотрел на его руки. Митя проследил за взглядом, уставился на свои ладони и понял, что они больше не светятся в темноте. Еще несколько минут назад, когда они начинали дорогу к этому месту, ладони сияли — не таким ярким, как вчера, но чистым и ясным голубым светом.

— Вот именно поэтому, — сказал Дима. — Иначе все, что ты понял, исчезнет. И в лучшем случае ты успеешь написать еще пару стихотворных посланий совершенно не нуждающимся в них комарам.

— Меня иногда поражает твой апломб, — сказал Митя.

Дима развернул его на месте и толкнул в спину.

Кусты были густыми и колючими; прикрывая пальцами глаза, Митя сделал несколько шагов, поскользнулся и полетел вниз.

Он падал спиной вперед, хватаясь руками за рыхлые стены, падал очень долго, но вместо того чтобы упасть на дно, впал в задумчивость.

Время не то исчезло, не то растянулось — все, что он видел, менялось не меняясь, каким-то образом постоянно оказываясь новым, а его пальцы все пытались уцепиться за тот же самый участок стены, что и в начале падения. Как и вчера, он чувствовал, что смотрит на что-то странное, на что-то такое, на что не смотрел никогда в жизни и вместе с тем смотрел всегда. Когда он попытался понять, что он видит, и найти в своей памяти нечто похожее, ему вспомнился обрывок виденного по телевизору фильма, где несколько ученых в белых халатах были заняты очень странным делом — вырезали из картона круги с небольшими выступами и насаживали их на сверкающий металлический штырь, словно чеки в магазине; картонные круги становились все меньше и меньше, и в конце концов на штыре оказалась человеческая голова, составленная из тонких листов картона; ее обмазали синим пластилином, и на этом фильм кончился.

То, что видел Митя, больше всего напоминало эти картонные круги: последним, самым верхним кругом был испуг от падения в колодец, предпоследним — опасение, что колючая ветка куста хлестнет по глазам, до этого была досада, что так быстро исчез приснившийся мир, где на длинной травинке беседовали два красных жука; еще раньше — страх перед летучей мышью, наслаждение полетом над залитыми луной камнями, озадаченность непонятным вопросом Димы, тоска от стука доминошных костей над пустой набережной и от того, главным образом, что в собственной голове сразу стала видна компания внутренних доминошников, и так — ниже и ниже, за один миг — сквозь всю жизнь, сквозь все сплотившиеся и затвердевшие чувства, которые он когда-либо испытал.

Сначала Митя решил, что видит самого себя, но сразу же понял: все находящееся в колодце на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Он не был этим колодцем, он был тем, кто падал в него, одновременно оставаясь на месте. Мо-

жет быть, он был пластилином, скрепляющим тончайшие слои наложенных друг на друга чувств. Но главным было другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки жизни к точке рождения, оказавшись в ней и заглянув еще глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит в бесконечность.

У колодца не существовало дна. Никакого начала никогда не было.

И тут же Митя увидел еще одно: все, что было в колодце под точкой, с которой он привык начинать свой личный отсчет, вовсе не было пугающим, за- или догробным (догробный мир, подумал он, надо же), таинственным или неизвестным. Оно всегда существовало рядом, даже ближе, чем рядом, а не помнил он про это потому, что оно и было тем, что помнило.

— Эй, — услышал он далекий голос. — Вылезай! Хватит. Не разбей бадью.

Он почувствовал, что его тянут за руку, потом по лицу прошлась ветка с острыми шипами, перед глазами мелькнули черные листья, и он увидел перед собой Диму.

— Пошли отсюда, — сказал Дима.

— Что это было? — спросил Митя.

— Колодец, — сказал Дима таким тоном, словно открывал большую тайну.

— А я в него не упаду опять?

Дима остановился и с недоумением посмотрел на него.

— Мы не можем упасть в колодец, в котором и так находились целую вечность. Мы можем только выйти из него.

— А теперь я из него вышел?

— Не теперь, а тогда. Ты сейчас опять в нем. А когда ты его видел, ты высунул голову. Жизнь очень странно устроена. Чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть.

— А зачем?

— Из колодца можно что-нибудь вынести. Он содержит бесценные сокровища. Точнее, сам по себе он ничего не содержит, и ты выходишь оттуда таким же, как вошел. Но в нем ты можешь заметить то, что есть у тебя самого и про что ты давно забыл.

Митя погрузился в размышления и остаток пути шел молча.

— Я никаких сокровищ там не заметил, — сказал он, когда оба вернулись на площадку под маяком. — Я просто за один миг увидел свою жизнь. И даже больше.

— Вся жизнь, — ответил Дима, — и, как ты выразился, даже больше, существует один миг. Вот именно тот, который происходит сейчас. Это и есть бесценное сокровище, которое ты нашел. И теперь ты сможешь поместить в один миг все что хочешь — и свою жизнь, и чужую.

— Но я не вижу того, что я нашел, — сказал Митя.

— Потому что ты нашел то, что видит, — ответил Дима. — Закрой глаза и посмотри.

— Куда?

— Куда хочешь.

Митя закрыл глаза и увидел в образовавшейся темноте — про себя он называл ее предвечной, потому что в детстве считал, что тонкие сияющие линии и мерцание возникают перед веками — ярко-синюю точку. Она была неподвижной, но ее можно было странным образом направить на что угодно.

Митя услышал треск цикады, направил синюю точку на него и вдруг вспомнил далекий вечер, когда он встал на ноги, — а произошло это очень рано, сразу же после того, как он вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его существование.

## 12. PARADISE

Сережа не помнил своих родителей. Он встал на ноги очень рано, сразу же после того, как вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его существование. Это произошло на фоне удивительно красивого заката, в безветренный летний вечер, озвученный тихим плеском моря и многоголосым пением цикад, одной из которых он тоже мог когда-нибудь стать. Но эта перспектива маячила так далеко, что он даже не обдумывал ее, понимая: если ему и суждено будет протрещать горловыми пластинками свою песню, то сделает это все равно уже не он, или не совсем он, потому что эти пластинки вырастают только у немногих, у тех, кто прошел многолетний путь под землей и сумел в конце концов выбраться на поверхность, забраться на дерево и окончательно вылупиться. Отчего-то он был уверен, что если это и случится с ним, то это будет тоже в летний вечер, такой же тихий и теплый.

Сережа вгрызся в землю, стараясь сразу приучить себя к тому, что это всерьез и надолго. Он знал: шансов выбиться наружу мало и помочь ему могут только трезвость и собранность, только способность прокопать дальше, чем другие, а мысль о том, что другие понимают то же самое, придавала дополнительные силы. Но детство есть детство, и первые несколько лет он провел, бесцельно разглядывая попадающиеся в земле предметы — некоторые из них можно было вынуть и повертеть в руках, а другие приходилось рассматривать прямо в почве. Особенно Сережа любил находить окна — погрузив в землю пальцы, он осторожно ощупывал их холодную твердую поверхность и расчищал ее, стараясь угадать, что увидит за стеклом.

Опыт всех этих лет, заполненных копошением в мягком российском суглинке (который однажды утром неожиданно оказался благодатным черноземом Украины), слился для него в одном обобщающем воспоминании: как он, поживаясь от мороза, смотрит в только что расчищенное окно, за которым видны черные зимние сумерки вокруг ярко освещенной детской площадки, а в центре, в пятне света, стоит снежная баба с воткнутым в голову частоколом морковок, очень похожая на статую Свободы, которую он увидел в откопанном неподалеку от окна журнале. Стекло было разрисовано морозом, и узор на нем сильно напоминал маленькую пальмовую рощу; казалось, эти пальмы качаются от его дыхания. В окно нельзя было пролезть, и Сережа долго стоял возле него, тоскуя о непонятном, а потом стал рыть ход дальше, затаив в сердце нерасшифрованную мечту.

К тому времени, когда он стал задумываться, все ли он делает верно, его жизнь стала рутинной и состояла большей частью из очень похожих событий, повторяющихся в однообразной последовательности.

Перед ним, прямо перед головогрудью и лапами, был круг темной твердой земли. Сзади, за спиной, оставался прорытый к этому времени тоннель, но Сережа никогда не оглядывался и не подсчитывал, сколько метров или даже километров им пройдено. Он знал, что другие насекомые — например, муравьи — довольствуются достаточно короткой норкой и он со своими зубчатыми лапами мог бы выполнить работу всей их жизни за несколько часов. Но он никогда не тешил себя такими сравнениями, зная: стоит только остановиться и начать сравнивать себя с другими, как покажется, что он уже достаточно многого достиг, и пропадет необходимое для дальнейшей борьбы чувство острой обиды на жизнь.

Достигнутое им не существовало в виде чего-то такого, что можно было бы потрогать или сосчитать, — оно состояло из тех встреч и событий, которые приносил ему каждый новый день. Проснувшись утром, он начинал рыть тоннель дальше, разгребая землю мощными передними лапами и отбрасывая ее задними. Через несколько минут среди серо-коричневых комков почвы появлялся завтрак. Это были тонкие отростки корней — из них Сережа высасывал сок, читая при этом какую-нибудь газету, которую он обычно откапывал вместе с едой. Через несколько сантиметров из земли появ-

лялась дверь на работу — промежуток между ней и завтраком был таким узким, что иногда земля осыпалась сама, без всяких усилий с его стороны. Сережа никак не мог взять в толк, как это он роет и роет в одном направлении и все равно каждое утро откапывает дверь на работу, но зато понимал, что размышления о таких вещах еще никого не привели ни к чему хорошему, и поэтому предпочитал особенно на эту тему не думать.

За дверями на работу оказывались присыпанные землей вялые сослуживцы, мимо которых следовало двигаться осторожно, чтобы они не поняли, что Сережа роет ход. Возможно, каждый из них тоже рыл свой ход куда-то, но если это и было так, они делали это очень скрытно. Сережа разгребал землю со своего кульмана, чуть расчищал окно, за которым виднелись наведенные вверх трубы, и начинал неторопливо рыть к обеду. Обед практически не отличался от завтрака, только земля вокруг была немного другая, более рыхлая, и из нее торчали медленно жующие лица товарищей по работе — это не раздражало, потому что их глаза были всегда закрыты. Обед был как бы пиком дня, после которого уже следовало начинать рыть дорогу домой, а работа в этом направлении всегда шла быстро. Через какое-то время Сережа откапывал дверь своей квартиры, медленно разгребал глину, за которой обнаруживался телевизор, и часа через два, уже полусонный, докапывался до кровати.

Проснувшись, он поворачивался к стене, некоторое время смотрел на нее, пытаясь вспомнить только что кончившийся сон, а затем несколькими быстрыми ударами лап пробивал ход прямо до ванной комнаты. Дни были в целом одинаковы, только в субботу и воскресенье в своем движении вперед Сережа не натывался на дверь, ведущую на работу. Иногда в выходные он откапывал одну или две бутылки водки, и тогда надо было немного покопаться в земле рядом — почти всегда удавалось отрыть голову и часть туловища кого-нибудь из друзей, чтобы вместе выпить и поговорить о жизни. Сережа твердо знал, что большая часть его знакомых не роет никакого тоннеля, но тем не менее знакомые попадались ему навстречу с удручающим однообразием. Иногда, правда, в земле оказывались приятные сюрпризы — например, из стены торчала нижняя часть женского туловища (Сережа никогда не раскапывал женщин выше пояса, полагая, что это при-

ведет ко многим проблемам) или пара банок пива, ради которого он позволял себе небольшую передышку, но бóльшая часть пути пролегла через работу.

Чтобы хоть как-то объяснить себе тот странный факт, что в своем выверенном по компасу движении он регулярно прокапывает насквозь пласты земли с совершенно одинаковыми вкраплениями, такими как кульманы, сослуживцы и даже вид за окном, Сережа пользовался аналогией с поездом, который идет вперед и бесконечно приближается к заветной шпале, неотличимой от соседних.

Впрочем, некоторые различия были. Иногда контора, через которую Сережа совершал свой дневной рывок (он образовывал это слово от «рыть»), обновлялась: перемещались кульманы, менялась окраска стен, кто-нибудь появлялся или навсегда исчезал. Сережа отметил одну закономерность: если, например, он проползал через работу, где сгорал электрический чайник (сослуживцы любили пить чай), то на всех последующих работах, через которые он рыл свой ход, этот (или очень похожий) чайник тоже оказывался сгоревшим, пока Сережа не докапывался до такой работы, куда кто-нибудь приносил новый.

Работа была совсем не сложной — надо было перечерчивать старые синьки на ватман, чем, кроме Сережи, занималось еще несколько сослуживцев. Обычно с утра они начинали длинный неспешный разговор, в котором невозможно было не участвовать. Говорили они, как это обычно бывает, обо всем на свете, но поскольку круг тем, которых они касались, был очень узок, Сережа замечал, что с каждым днем на свете остается все меньше и меньше того, что было прежде, например, того, что было в тот вечер, когда он сидел под веткой и слушал треск сумевших выбиться из-под земли цикад.

Неизбежное общение с сослуживцами действовало на Сережу не лучшим образом. У него стала меняться манера ползти — он теперь сильно прижимал голову к земле и иногда, раскапывая особенно крутую лестницу в буфет, помогал себе мордой. Одновременно он стал немного по-новому понимать жизнь и вместо прежнего желания прорыть тоннель как можно дальше начал ощущать ответственность за свою судьбу, а это новое чувство повлекло за собой чисто анатомические изменения.

Однажды он заметил, что сидит за столом, чистит двумя руками карандаш и одновременно роется в ящике — роется

чем-то таким, чего у него раньше просто не было. Сначала он решил, что сходит с ума, но, приглядываясь к сослуживцам, стал замечать у них по бокам чуть заметные полупрозрачные коричневатые лапки, которыми они ловко пользовались. Как оказалось, такие же лапки были и у него, просто в них раньше не возникало потребности, но теперь Сережа научился видеть их, а потом и употреблять в дело. Сперва они были слабыми, но постепенно окрепли, и Сережа стал доверять им работу, используя руки по прямому назначению — рыть тоннель дальше и дальше.

Но тоннель все равно каждый день приводил его на работу, где из рыхлых земляных стен глядели давно знакомые до последней черточки лица. В них присутствовала одна общая особенность — все они были украшены усами. Сережа никогда не придавал этому особого значения, но все-таки решил отпустить усы сам.

Примерно через месяц, когда они достаточно отросли, он заметил, что жизнь стала как-то полнее, а сослуживцы превратились в удивительно милых ребят с самыми разнообразными интересами. Понять все это ему помогли именно усы, ощупывающие движения которых позволяли воспринимать реальность с не известной раньше стороны. Он убедился, что жизнь можно не только видеть, но и ощупывать усами, как это делали все вокруг, и тогда она становится настолько захватывающей, что рыть тоннель дальше особо незачем. Его стали интересовать окружающие, но еще интересней было, что о нем думают другие. И как-то после рабочего дня, на вечеринке с коньячком, он услышал:

— Наконец-то ты, Сережа, стал одним из нас.

Эти слова произнесло одно лицо, чуть выступающее из земляной стены. Остальные лица закрыли глаза и стали шевелить усами, как бы ощупывая Сережу, чтобы проверить, действительно ли он один из них. Судя по их улыбкам, они оказались вполне удовлетворены результатом.

— А кем это я стал? — спросил Сережа.

— Брось притворяться, — захотали лица, — будто не понимаешь!

— Правда, — не сдавался Сережа, — кем?

— Тараканом, кем еще.

Услышав это, Сережа ощутил холодную волну, прошедшую по всему телу. Он бросился к концу тоннеля, где висел

календарь с портретом Николая Второго (Сереза вспомнил, что сам повесил его сюда, когда решил, что уже отрыл свое), и принялся лихорадочно откидывать землю руками под хохот и улюлюканье оставшихся сзади усатых рож. Откопав дверь ванной, он быстро прорыл лаз к зеркалу, посмотрел на коричневую треугольную головку с длинными покачивающимися усами и схватился за бритву. Усы с хрустом облетели, и на Серезу глянуло его собственное лицо, только уже совсем взрослое, с заметными морщинами у глаз. «Сколько же я был тараканом?» — с ужасом подумал он и вспомнил данную себе в детстве клятву обязательно прорыть ход на поверхность.

Откопав кровать, он упал на холодные простыни и заснул, а утром разрыл телефон и позвонил Грише, одному из друзей еще с яйцеклада, с которым давно уже не общался. Некоторое время они вспоминали тот далекий летний вечер, когда свалились с ветки на землю и начали рыть ход на ее поверхность, а потом Сереза без обиняков поинтересовался, как жить дальше. Приятель сказал так:

— Нарой побольше бабок, а дальше сам увидишь.

Они договорились как-нибудь увидеться и распрощались. Повесив трубку, Сереза без всяких колебаний решил изменить маршрут и воспользоваться Гришиным советом. После завтрака он стал рыть не вперед, а направо, и вскоре с облегчением заметил, что дверей на работу в земле перед ним не появилось. Вместо них попались дырявая немецкая каска, несколько сплюснутых гильз и ксерокопия какой-то древней мистической книги, над которой он провел пару часов. Серезе еще не приходилось читать такой ахиinei — из книги следовало, что он не просто ползет по подземному тоннелю, но еще и толкает перед собой навозный шар, внутри которого он на самом деле этот тоннель и роет. После этого грунт долгое время был совершенно пустым, только изредка попадались корешки, которые Сереза пускал в пищу, а потом его вонзившаяся в землю лапка нащупала что-то твердое.

Разбросав желтоватую глину, Сереза увидел черный носок милицейского сапога. Он сразу все понял, аккуратно присыпал его землей и стал рыть влево, подальше от этого места. Еще несколько раз попадались выступающие из земли детали милицейской амуниции — дубинки, рации, стриженные головы в фуражках, — но насчет голов ему везло, потому что он все время откапывал их со стороны затылка, из чего следо-

вало, что менты его не видят. Через некоторое время в земле стали попадаться бабки. Сначала это были отдельные бумажки, а потом пошли появляться целые пачки — обычно они находились где-нибудь неподалеку от милицейских дубинок и сапог. Сережа стал тщательно, как археолог, раскапывать землю вокруг попадавшихся ему предметов милицейского снаряжения и редко когда уползал без нескольких сырых и тяжелых пачек, крест-накрест перехваченных бумажной лентой.

Он почти совсем забыл об осторожности и один раз случайным движением руки отбросил землю с круглого милицейского лица, изо рта которого торчал свисток. Лицо яростно посмотрело на него и надуло щеки, но прежде чем успел раздаться свист, Сережа выдернул свисток и сунул милиционеру прямо в зубы денежную пачку. Лицо закрыло глаза, и Сережа, постепенно приходя в себя, двинулся дальше. Вскоре его пальцы наткнулись на предмет, на ощупь показавшийся обычным милицейским сапогом. Расчистив землю, Сережа увидел слово «геебок», начал рыть вверх и скоро откопал улыбающееся лицо Гриши.

— Вот и встретились, — сказал Гриша.

Бабки, которые Сережа нарыл по его совету, не произвели на Гришу никакого впечатления.

— Ты, пока не поздно, купи на них денег, — посоветовал он и показал Сереже несколько зеленых банкнот. — И вообще, надо отсюда рыть как можно скорее.

Сережа и сам понимал, что кроме как отсюда рыть просто неоткуда, но все же принял Гришины слова к сведению и накрепко запомнил, что прежде всего надо откопать какое-то приглашение.

По-прежнему на его пути регулярно оказывалась дверь домой, телевизор, ванная и кухня, но теперь он начал выкапывать американские журналы и учить английский, на котором говорил с изредка появляющимися из стен лицами. Лица дружелюбно улыбались и обещали помочь. И вот однажды, в длинной песчаной жиле, которую Сережа разрабатывал уже целый месяц, он наткнулся на сложенную вчетверо белую бумажку. Это и было, как он понял, приглашение. Сережа не знал, что надо делать дальше, и решил на всякий случай держаться песчаного слоя. Несколько дней в песке не попадалось ничего интересного, а потом Сережа ощутил под своими лапками каменную стену с вывеской; расчистив ее, он про-

чел: «ОВИР». Дальше предметы стали попадаться с чудовищной быстротой — он даже не успевал как следует разобраться, что именно выкапывает и кому именно дает взятки; в конце концов Сережа заметил, что пухлого мешка бабок у него больше нет, зато есть несколько зеленых бумажек с портретом благообразного лысоватого толстяка.

Песчаная жила кончилась, и рыть ход стало намного труднее, потому что почва стала каменистой; особенно запомнились Сереже бетонные глыбы перед американским посольством — такой величины, что приходилось или подкапываться под них (а это было опасно, потому что глыба могла упасть и раздавить), или рыть ход сбоку, сильно удлиняя дорогу. Посольство Сережа прополз очень быстро, откопал перила авиационного трапа, а потом расчистил от земли прямоугольный иллюминатор и почти целый день любовался облаками и океаном.

Дальше начинался слой рыхлого и влажного краснозема, и Сережа долго глядел на стену земли, за которой ждала неизвестность, прежде чем решился протянуть к ней свои мозолистые и усталые, но еще сильные лапки. Первой находкой в слое новой почвы оказалась пожилая негритянка в кабинке таможенного контроля, которая брезгливо спросила, есть ли у Сережи обратный билет. Потом выступила автобусная дверь, сразу за которой Сережа откопал яблочный огрызок и мятую карту Нью-Йорка.

Началась новая жизнь. Долгое время Сережа выкапывал из земли в основном пустые консервные банки, зачерствелые ломтики пиццы и старые «Ридерз дайджесты», но он приготовился к упорному труду и не ждал небесной манны, тем более что с небом под землей было напряженно. Со временем он стал находить и деньги. Их было, конечно, куда меньше, чем когда-то попадалось бабок, и встречались они далеко не пачками, но Сережа не унывал. Из стен тоннеля часто выступали огромные пластиковые мешки с мусором и черные руки, протягивающие ему то маленькие пакетики кокаина, то приглашения на религиозные лекции, но Сережа старался не обращать на это внимания, больше улыбаться и быть оптимистом.

Постепенно мусора вокруг стало меньше, а в одно тихое утро, с трудом прокапывая ход меж корней старой липы, Сережа обнаружил маленькую зеленую карточку — произошло это через день после того, как он узнал второе главное аме-

риканское слово «у-упс» (первое, «бла-бла-бла», ему сказал по секрету еще Гриша). Он понял, что теперь сможет найти работу, и действительно — не прошло и пары дней, как вскоре после завтрака Сережа выкопал металлическое табло с горящим словом «work», взволнованно сглотнул слюну и взялся за дело. Новая работа оказалась очень похожей на старую, только кульман был другой, наклонный, и появившиеся из стен лица сослуживцев говорили по— английски. С энергичной улыбкой прокопав от обеда до табло со словами «don't work» (ему давно уже удалось соединить в одно целое пространство и время), он понял, что рабочий день окончен.

Теперь Сережа откапывал указатели «work» и «don't work» каждый день, а кроме них стал регулярно наткаться на одни и те же блестящие дверные ручки, ступеньки и предметы быта вроде кондиционера, гудение которого было вездесущим и слегка напоминало ему вой московской вьюги, комплекта японской электроники, сковородок и кастрюль, из чего сам собой напрашивался вывод, что он теперь живет в собственной квартире.

Работа была совсем не сложной — надо было переводить старые синьки в компьютерный код, чем, кроме Сережи, занималось еще несколько сослуживцев. Обычно с утра они начинали длинный неспешный разговор на английском, в котором Сережа постепенно научился участвовать. Общение с сослуживцами было для Сережи, безусловно, очень благотворным. Его манера ползти стала более уверенной, и скоро он заметил, что опять пользуется полупрозрачными коричневыми лапками, о которых успел позабыть со времени своей прошлой работы. Он снова отпустил усы (теперь они были с заметной сединой), но не для того, чтобы слиться с окружающими, которые большей частью тоже были усатыми, а наоборот, чтобы придать своему облику такую же неповторимую индивидуальность, какой обладали они все.

Прошло несколько лет, заполненных мерцанием указателей «work» — «don't work». За это время Сережа успел обжиться и выкопал множество полезных предметов: машину, огромный телевизор и даже бачок с приспособлением для дистанционного слива воды. Иногда днем, оказавшись на работе, он раскапывал окно своей конторы, и, не обращая внимания на врывающуюся оттуда духоту, выставлял наружу руку с дистанционным спускателем и нажимал на черную кнопку

с изображением водопада. Ничего вроде бы не происходило, но он знал, что примерно в двух милях, там, где расположена его квартира, ревуший вихрь голубоватой воды накатывается на прохладные стенки унитаза. Правда, один раз Сережа по ошибке нажал кнопку «Reset» и потом три дня отмывал пол, потолок и стены, но зато после скандала с низеньким скарабеем, назвавшимся его лендлордом, стал относиться к квартире как к живому существу, тем более что ее название — «Ван Бедрум» — всегда казалось ему именем голландского живописца.

Иногда Сережа откапывал собачий поводок, из чего делал вывод, что гуляет с собакой. Саму собаку он никогда не раскапывал, но однажды, по совету журнала «Health Week», отвел ее к ветеринару-психоаналитику. Тот некоторое время перелаивался с невидимой собакой за тонким слоем земли, а потом Сережа услышал от него такое, что сразу же привязал поводок к торчащему из земляной стены бамперу грузовика из другого штата, огляделся (никого вокруг, естественно, не было) и торопливо порыл прочь.

По выходным он дорывался до парома на Нью-Джерси, раскапывал небольшое окошко в здании, где продавали билеты, и, вспоминая детство, подолгу смотрел на далекую белую статую Свободы, символ равных возможностей, — последние лучи заката окрашивали терновый венец на ее голове в морковный цвет, и она казалась огромной пожилой снегурочкой.

У Сережи появилась близкая женщина, которую он откопал целиком, чтобы изредка говорить с ней о сокровенном, а сокровенного к этому времени у него набралось довольно много.

— Ты веришь, — спрашивал он, — что нас ждет свет в конце тоннеля?

— Это ты о том, что будет после смерти? — спрашивала она. — Не знаю. Я читала пару книг на эту тему. Действительно, пишут, что там какой-то тоннель и свет в конце, но, по моему, все это чистое бла-бла-бла.

Рассказав ей, что он когда-то чуть было не стал тараканом в далекой северной стране, Сережа вызвал у нее недоверчивую улыбку; она сказала, что он совершенно не похож на выползня из России.

— Ты по виду типичный американский кокроуч, — сказала она.

— У-упс, — ответил Сережа.

Он был счастлив, что ему удалось натурализоваться на

новом месте, а слово «кокроуч» он понял как что-то вроде «кокни», только на нью-йоркский лад, — но все же после этих слов в его душе поселилось не совсем приятное чувство. Однажды, довольно сильно выпив после работы, Сережа раскопал свою квартиру, прорыл ход к зеркалу и, взглянув в него, вздрогнул. Оттуда на него смотрела коричневая треугольная головка с длинными усами, уже виденная им когда-то давно. Сережа схватил бритву, и, когда мыльный водоворот унес усы в раковину, на него глянуло его собственное лицо, только уже совсем пожилое, даже почти старое. Он начал остервенело копать прямо сквозь зеркало, разлетевшееся на куски под его лапами, и вскоре отрыл несколько предметов, из которых следовало, что он уже на улице, — это были сидящий на табурете пожилой кореец (его лавка обычно начиналась в двух метрах под табуреткой) и табличка с надписью «29 East St.». Окорябавшись о ржавую консервную банку, он принялся быстро и отчаянно рыть вперед, пока не оказался в пласте сырых глинистых почв где-то в районе Гринуич-Вилледжа, среди уходящих далеко вниз фундаментов и бетонных колодцев. Откопав вывеску с нарисованной пальмовой рощей и крупным словом «PARADISE», Сережа отрыл за ней довольно длинную лестницу вниз, табуретку, небольшой участок стойки и пару стаканов с «водка-тоником», к которому уже успел привыкнуть.

Земляные стены только что вырытого им тоннеля дрожали от музыки. Хватив два стакана подряд, Сережа огляделся по сторонам. За его спиной был длинный узкий лаз, полный разрыхленной земли, — он уходил в известность, из которой Сережа уже столько лет пытался найти выход. Впереди из земли торчали деревянная доска стойки, покрытая царапинами, и стаканы. Все-таки было неясно — вылез он наконец наружу или еще нет? И наружу чего? Вот это было самое непонятное. Сережа взял со стойки бледно-зеленый спичечный коробок с надписью «Paradise» и увидел те же пальмы, что были на вывеске, а еще раньше, в виде изморози, — на каком-то окне из детства. Кроме пальм, на коробке были телефоны, адрес и уверение, что это «hottest place on island».

«Господи, — подумал Сережа, — да разве hottest place — это рай? А не наоборот?»

Из земляной стены перед ним появилась рука, сгребла пустые стаканы и поставила один полный. Стараясь держать се-

бя в лапках, Сережа посмотрел вверх. Земляной свод, как обычно, нависал в полуметре над головой, и Сережа вдруг с недоумением подумал, что за всю долгую и полную усилий жизнь, в течение которой он копал, наверное, во все возможные стороны, он так ни разу и не попробовал рыть вверх. Сережа вонзил лапки в потолок, и на полу стала расти горка отработанной земли. Потом ему пришлось подтянуть к себе табуретку и встать на нее, а еще через минуту его пальцы нащупали пустоту. «Конечно, — подумал Сережа, — поверхность — это ведь когда не надо больше рыть! А рыть не надо там, где кончается земля!» Снизу раздалось щелканье пальцев, и, бросив туда кошелек с небольшой колодой кредитных карт (на том месте, где он только что сидел, теперь неподвижно лежал непонятно откуда взявшийся здоровенный темно-серый шар), Сережа схватился за край дыры, подтянулся и вылез наружу.

Вокруг был безветренный летний вечер, сквозь листву деревьев просвечивали лиловые закатные облака. Вдали тихо шумело море, со всех сторон долетал треск цикад. Разорвав старую кожу, Сережа вылез из нее, поглядел вверх и увидел на дереве, которое росло у него над головой, ветку, с которой он свалился на землю. Сережа понял, что это и есть тот самый вечер, когда он начал свое длинное подземное путешествие, потому что никакого другого вечера просто не бывает, и еще он понял, о чем трещат — точнее, плачут — цикады. И он тоже затрещал своими широкими горловыми пластинами о том, что жизнь прошла зря, и о том, что она вообще не может пройти не зря, и о том, что плакать по всем этим поводам совершенно бессмысленно. Потом он расправил крылья и понесся в сторону лилового зарева над далекой горой, стараясь избавиться от ощущения, что копает крыльями воздух. Что-то до сих пор было зажато у него в руке — он поднес ее к лицу, увидел на ладони измятый и испачканный землей коробок с черными пальмами и неожиданно понял, что английское слово «Paradise» обозначает место, куда попадают после смерти.

### 13. ТРИ ЧУВСТВА МОЛОДОЙ МАТЕРИ

Доедая последнюю мятую сливу, Марина совершенно не волновалась насчет будущего — она была уверена, что ночью найдет все необходимое на рынке. Но когда она решила вылезти и посмотреть, не ночь ли на дворе, и сползла с кучи слежавшегося под ее тяжестью сена, она увидела, что выхода на рынок нет, и вспомнила, что Николай заделал его почти сразу после своего появления. Сделал он все настолько аккуратно, что не осталось никаких следов, и Марина даже не могла вспомнить, где этот выход был. Она отчаянно огляделась: из черной дыры, перед которой лежал сплетенный Николаем половичок, тянуло ледяным ветром, а остальные три стены были совершенно одинаковыми — черными и сырыми. Начинать рыть ход заново нечего было и думать — не хватило бы сил, — и Марина, бессильно зарывав, упала на сено. Во французском фильме, который она стала вспоминать, возможность такого поворота событий не предусматривалась, и Марина совершенно не представляла, что делать.

Наплакавшись, она несколько успокоилась — во-первых, ей не особенно хотелось есть, а во-вторых, еще оставались два тяжелых свертка, с которыми она вышла из театра. Решив перетащить их в камеру, Марина протиснулась в черную дыру и поползла по узкому и кривому лазу, в который намело довольно много снега. Через несколько метров она ощутила, что ползти ей очень трудно — бока все время цеплялись за стены. Ощупав себя руками, она с ужасом поняла, что за те несколько дней, что она пролежала на сене, приходя в себя после шока от гибели Николая, она невероятно растолстела; особенно раздалась талия и места, где раньше росли крылья — теперь там были настоящие мешки жира. В одном особенно узком

участке коридора Марина застряла и даже решила, что теперь ей отсюда не выбраться, но все же после долгих усилий ей удалось доползти до выхода наружу. Баян и свертки лежали на том же месте, где она их и оставила, только были занесены снегом. Подумав, Марина решила не тащить с собой баян и взяла назад только свертки, а баяном изнутри подперла крышку, закрывавшую вход в нору.

Кое-как вернувшись на место, Марина устало поглядела на серую газетную бумагу свертков. Она догадывалась, что найдет внутри, и поэтому не очень спешила их разворачивать. На бумаге крупным псевдославянским шрифтом было напечатано: «*Магаданский муравей*», а сверху был подчеркнутый девиз «*За наш магаданский муравейник!*», набранный готическим курсивом. Ниже была фотография, но что именно на ней изображено, Марина не поняла из-за корки засохшей крови, которой была покрыта нижняя часть свертка; единственное, что она разобрала из подзаголовков, это что номер воскресный и посвящен в основном вопросам культуры. Марину томило незнакомое физическое ощущение, и, чтобы развеяться, она решила немного почитать. Осторожно отвернув начало листа, она увидела с другой его стороны столбцы текста.

Первой шла статья майора Бугаева «Материнство». Увидев перед собой это слово, Марина ощутила, как у нее екнуло в груди. Со всем вниманием, на которое она была способна, она стала читать.

*«Приходя в эту жизнь, — писал майор, — мы не задумываемся над тем, откуда мы взялись и кем мы были раньше. Мы не размышляем о том, почему это произошло — мы просто ползем себе по набережной, поглядывая по сторонам, и слушаем тихий плеск моря».*

Марина вздохнула и подумала, что майор знает жизнь.

*«Но наступает день, — стала она читать дальше, — и мы узнаём, как устроен мир, и понимаем, что наша первая обязанность перед природой и обществом — дать жизнь новым поколениям муравьев, которые продолжат начатое нами великое дело и впишут новые славные страницы в нашу многовековую историю. В этой связи считаю необходимым остановиться на чувствах молодой матери. Во-первых, ей свойственна глубокая и нежная забота о снесенных яйцах, которая находит выражение в постоянном попечении. Во-вторых, ее не оставляет легкая печаль, являющаяся следствием непрестан-*

*ных размышлений о судьбе потомства, часто непредсказуемой в наше беспокойное время. И в-третьих, ее не покидает радостная гордость от сознания...»*

Последнее слово упиралось в ссохшуюся коричневую корку, и Марина, хмурясь от нахлынувших на нее незнакомых чувств, перевела взгляд на соседний столбец.

*«Для коммунистической партии Латвии я оказался чем-то вроде Кассандры»,* — прочла она и отбросила газету.

— А ведь я беременна, — сказала она вслух.

Первое яйцо Марина снесла незаметно для себя, во сне. Ей снилось, что она опять стала молоденькой самочкой и строит снеговика во дворе магаданского оперного театра. Сначала она слепила маленький снежок, потом стала катать его по снегу, и постепенно он становился все больше и больше, но почему-то был не круглым, а сильно вытянутым, и как Марина ни старалась, она не могла придать ему круглую форму.

Когда она проснулась, то увидела, что во сне сбросила с себя штору и, разметавшись, лежит на сене, а на полу возле постели — в том месте, где раньше стояли сапоги Николая, — белеет предмет, точь-в-точь повторяющий странный снежный ком из ее сна. Марина пошевелилась, и на пол скатилось еще одно яйцо. Она испуганно вскочила, и ее тело начало содрогаться в неудержимых, но практически безболезненных спазмах. На пол упало еще несколько яиц. Они были одинаковые, белые и холодные, покрытые мутной упругой кожурой, а по форме напоминали дыни средних размеров; всего их было семь.

«Что ж теперь делать?» — озабоченно подумала Марина, и тут же ей стало ясно что — надо было первым делом вырыть для яиц нишу.

Привычно откидывая совком землю, Марина прислушивалась к своим чувствам и с недоумением замечала, что совсем не испытывает радости материнства, так подробно описанной майором Бугаевым. Единственными ее ощущениями были озабоченность, что ниша выйдет слишком холодной, и легкое отвращение к снесенным яйцам.

Видно, роды отобрали у нее слишком много сил, и, закончив работу, она ощутила усталость и голод. Есть можно было только то, что было в свертке, и Марина решилась.

— Я ведь это не для себя, — сказала она, обращаясь к кубу

темного пространства, в центре которого она сидела на четвереньках. — Я для детей.

В первом свертке оказалась ляжка Николая в заскорузлой от крови зеленой военной штанине. Своими острыми жвалами Марина распорол штанину вдоль красного лампаса и стянула ее как колбасную шкурку. На ляжке у Николая оказалась татуировка — веселые красные муравьи с картами в лапках сидели за столом, на котором стояла бутылка с длинным узким горлышком. Марина подумала, что ничего, в сущности, не успела узнать про своего мужа, и откусила от ляжки небольшой кусок.

На вкус Николай оказался таким же меланхолично-основательным, каким был и при жизни, и Марина заплакала. Она вспомнила его сильные и упругие передние лапки, поросшие редкой рыжей щетиной, и их прикосновения к ее телу, раньше вызывавшие только скуку и недоумение, теперь показались ей исполненными тепла и нежности. Чтобы прогнать тоску, Марина стала читать клочки газеты, лежавшие перед ней на полу.

*«Для негодования уже не остается сил, — писал неизвестный автор, — можно только поражаться бесстыдству масонов из печально знаменитой ложи П-4 («психоанализ-четыре»), уже много десятилетий измывающихся над международной общественностью и простерших свою изуверскую наглость до того, что в центре мировой научной полемики благодаря их усилиям оказались два самых гнусных ругательства древнекоптского языка, которым масоны пользуются для оплевывания чужих национальных святынь. Речь в данном случае идет о выражениях «sigmund freud» и «eric bert», в переводе означающих соответственно «вонючий козел» и «эрегированный волчий пенис». Когда же магаданская наука, последняя из нордических наук, стряхнет с себя многолетнее оцепенение и распрямит свою могучую спину?»*

Марина не понимала, о чем идет речь, но догадывалась, что за газетным обрывком стоит неведомый ей мир науки и искусства, который она мимоходом видела на старом расписном щите возле моря: мир, населенный улыбающимися широкоплечими мужчинами с логарифмическими линейками и книгами в руках, детьми, мечтательно глядящими в неведомую взрослым даль, и небывалой красоты женщинами, замершими у весенних роялей и кульманов в тревожном ожидании счастья. Марине стало горько от того, что она никогда уже не попадет на этот

фанерный щит, но это еще могло произойти с ее детьми, и она ощутила беспокойство за лежащие в нише яйца. Она подползла к ним поближе и стала внимательно их изучать.

Мутная пелена на их поверхности успела рассосаться, и стали видны зародыши. Они совершенно не походили на муравьев и скорее напоминали толстых червячков, но следы их будущего строения были уже различимы. Пять из них были бесполоыми рабочими насекомыми, а шестой и седьмой имели крылышки, и Марина с радостным испугом увидела, что один из них — мальчик, а другой — девочка. Она вернулась к кровати, надергала сена и тщательно обложила им яйца, потом накрыла их снятой с себя шторой и зарылась в остатки сена. Оно неприятно кололо голое тело, но Марина старалась не обращать внимания на это неудобство. Некоторое время она с нежностью глядела на получившееся гнездышко, а потом ее глаза закрылись, и ей начала сниться магаданская наука, распрямляющая спину под черным небом ледовитого океана.

На следующее утро она заметила, что хоть уже долгое время ничего не ела, но растолстела до такой степени, что не только потеряла возможность вылезти в коридор, но и в самой камере помещается лишь потому, что лежит по диагонали, головой к кладке яиц. Ей трудно было представить, что раньше она протискивалась в крохотный квадратный лаз, отверстие которого чернело на стене. Из-за складок жира на шее она даже не могла толком повернуть голову, чтобы посмотреть, какой она стала, но чувствовала, что там, за шеей, течет по своим законам жизнь большого самодостаточного тела, которое уже не совсем Марина — Мариной оставалась только голова с немногими мыслями и пара еще подчиняющихся этой голове лапок (остальные были намертво придавлены брюхом к полу). В теле бродили соки, в его недрах раздавались странные завораживающие звуки, и оно, совершенно не спрашивая у Марины ни разрешения, ни совета, иногда начинало медленно сокращаться или переваливалось с боку на бок. Марина думала, что дело тут в генах: за все время с тех пор, как она стала матерью, она съела только ляжку Николая, и то не потому, что сильно хотелось есть, а чтобы та не испортилась.

Шли дни. Но однажды она проснулась с чувством голода, который не походил ни на что из испытанного ею раньше: сейчас голодна была не худенькая девушка из прошлого, а огромная масса живых клеток, каждая из которых пищала то-

еньким голосом о том, как ей хочется есть. Решившись, Марина подтянула к себе оставшийся сверток, развернула его и увидела бутылку шампанского. Сначала она обрадовалась, потому что так и не попробовала шампанского в театре и часто думала, какое оно на вкус, но потом поняла, что осталась совсем без еды. Тогда она протянула лапки к яичной кладке, выбрала яйцо, в котором медленно созревал бесполой рабочий муравей, подтянула его и, не давая себе опомниться, возила жвалы в хрустнувшую полупрозрачную оболочку. Яйцо оказалось вкусным и очень сытным, и Марина, до того как пришла в себя и вновь обрела контроль над своими действиями, съела целых три.

«Ну и что, — подумала она, чувствуя, как к горлу подступает сытая отрыжка, — пусть хоть кто-то останется. А то все вместе...»

Сильно захотелось шампанского, и Марина стала открывать бутылку. Шампанское хлопнуло, и не меньше трети содержимого белой пеной выплеснулось на пол. Марина расстроилась, но потом вспомнила, что точно так же было в фильме, и успокоилась. Шампанское ей не очень понравилось, потому что в рот из бутылки попадала только пузырящаяся пена, которую трудно было глотать, но все же она допила его до конца, отбросила пустую бутылку в угол и стала изучать газету, в которую та была упакована. Это тоже был номер «Магаданского муравья», но не такой интересный, как прошлый. Почти весь его объем занимал репортаж с магаданской конференции сексуальных меньшинств; это ей было скучно читать, но зато на большой групповой фотографии она нашла автора статьи о материнстве майора Бугаева — он был, как следовало из подписи, пятый сверху.

Отложив газету, Марина прислушалась к ощущениям от собственного тела. Не верилось, что все это толстое и огромное и есть она. Или, наоборот, этому огромному и толстому уже не верилось, что оно — это Марина.

«А вот начну с завтрашнего дня спортом заниматься, — чувствуя, как из живота медленно поднимается пузырящаяся надежда, подумала Марина, — похудею, опять пророю ход на юг, к морю... И найду того генерала, который Николая хвалил. Он на мне женится, и...»

Дальше Марина боялась даже думать. Но она ощутила, что она еще молода, полна сил и, если не сдаваться обстоя-

тельствам, вполне можно начать все сначала. Потом она задремала и спала очень долго, без сновидений.

Разбудили ее чавкающие звуки. Марина открыла глаза и обомлела. Из угла на нее смотрели два больших ничего не выражающих глаза. Сразу под глазами были острые сильные челюсти, которые быстро что-то перетирали, а ниже располагалось небольшое червеобразное тельце белого цвета, покрытое короткими и упругими чешуйками.

— Ты кто? — испуганно спросила Марина.

— Я твоя дочь Наташа, — ответило существо.

— А что это ты ешь? — спросила Марина.

— Яйца, — невинно прошамкала Наташа.

— А...

Марина поглядела на нишу с яйцами, увидела, что та совершенно пуста, и подняла полные укора глаза на Наташу.

— А что делать, мам, — сквозь набитый рот ответила та, — жизнь такая. Если б Андрюшка быстрее вылупился, он бы сам меня слопал.

— Какой Андрюшка?

— Братишка, — ответила Наташа. — Он мне говорит, значит, давай маму разбудим. Прямо из яйца еще говорит. Я тогда говорю — а ты, если б первый кожуру прорвал, стал бы маму будить? Он молчит. Ну я и...

— Ой, Наташа, ну разве так можно, — прошептала Марина, покачивая головой и разглядывая Наташу. Она уже не думала о яйцах: все остальные чувства отступили перед удивлением, что это странное существо, запростодвигающееся и разговаривающее, — ее родная дочь. Марина вспомнила фанерный щит у видеобара, изображавший недостижимо прекрасную жизнь, и попыталась в своем воображении поместить на него Наташу. Наташа молча на нее глядела, потом спросила:

— Ты чего, мам?

— Так, — сказала Марина. — Знаешь что, Наташа, сползайка в коридор. Там баян стоит. Принеси его сюда, только осторожней, смотри, чтобы крышка вниз не упала. Снегу наметет.

Через несколько минут Наташа вернулась с источающей холод черной коробкой.

— Теперь послушай, Наташа, — сказала Марина. — У меня была тяжелая и страшная судьба. У твоего покойного папы — тоже. И я хочу, чтобы с тобой все было иначе. А жизнь — очень непростая вещь.

Марина задумалась, пытаясь в несколько слов сжать весь свой горький опыт, все посещавшие ее долгими магаданскими ночами мысли, чтобы передать Наташе главный итог своих раздумий.

— Жизнь, — сказала она, отчетливо вспомнив торжествующую улыбку на лице завернутой в лимонную штору сраной уродины, — это борьба. В этой борьбе побеждает сильнейший. И я хочу, Наташа, чтобы победила ты. С сегодняшнего дня ты будешь учиться играть на баяне твоего отца.

— Зачем? — спросила Наташа.

— Ты станешь работником искусства, — объяснила Марина, кивая на черную дыру в стене, — и пойдешь работать в магаданский военный оперный театр. Это прекрасная жизнь, чистая и радостная (Марина вспомнила генерала со сточенными жвалами и парализованными мышцами лица), полная встреч с самыми удивительными людьми. Хочешь ты так жить? Поехать во Францию?

— Да, — тихо ответила Наташа.

— Ну вот, — сказала Марина, — тогда начнем прямо сейчас.

Успехи Наташи были удивительными. За несколько дней она так здорово выучилась играть, что Марина про себя решила: все дело в отцовской наследственности. Единственной нотной записью, которую они с Наташей нашли в «Магаданском муравье», оказалась музыка песни «Стража на Зее», приведенная там в качестве примера истинно магаданского искусства. Наташа стала играть сразу же, прямо с листа, и Марина потрясенно вслушивалась в рев морских волн и завывание ветра, которые сливались в гимн непреклонной воле одолевшего все это муравья, и размышляла о том, какая судьба ждет ее дочь.

— Вот такие песни, — шептала она, глядя на быстро скачущие по клавишам пальцы Наташи.

Как-то Марина подумала о мелодии из французского фильма и напела дочке то, что смогла. Наташа сразу же подхватила мотив, сыграла его несколько раз, а потом поразмышляла и сыграла его несколько иначе, и Марина вспомнила, что именно так в фильме и было. После этого она окончательно поверила в свою дочь, и когда Наташа засыпала рядом, Марина заботливо накрывала шторой беззащитную белую колбаску ее тельца, словно Наташа была еще яйцом.

Иногда по вечерам они начинали мечтать, как Наташа станет известной артисткой и Марина придет к ней на концерт, сядет в первый ряд и даст наконец волю гордым материнским слезам. Наташа очень любила играть в такие концерты — она садилась перед матерью на фанерную коробку, прижимала баян к груди и исполняла то «Стражу на Зее», то «Подмосковные вечера»; Марина в самый неожиданный момент прерывала ее игру тоненьким криком «браво» и начинала истово бить друг о друга двумя последними действующими лапками. Тогда Наташа вставала и кланялась; выходило это у нее так, словно всю свою жизнь перед этим она ничего другого не делала, и Марине оставалось только клоком сена размазывать по лицу сладкие слезы. Она чувствовала, что живет уже не сама, а через Наташу, и все, что ей теперь нужно от жизни, — это счастья для дочери.

Но шли дни, и Марина стала замечать в дочери странную вялость. Иногда Наташа замирала, баян в ее руках смолкал, и она надолго уставлялась в стену.

— Что с тобой, девочка? — спрашивала Марина.

— Ничего, — отвечала Наташа и принималась играть вновь.

Иногда она бросала баян и уползала в ту часть камеры, которой Марина не могла видеть, и не отвечала на вопросы, занимаясь там непонятным. Иногда к ней приходили друзья и подружки, но Марина не видела их, а слышала только молодые самоуверенные голоса. Однажды Наташа спросила ее:

— Мама, а кто лучше живет — муравьи или мухи?

— Мухи-то лучше, — ответила Марина, — но до поры до времени.

— А после поры да времени?

— Ну как тебе сказать, — задумалась Марина. — Жизнь у них, конечно, неплохая, но очень неосновательная и, главное, без всякой уверенности в будущем.

— А у тебя она есть?

— У меня? Конечно. Куда я отсюда денусь.

Наташа задумалась.

— А в моем будущем у тебя уверенность есть? — спросила она.

— Есть, — ответила Марина, — не волнуйся, милая.

— А ты можешь так сделать, чтобы ее у тебя больше не было?

— Что? — не поняла Марина.

— Ну, можешь ты так сделать, чтобы не быть насчет меня ни в чем уверенной?

— А почему ты этого хочешь?

— Почему, почему. Да потому что пока у тебя будет уверенность в моем будущем, я отсюда тоже никуда не денусь.

— Ах ты дрянь неблагодарная, — рассердилась Марина. — Я тебе все отдала, всю жизнь тебе посвятила, а ты...

Она замахнулась на Наташу, но та быстро уползла в угол камеры, где Марина не могла ее даже видеть.

— Наташа, — через некоторое время позвала Марина, — слышишь, Наташа!

Но Наташа не отвечала. Марина решила, что дочь обиделась на нее, и решила больше ее не трогать. Опустив голову, она задремала. Утром на следующий день она очень удивилась, не нащупав рядом маленького упругого Наташиного тельца.

— Наташа! — позвала она.

Никто не отозвался.

— Наташа! — повторила Марина и беспокойно заерзала на месте.

Наташа не отзывалась, и Марина испытала самую настоящую панику. Она попробовала повернуться, но огромное жирное тело совершенно ей не подчинялось. У Марины мелькнула мысль, что оно, может быть, еще в состоянии двигаться, но просто не понимает, чего Марина от него хочет, или не в состоянии расшифровать сигналы, идущие от мозга к его мышцам. Марина сделала колоссальное волевое усилие, но единственным ответом тела было раздавшееся в его недрах тихое урчание. Марина попыталась еще раз, и ее голова немного повернулась вбок. Стал виден другой угол камеры, и Марина, изо всех сил выворачивая глаз, рассмотрела висящий под потолком небольшой серебристый кокон, состоящий, как ей показалось, из множества рядов тонких шелковых нитей.

— Наташа, — опять позвала она.

— Ну что, мам? — долетел из кокона тихий-тихий голос.

— Ты что это? — спросила Марина.

— Известно что, — ответила Наташа. — Окуклилась. Пора уже.

— Окуклилась? — переспросила Марина и заплакала. — Что ж ты меня не позвала? Совсем уже взрослая стала, выходит?

— Выходит так, — ответила Наташа. — Своим умом теперь жить буду.

— И что ты делать хочешь, когда вылупишься? — спросила Марина.

— А в мухи пойду, — ответила Наташа из-под потолка.

— Шутишь?

— И ничего не шучу. Не хочу так, как ты, жить, понятно?

— Наташенька, — запричитала Марина, — цветик! Опомнись! В нашей семье такого позора отроду не было!

— Значит, будет, — спокойно ответила Наташа.

На следующее утро Марина проснулась от скрипа. Висящий под потолком кокон слегка покачивался, и Марина поняла, что Наташа готова вылупиться.

— Наташа, — стараясь говорить спокойно, начала Марина, — пойми. Чтобы пробиться к свободе и солнечному свету, надо всю жизнь старательно работать. Иначе это просто невозможно. То, что ты собираешься сделать, — это прямая дорога на дно жизни, откуда уже нет спасенья. Понимаешь?

Кокон треснул по всей длине, и из появившегося в его верхней части отверстия высунулась голова — это была Наташа, но совсем не та девочка, с которой Марина долгими вечерами играла в магаданские концерты.

— А мы, по-твоему, где живем? На потолке, что ли? — грубо отозвалась она.

— Смотри, — с угрозой сказала Марина, еле удерживая взгляд на коконе, — вернешься вся ободранная, яиц в подоле принесешь — на порог тебя не пущу.

— Ну и не надо, — отвечала Наташа.

Она уже разорвала стенку кокона, и вместо скромного муравьиного тельца с четырьмя длинными крыльями Марина увидела типичную молодую муху в блядском коротеньком платьице зеленого цвета с металлическими блестками. Наташа была, конечно, красива — но совсем не целомудренной и быстрорастворимой красотой муравьиной самки. Она выглядела крайне вульгарно, но в этой вульгарности было нечто завораживающее и притягательное, и Марина поняла, что мордастый мужчина из французского фильма, случись ему выбирать между Мариной, какой она была в молодости, и Наташей, выбрал бы, несомненно, Наташу.

— Проститутка! — выпалила Марина, чувствуя, как к оскорбленным родительским чувствам примешивается женская ревность.

— Сама проститутка, — не оборачиваясь, отозвалась Наташа, занятая своей прической.

— Ты... Ах ты... — зашипела Марина, — на мать... Прочь из моего дома! Слышишь, прочь!

— Сейчас сама уйду, — сказала, заканчивая туалет, Наташа. — Больно надо.

— Немедленно! — закричала Марина. — Какими словами на мать! Прочь отсюда!

— И баян мне твой надоел, старая дура, — бросила Наташа. — Сама на нем играй, пока не подохнешь.

Марина уронила голову на сено и в голос зарыдала. Она ожидала, что через несколько минут Наташа опомнится и приползет извиняться, и даже решила не извинять ее сразу, а некоторое время помучить, но вдруг услышала звяканье врезающегося в землю совка.

— Наташа, — закричала она, чудовищным усилием поворачивая голову, — что ты делаешь!

— Ничего, — ответила Наташа, — наружу выбираюсь.

— Так вон ведь выход! Ты что, хочешь все разрушить, что мы с отцом построили?

Наташа не ответила — она продолжала сосредоточенно копать и, какие бы материнские проклятия ни обрушивала на ее голову Марина, даже не оборачивалась. Тогда Марина, как могла, приблизила голову к черной дыре в стене и завопила:

— Помогите! Люди добрые! Полиция!

Но ответом ей было только далекое завывание ледяного ветра.

— Спасите! — опять заорала Марина.

— Да чего ты орешь, — тихо сказала из-под потолка Наташа, — во-первых, добрых людей там нет, а во-вторых, все равно никто не услышит.

Марина поняла, что дочь права, и впала в оцепенение. Под потолком мерно позвякивал совок, так продолжалось час или два, а потом в камеру упал солнечный луч и ворвался полный забытых запахов свежий воздух; Марина вдохнула его и неожиданно поняла, что тот мир, который она считала навсегда ушедшим в прошлое вместе с собственной юностью, на самом деле совсем рядом и там началась осень, но еще долго будет тепло и сухо.

— Пока, мама, — сказала Наташа.

«Улетает», — поняла наконец Марина и закричала:

— Наташа! Сумку хоть возьми!

— Спасибо! — крикнула сверху Наташа. — Я взяла!

Она чем-то прикрыла прорытую наверх дыру, и в камере опять стало темно и холодно, но тех нескольких секунд, пока светило солнце, хватило Марине, чтобы вспомнить, как все было на самом деле в тот далекий полдень, когда она шла по набережной и жизнь тысячью тихих голосов, доносящихся от моря, из шуршащей листвы, с неба и из-за горизонта, обещала ей что-то чудесное.

Марина поглядела на стопку газет и с грустью поняла, что это все, что у нее осталось, — точнее, все, что осталось для нее у жизни. Ее обида на дочь прошла, и единственное, чего она хотела, — это чтобы Наташе повезло на набережной больше, чем ей. Марина знала, что дочь еще вернется, но знала и то, что теперь, как бы близко к ней ни оказалась Наташа, между ними всегда будет тонкая, но непрозрачная стена — словно то пространство, где они когда-то играли в магаданские концерты, вдруг разделила доходящая до потолка комнаты глухая желтая ширма.

## 14. ВТОРОЙ МИР

— ...избавиться от ощущения, — говорил Митя, стоя с закрытыми глазами в центре площадки под шестом маяка, — что он копает крыльями пустоту, и из последних сил удерживая себя от догадки, что всю предшествовавшую жизнь он занимался именно этим. Пока вместе с сотнями других цикад он летел к далекой горе, второй раз в жизни видя мир таким, как он есть, вокруг стемнело и ему стало казаться, что он потерял дорогу — хотя куда именно он летит, он твердо не знал, — но тут он вспомнил, что стоит между черными кустами терновника и торчущими из земли выветренными скалами причудливой формы, которые с того места, где он находился, казались просто участками неба без звезд..

Он несколько раз моргнул и слегка надавил на веки пальцами. За ними разлилось слабое голубоватое сияние, но яркой точки, которая сияла там несколько минут назад, уже не было.

— Все. Больше ничего не вижу, — сказал он. — И сколько все это продолжалось?

Дима пожал плечами.

— Хотя да, — сказал Митя. — Понятно.

— Цикады — наши близкие родственники, — сказал Дима. — Но они живут в совершенно другом мире. Я бы сказал, что это подземные мотыльки. Там все так же, как у нас, но совсем нет света. Поэтому, когда они решают, куда им лететь, им приходится верить остальным на слово.

Он повернулся и пошел вверх по тропинке. Митя пошел следом, и через минуту или две они вышли на плоскую площадку между скалами, один край которой обрывался в пустоту. Отсюда было видно море с широкой лунной дорогой — даже не дорогой, а целой взлетно-посадочной полосой — и еще было видно дрожащее сияние на берегу.

— Странно, — сказал Митя. — Как будто все то, к чему мы с таким трудом пытаемся всю жизнь вернуться, на самом деле никуда и не исчезало. Как будто кто-то завязывает нам глаза, и мы перестаем это видеть.

— Хочешь узнать, кто?

— Хочу, — сказал Митя.

— Это хорошо, что ты хочешь, — сказал Дима, — потому что в любом случае придется.

Митя вздрогнул.

— Что значит придется?

— Видишь ли, — сказал Дима, — своими недавними действиями ты растревожил одно очень могущественное существо. Ему все это ужасно не понравилось. И сейчас оно явится за тобой.

— А какое ему до меня дело? — спросил Митя.

— Оно считает, что ты находишься в его полной власти. Принадлежишь ему. А то, что ты пытаешься делать, этой власти угрожает. И существо нападет на тебя с минуты на минуту.

— Кто это?

— Труп, — сказал Дима как нечто само собой разумеющееся.

— Чей труп?

— Твой, — сказал Дима, — чей же еще.

— Ты хочешь сказать, что я умру?

— В каком-то смысле, — ответил Дима. — Когда я говорю «труп», я имею в виду, что тебя ждет тот, кто сейчас живет вместо тебя. На мой взгляд, самое худшее, что с тобой может произойти, — это то, что он и дальше будет жить вместо тебя. А если умрет он, вместо него будешь жить ты.

— Кто это живет вместо меня? И как труп может умереть?

— Хорошо, — сказал Дима, — не живет, а мертвец. Это всё слова. Не важно. Все равно бесполезно говорить. Иди, и сам все увидишь.

— А ты? — спросил Митя.

— С ним можешь встретиться только ты сам, — сказал Дима. — И все, что случится дальше, тоже зависит только от тебя.

— Опять в кусты идти? — спросил Митя. — Сколько можно.

— Не знаю, где он тебя найдет. Но он уже здесь. Совсем рядом.

— Где? — испуганно спросил Митя.

Дима засмеялся и не ответил. Он подошел к краю площадки, почти к самому обрыву в море, и отвернулся, словно не желая иметь никакого отношения к тому, что происходит за его спиной.

Митя огляделся по сторонам. Вокруг были скалы самых разных форм; на некоторых из них росли пучки травы, которую шевелил ветер, из-за чего казалось, что шевелятся сами камни. Застывшая фигура Димы казалась со спины темным каменным выступом, словно он превратился в одну из скал.

Больше на площадке ничего не было. Митя подошел к началу тропинки, по которой они только что прошли, и, цепляясь за кусты и камни, стал спускаться вниз. Прошлый раз он шел за Димой и даже не заметил, насколько трудно здесь идти — словно тогда вокруг было светлее. Теперь, когда Луну закрыл каменный гребень, приходилось на шаривать ногой следующий камень и ощупью находить ветки, чтобы схватиться за них. Через несколько метров Мите показалось, что он завис в темной пустоте, держась за несколько непонятно откуда взявшихся в ней каменных выступов, и нет никакой гарантии, что впереди окажется хоть какая-то опора. Он замер на месте.

«А куда я иду? — подумал он. — И зачем?»

Он закрыл глаза и попытался прислушаться к своим ощущениям и мыслям, но их не было. Было просто темно, прохладно и тихо. Можно было продолжить спуск вниз, а можно было вернуться на площадку, где остался Дима; казалось, что между этими двумя действиями нет никакой разницы.

Митя попытался сделать еще один шаг, и из-под его подошвы вывернулся камень — он чуть не покатился вслед за этим камнем, но в последний момент успел схватиться за усыянную шипами ветку, которая глубоко расцарапала ему кожу на ладони. Камень несколько раз стукнулся о скалы, с шорохом врезался в листву, и опять стало тихо.

«Что же со мной происходит? — подумал Митя, облизывая кровоточащую ладонь. — Как это оказалось, что я стою в полной темноте в непонятном месте и дожидаясь собственного трупа? Это что, я к свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь я же совсем другого искал. Может, я и сам не знаю чего, но никак не этого, точно».

Подул ветер, и внизу зашуршали невидимые листья.

«Сейчас пойду и скажу ему, что с меня хватит... Кто он такой вообще и откуда он взялся? С другой стороны, конечно, бессмысленный вопрос... Оттуда же, откуда и я. И говорит он тоже правильно. Но ведь я это и без него всегда знал. И еще много другого знал, кстати... Куда только это делось...»

Митя попытался вспомнить это другое, и перед ним, почти

как в колоде, промелькнуло несколько отрывистых картин, вместе похожих на фильм, склеенный из разных слайдов. Оказалось, что лучшее связано с очень простым, таким, о чем никому и не расскажешь. Это были моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл и становилось ясно, что она на самом деле никогда его не теряла, а терял его сам Митя. Но причина того, что этот смысл становился виден опять, была непонятна, а картинки на сменяющихся в его памяти слайдах были самыми обычными — например, проходящие по ночному потолку полосы света, похожие на лучи зенитных прожекторов, которые никак не могут поймать люстру, или вид из поезда на длинное вечернее небо, уходящее в просеку за пыльным окном, или несколько неотшлифованных бутылочных изумрудов на ладони. Но странное и невыразимое знание, связанное со всем этим, давно исчезло, а то, что осталось в памяти, больше всего походило на сохранившиеся фантики от конфет, съеденных каким-то существом, уже давно живущим в нем, постоянно и незаметно присутствующим в любой мысли (кажется, что среди мыслей оно и жило), но все время прячущимся от прямого взгляда.

А сейчас, сразу же понял Митя, это существо, незаметно жевавшее его почти всю жизнь и сожравшее его почти целиком, просто не успело отпрыгнуть. Это и был труп.

Но с ним ничего нельзя было сделать — разве что подобрать камень побольше и ударить самого себя по голове.

Митя еще раз нащупал ногой темную пустоту внизу, повернулся и стал карабкаться назад. Лезть вверх было проще, и через минуту он уже был на ярко освещенной лунным светом площадке.

Дима стоял там же, в той же позе и так же неподвижно, и Митя с раздражением подумал, что в его поведении, пожалуй, слишком много пафоса.

— Я все понял, — сказал он. — Понял, о чем ты говорил. Эй. Он похлопал Диму по плечу, и тот медленно обернулся. Это был не Дима.

Это было то самое существо, мысль о существовании которого за минуту перед этим мелькнула в Митином сознании. Ошибиться было невозможно, хотя Митя не мог сказать, откуда у него возникла эта уверенность. Но в тот же момент, когда он увидел перед собой собственное лицо, только синее и усталое, он вспомнил место из старой японской книги, где человеку снится кошмар, в котором он бежит вдоль берега

моря от самого себя, вставшего из гроба. С ним сейчас происходило то же самое, только не было гроба, берег моря находился далеко внизу, и проспать было некуда.

Митя попятился, и труп шагнул за ним. Митя кинулся к ведущей вниз тропинке, но, представив себе, как он снова повиснет на ветках, затормозил, чуть помешкал, решая, куда бежать, и почувствовал, как за левое плечо его схватила собственная ладонь.

Труп медленно и немного карикатурно, в духе гигиеничных американских ужасов, поднял руки, схватил Митю за горло, и Митя почувствовал, что тоже кого-то душит. Он изо всех сил сжал пальцы и понял, что еще секунда — и он задохнется. Тогда он чуть ослабил хватку и почувствовал, что может сделать вдох. Он убрал руки, и одновременно разжались пальцы на его горле.

«Понятно», — подумал Митя, повернулся, поднял ногу, чтобы шагнуть, и почувствовал, что его за левое плечо опять схватила собственная ладонь. Он испытал мгновенный приступ ярости, лягнул труп ногой и, придя в себя, обнаружил, что стоит на четвереньках. Он встал, со свистом втягивая воздух в непослушные легкие. Это было тяжело не только потому, что от удара перехватило дыхание, а еще и потому, что пальцы трупа опять с тупым усердием сомкнулись на его шее, и чтобы сделать вдох, ему пришлось ослабить собственную хватку на холодном синем горле. Митя сделал еще одну попытку отцепиться от трупа, но хоть его движения были быстрыми и сильными, а труп двигался крайне медленно и вяло, это не удалось.

— Ну что? Долго так стоять будем? — спросил Митя.

Труп не отвечал. Приглядевшись, Митя заметил, что его веки чуть приоткрыты и он словно бы смотрит вниз. Труп тихо-тихо дышал и, как почему-то показалось Мите, пытался о чем-то вспомнить.

— Эй, ты! — позвал Митя.

— Сейчас, — сказал труп и опять тихо задышал.

«А может, — мелькнула у Мити мысль, — просто его задушить надо? А самому потерпеть чуть-чуть».

Он стал осторожно вдыхать, чтобы набрать в легкие достаточно воздуха, но почувствовал, что пальцы трупа сдавили его горло и с каждой секундой их нажим становится сильнее. Митя попытался отодрать холодные пальцы от своего горла, но это не помогло — труп, кажется, решил задушить его пер-

вым. Митя всерьез испугался, и пальцы трупа на его горле тут же оторопело разжались.

«Нет, — подумал Митя, — так не выйдет. А может, перекрестить его? На всякий случай? Хуже ведь не будет».

Вдруг труп высвободил одну руку, торопливо перекрестил Митю и опять схватил его за горло.

«Не помогает», — подумал Митя и только тут наконец понял, что все то, что он думает, думает не он, а труп.

— Эй, — раздался сверху Димин голос, — ты еще долго с ним обниматься будешь?

Митя поднял глаза. Дима, свесив ноги, сидел на высоком камне в нескольких метрах справа и глядел на вяло текущую внизу схватку.

— Дай ему по яйцам, — посоветовал он. — А потом, когда согнется, — замком по шее.

— Что с ним делать? — просипел Митя.

— Не знаю, — ответил Дима. — Это ведь не мой труп, а твой. Делай что хочешь. Все в твоих руках.

Несколько минут Митя стоял напротив трупа, глядя ему в лицо. Ничего ужасного в этом лице не было — оно было спокойным, усталым и грустным, как будто труп держался руками не за его горло, а за поручень вагона метро, в котором возвращался домой с давно обрыдлой работы.

— Если бы это, не дай Бог, происходило со мной, — наконец сказал Дима со своего камня, — я бы перво-наперво как следует рассмотрел, кто передо мной стоит.

Митя еще раз поглядел на усталое лицо трупа и заметил на нем почти неуловимую гримасу легкой грусти и обиды, тень какой-то несбывшейся мечты. И вместо отвращения и страха он испытал к своему трупу искреннюю жалость, а как только это случилось, холодные пальцы опять сжали его горло. Но на этот раз Митя ясно чувствовал, что его душит внешняя сила, и никак не мог ослабить хватку на своем горле. Он изо всех сил пнул ногой голень трупа и только ушиб пальцы ноги — казалось, он ударил железный столб. Перед его глазами замелькали разноцветные полосы и точки, он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, и понял, что, задушив его, труп пойдет домой дочитывать Марка Аврелия.

И тут его внимание привлекло одно из плясавших перед его глазами цветных пятен. Точнее, как раз это маленькое голубое пятнышко не плясало, а оставалось на месте, поэтому

Митя его и заметил. Это была та самая голубая точка, которая пропала после того, как он разглядел с ее помощью цикаду. Митя понял, что снова может смотреть с помощью этой точки, взглянул на утомленное синее лицо перед своими глазами и почувствовал, что его пальцы сжимают уже не горло, а что-то мягкое и чуть влажное.

Перед ним на земле стоял большой навозный шар, и его руки уходили в него почти по локоть.

Он вытащил их, несколько раз брезгливо потрянул и повернулся к Диме, который спрыгнул с камня и подошел к шару.

— Что это? — спросил Митя.

— А то ты сам не знаешь, — сказал Дима. — Навозный шар.

Это было правдой. Митя знал, что это, и отлично знал, что с этим делать.

«Сколько ты у меня украл, — подумал он, с ненавистью глядя на шар, — ведь вообще все, что было, украл...»

Следующим, что он понял, было то, что думает опять не он, а шар. У него самого ничего украсть было нельзя, да и думать ему было особо ни к чему. Он поднял было ногу, собираясь пнуть этот огромный кусок навоза, но понял, что бить некого, и в этом было самое обидное. Осторожно, чтобы не увязли руки, он нажал на поверхность шара — тот стронулся с места неожиданно легко, — подкатил его к обрыву и толкнул вперед.

Шар прокатился несколько метров по крутому склону, оторвался от него и исчез из виду. А через несколько долгих мгновений снизу долетел громкий всплеск.

Митя огляделся. Димы нигде не было видно. Потом он заметил слабый дрожащий свет, мелькнувший в расщелине между двумя скалами, и подумал, что Дима там. Дойдя до расщелины, он щелкнул зажигалкой, протянул ее вперед и шагнул через похожий на порог каменный выступ. Скалы смыкались над головой, образуя подобие высокой пещеры. Митя увидел впереди слабый огонек, как будто у Димы в руках догорала спичка, и позвал:

— Дима! Где ты?

Тот не ответил.

— Кто ты такой? — крикнул Митя и пошел вперед.

Огонек тронулся ему навстречу, и через несколько шагов его вытянутая вперед рука с быстро нагревающейся зажигалкой уперлась в непонятно как оказавшееся здесь зеркало в тяжелой полукруглой раме из темного дерева.

## 15. ЭНТОМОПИЛОГ

— То есть я как хочу сделать, Паш, — тонким тенором говорил Арнольду Сэм, — я туда поеду и возьму корыто, а назад своим ходом. Тут я корыто продам, а продам я его, Паша, круто. Они сейчас дорогие. И тогда у меня с прибабахом на два новых выйдет.

Свесив ноги, они сидели на высоком деревянном заборе в начале набережной. Пальцы Сэма были вжаты в пластмассовые бока чемоданчика с такой силой, что их ногти побелели, а лицо было покрыто маленькими бусинками пота и до крайности сосредоточено; глядел он в сторону моря, но явно видел на его месте что-то другое.

— Но это, понятно, через баксы, — продолжал он, — а то их все сейчас продали, вот с рублями, козлы, и остались. Ты ведь понимаешь, Паш, не на голое место еду. А кстати, тебе охотничий билет нужен?

— Зачем это? — спросил Арнольд.

— А чтоб официально на стене висело. Если придут квартиру грабить — снимешь и... Ты подумай только, Паш, какая сильная вещь! Я сейчас оформляю себе — четыре инстанции надо пройти, и везде взятки платишь. Выходит примерно два с полтиной. И еще у меня одна мысль есть...

Снизу послышался скрип, и Арнольд увидел приближающийся к забору навозный шар, облепленный зелеными и желтыми листьями. «Уже осень», — подумал он с грустью.

За шаром бежал маленький мальчик.

— Эй, — крикнул он, — вас зовут! Просили к столикам подойти.

— Кого зовут? — спросил Арнольд. — И кто?

— Не знаю, — ответил мальчик. — Просто просили передать, что с Наташей плохо. Вы не знаете, где тут пляж? А то в тумане не видно ничего.

— Прямо, — сказал Арнольд и неопределенно махнул рукой.

— Спасибо, — недоверчиво сказал мальчик.

Он толкнул свой шар дальше, и Арнольд некоторое время глядел ему вслед, прислушиваясь к путаному бормотанию Сэма.

— А если ты хочешь, Паш, — говорил тот, — поезжай со мной в Венгрию. Билет шестьдесят долларов, дорогой, но поехать стоит. И насчет ружья тоже подумай — вещь очень сильная...

Арнольд потряс его за плечо.

— Сэм, — сказал он, — очнитесь.

Сэм встрепенулся, помотал головой и поглядел по сторонам. Потом он раскрыл чемодан, поплевал красным в стеклянную баночку и спрятал ее назад.

— Это уже интересней, — своим обычным голосом сказал он, — здесь хоть какая-то перспектива видна. Что случилось?

— Не знаю, — сказал Арнольд. — С Наташей плохо.

— О Господи, — сказал Сэм, — вот оно. Начинается.

Он спрыгнул на газон и стал ждать, пока Арнольд завершит сложные эволюции с переносом веса, полным оборотом жирного тела на сто восемьдесят градусов и повисанием на руках.

— Если хотите знать мое мнение, — сказал Арнольд, грузно приземлившись в траву, — в таких ситуациях надо вести себя жестко с самого начала. Иначе обоим будет только хуже. Никогда не подавайте никаких надежд.

Сэм ничего не сказал. Они вышли на набережную и молча пошли в сторону летнего кафе.

У одного из его столиков собралась небольшая толпа, и уже при первом взгляде на нее было ясно, что произошло что-то нехорошее. Сэм побледнел и побежал вперед. Растворив зрителей, он протиснулся вперед и замер.

Со стола свисал, покачиваясь под ветром, узкий желтый лист липучки. К нему пристало несколько мелких листьев и бумажек, а в самом его центре, бессильно склонив голову, висела Наташа. Ее крылья были распластаны по поверхности листа и уже успели пропитаться ядовитой слизью; одно было отогнуто в сторону, а другое непристойно задрано вверх. Под ее закрытыми глазами чернели синяки в пол-лица, а зеленое платьице, когда-то пленившее Сэма своим веселым блеском, теперь потускнело и покрылось бурными пятнами.

— Наташа! — вскрикнул Сэм, кидаясь вперед. — Наташа!

Его удержали. Наташа открыла глаза, заметила Сэма и с испугом поправила челку на лбу. Усилие, видимо, оказалось

для нее чрезмерным — ее рука бессильно упала и впечаталась в ядовитый клей.

— Сэм, — с усилием открывая рот, сказала она, — хорошо, что ты пришел. Видишь, как...

— Наташа, — прошептал Сэм, — прости.

— Представляешь, Сэм, — тихо заговорила Наташа, — я ведь, как дура, перед зеркалом тренировалась. Плиз чиз энд пепперони. Думала, уеду с тобой...

Ветер донес от репродуктора над лодочной станцией еле слышную трель балалайки.

— Понимаешь, Сэм, не в Америку, а с тобой... Волновалась, как я там... Помнишь, как мы купаться ходили? А мама, представляешь, из своей шторы мне новое платье сшила. Я и не знала, смотрю — на диване лежит. Все говорила: Наташенька, поиграй мне еще на баяне, а то уедешь скоро насовсем... Только ей не говорите... Пусть думает, что я не попрощавшись уехала...

Наташа опустила голову, и на ее длинных ресницах заблестели маленькие капельки слез.

— Осторожно, — раздался слева женский бас. — Пропустите-ка.

К столику подошла официантка с багровым лишаем на строгом, как у судьбы, лице. В ее руке была огромная алюминиевая кастрюля с красной надписью «III отряд». Официантка поставила кастрюлю на землю, вытряхнула туда остатки пищи из стоявших на столе тарелок, а потом одним движением сильной и жестокой ладони сорвала со стола лист липучки с Наташей, смяла его в маленький желтый комок и кинула следом. Сэма опять удержали на месте чьи-то руки. Официантка прикрепил к столу свежую липучку, подхватила кастрюлю и пошла к следующему столу. Граждане стали расходиться, а Сэм все стоял на месте и глядел на свисающую со стола липкую желтую полоску.

— Пойдемте, Сэм, — услышал он тихий голос Арнольда. — Ей уже все равно не помочь. Идемте. Вам выпить надо, вот что. Пойдемте к Артуру, он сейчас в домик к покойному Арчибальду переехал. Две цистерны поставил и факс. Там тихо, уютно. Не смотрите только на эту липучку, я вас умоляю...

— Разрешите пройти.

Сэм поднял заплаканные глаза. Перед ним стояла странная фигура в чем-то вроде серебристого плаща, край которо-

го волочился по земле — или, может быть, это были сложенные за спиной тяжелые длинные крылья.

— Разрешите пройти, — повторила фигура. — А если вам стало грустно, перечитайте страницу сорок шесть.

Сэм кивнул и шагнул в сторону.

Крупный навозный шар необычного красноватого отлива откатился в сторону, и навстречу поплыла длинная пустынная набережная. Далеко впереди стоял шезлонг, в котором полулежал еще один навозный шар, рыжевато-черный. Когда шезлонг оказался ближе, стало видно, что это толстый рыжий муравей в морской форме; на его бескозырке золотыми буквами было выведено «*Иван Крылов*», а на груди блестел такой огород орденских планок, какой можно вырастить только унавозив нагрудное сукно долгой и бессмысленной жизнью. Держа в руке открытую консервную банку, он слизывал рассол с американской гуманитарной сосиски, а на парашюте перед ним стоял переносной телевизор, к антенне которого был прикреплен треугольный белый флажок. На экране телевизора в лучах нескольких прожекторов пританцовывала стрекоза.

Налетел холодный ветер, и муравей, подняв ворот бушлата, наклонился вперед. Стрекоза несколько раз подпрыгнула, расправила красивые длинные крылья и запела:

Только никому  
Я не дам ответа,  
Тихо лишь тебе я прошепчу...

Рыжий затылок муравья, по которому хлестали болтающиеся на ветру черные ленточки с выцветшими якорями, стал быстро наливать темной кровью.

Дмитрий сунул руки в карманы и пошел дальше. С его крыла сорвалась чешуйка и, качнувшись под ветром, приземлилась на покрытый облетевшими листьями бетон. Она была размером примерно с ладонь, с одного края лиловая, расщепленная на несколько темнеющих к концу хвостов, а с другого — белая, плавно сходящаяся в сияющую точку.

...Завтра улечу  
В солнечное лето,  
Будду делать все что захочу.

# ЗАТВОРНИК И ШЕСТИПАЛЫЙ

повесть





— Отвали.

— ?..

— Я же сказал, отвали. Не мешай смотреть.

— А на что это ты смотришь?

— Вот идиот, Господи... Ну, на солнце.

Шестипалый поднял взгляд от черной поверхности почвы, усыпанной едой, опилками и измельченным торфом, и, щурясь, уставился вверх.

— Да... Живем, живем — а зачем? Тайна веков. И разве постиг кто-нибудь тонкую нитевидную сущность светил?

Незнакомец повернул голову и посмотрел на него с брезгливым любопытством.

— Шестипалый, — немедленно представился Шестипалый.

— Я Затворник, — ответил незнакомец. — Это у вас так в социуме говорят? Про тонкую нитевидную сущность?

— Уже не у нас, — ответил Шестипалый и вдруг присвистнул. — Вот это да!

— Чего? — подозрительно спросил Затворник.

— Вон, гляди! Новое появилось!

— Ну и что?

— В центре мира так никогда не бывает. Чтобы сразу три светила.

Затворник снисходительно хмыкнул.

— А я в свое время сразу одиннадцать видел. Одно в зените и по пять на каждом эпицикле. Правда, это не здесь было.

— А где? — спросил Шестипалый.

Затворник промолчал. Отвернувшись, он отошел в сторону, ногой отколупнул от земли кусок еды и стал есть. Дул слабый теплый ветер, два солнца отражались в серо-зеленых

плоскостях далекого горизонта, и в этой картине было столько покоя и печали, что задумавшийся Затворник, снова заметив перед собой Шестипалого, даже вздрогнул.

— Снова ты. Ну, чего тебе надо?

— Так. Поговорить хочется.

— Да ведь ты неумен, я полагаю,— ответил Затворник.— Шел бы лучше в социум. А то вон куда забрел. Правда, ступай...

Он махнул рукой в направлении узкой грязно-желтой полосы, которая чуть извивалась и подрагивала, — даже не верилось, что так отсюда выглядит огромная галдящая толпа.

— Я бы пошел, — сказал Шестипалый, — только они меня прогнали.

— Да? Это почему? Политика?

Шестипалый кивнул и почесал одной ногой другую. Затворник взглянул на его ноги и покачал головой.

— Настоящие?

— А то какие же. Они мне так и сказали — у нас сейчас самый, можно сказать, решительный этап приближается, а у тебя на ногах по шесть пальцев... Нашел, говорят, время...

— Какой еще «решительный этап»?

— Не знаю. Лица у всех перекошенные, особенно у Двадцати Ближайших, а больше ничего не поймешь. Бегают, орут.

— А, — сказал Затворник, — понятно. Он, наверно, с каждым часом все отчетливей и отчетливей? А контуры все зримей?

— Точно, — удивился Шестипалый. — А откуда ты знаешь?

— Да я их уже штук пять видел, этих решительных этапов. Только называются они по-разному.

— Да ну,— сказал Шестипалый.— Он же впервые происходит.

— Еще бы. Даже интересно было бы посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном.

Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал с силой шаркать ногами — так, что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал.

— Чего это ты? — с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда Затворник, тяжело дыша, вернулся.

— Это жест, — ответил Затворник. — Такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие.

— А какое ты сейчас прочел стихотворение?

— Такое, — сказал Затворник.

Иногда я грущу,  
Глядя на тех, кого я покинул.  
Иногда я смеюсь,  
И тогда между нами  
Вздывается желтый туман.

— Какое ж это стихотворение, — сказал Шестипалый. — Я, слава Богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все двадцать пять слышал. Такого нет, точно.

Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял.

— А ты хоть одно помнишь? — спросил он. — Прочти-ка.

— Сейчас. Близнецы... Близнецы... Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов поднимаем глаза на стену, а там...

— Хватит, — сказал Затворник.

Наступило молчание.

— Слушай, а тебя тоже прогнали? — нарушил его Шестипалый.

— Нет. Это я их всех прогнал.

— Так разве бывает?

— По-всякому бывает, — сказал Затворник, поглядел на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору: — Скоро темно станет.

— Да брось ты, — сказал Шестипалый, — никто не знает, когда темно станет.

— А я вот знаю. Хочешь спать спокойно — делай как я.

И Затворник принялся сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилась огораживающая небольшое пустое пространство стена, довольно высокая, примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал:

— Вот. Я это называю убежищем души.

— Почему? — спросил Шестипалый.

— Так. Красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?

Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило — стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо ста-

рался, потому что ничуть не поверил Затворнику насчет наступления тьмы, — и когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства: обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то знающим о мире больше, чем он.

— Так и быть, — сказал Затворник, — прыгай внутрь. Я еще построю.

— Я не умею прыгать, — тихо ответил Шестипалый.

— Тогда привет, — сказал Затворник и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал, потом в его стене возникло маленькое отверстие — Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз Затворника, — и наступила окончательная тьма.

Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», — говорили одни. «Делом надо заниматься», — считали другие, и таких было большинство. Вообще, оттенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же: когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадежной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя (когда светила опять загорались), помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме, а сейчас — потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложил ся на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, — он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно вокруг ничего не было, и, когда в темноте раздался голос Затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя.

— Слушай, кончай долбить, — сказал Затворник, — спать мешаешь.

— Я не долблю, — тихо отозвался Шестипалый. — Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?

— О чем? — спросил Затворник.

— О чем хочешь, только подольше.

— Давай о природе страха?

— Ой, не надо! — запищал Шестипалый.

— Тихо ты! — зашипел Затворник. — Сейчас сюда все крысы сбегутся.

— Какие крысы? Что это? — холодея, спросил Шестипалый.

— Это существа ночи. Хотя на самом деле и дня тоже.

— Не повезло мне в жизни, — прошептал Шестипалый. — Было б у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой... Крысы...

— Слушай, — заговорил Затворник, — вот ты все повторяешь — Господи, Господи... у вас там что, в Бога верят?

— Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что — никому не известно. Вот, например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не делаешь...

— А что, интересно, можно сделать в жизни? — спросил Затворник.

— Как что? Чего глупые вопросы задавать — будто сам не знаешь. Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни.

— Понятно. А зачем тогда все это?

— Что «это»?

— Ну, вселенная, небо, земля, светила — вообще всё.

— Как зачем? Так уж мир устроен.

— А как он устроен? — с интересом спросил Затворник.

— Так и устроен. Движемся в пространстве и во времени. Согласно законам жизни.

— А куда?

— Откуда я знаю. Тайна веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно.

— Это от тебя свихнуться можно. О чем ни заговори, у тебя все или закон жизни, или тайна веков.

— Не нравится, так не говори, — обиженно сказал Шестипалый.

— Да я и не говорил бы. Это ж тебе в темноте молчать страшно.

Шестипалый как-то совершенно забыл об этом. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг заметил, что не испытывает никакого страха. Это его до такой степени напугало, что он вскочил на ноги и кинулся куда-то вслепую, пока со всего разгона не треснулся головой о невидимую в темноте Стену Мира.

Издалека послышался скрипучий хохот Затворника, и Ше-

стипалый, осторожно переставляя ноги, побрел навстречу этим единственным во всеобщей тьме и безмолвии звукам. Добравшись до холмика, под которым сидел Затворник, он молча улегся рядом и, стараясь не обращать внимания на холод, попытался уснуть. Момента, когда это получилось, он даже не заметил.

## 2

— Сегодня мы с тобой полезем за Стену Мира, понял? — сказал Затворник.

Шестипалый как раз подбегал к убежищу души. Сама постройка выходила у него уже почти так же, как у Затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать, и в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил:

— Сегодня мы отправимся за Стену Мира.

За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало, а былая жизнь в социуме казалась забавной фантазией (а может, пошлым кошмаром — точно он еще не решил), но это уж было слишком.

Затворник между тем продолжал:

— Решительный этап наступает после каждых семидесяти затмений. А вчера было шестьдесят девятое. Миром правят числа.

И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой Стены Мира.

— Да как же можно лезть за Стену Мира, если это — Стена Мира? Ведь в самом названии... За ней ведь нет ничего...

Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения Затворника, от которых у него иначе обязательно испортилось бы настроение.

— Ну и что, — ответил Затворник, — что нет ничего. Нас это должно только радовать.

— А что мы там будем делать?

— Жить.

— А чем нам тут плохо?

— А тем, дурак, что этого «тут» скоро не будет.

— А что будет?

— Вот останься, узнаешь тогда. Ничего не будет.

Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем.

— Почему ты меня все время пугаешь?

— Да не ной ты, — пробормотал Затворник, озабоченно взглядываясь в какую-то точку на небе. — За Стеной Мира совсем неплохо. По мне так гораздо лучше, чем здесь.

Он подошел к остаткам выстроенного Шестипалым убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам.

— Зачем это ты? — спросил Шестипалый.

— Перед тем как покинуть какой-либо мир, надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция.

— А кто ее придумал?

— Какая разница. Ну, я. Больше тут, видишь ли, некому. Вот так...

Затворник оглядел результат своего труда: на месте развалившейся постройки теперь было идеально ровное место, ничем не отличающееся от поверхности остальной пустыни.

— Все, — сказал он, — следы я уничтожил. Теперь надо опыт обобщить. Сейчас твоя очередь. Залазь на эту кочку и рассказывай.

Шестипалый почувствовал, что его перехитрили, оставив ему самую тяжелую и, главное, непонятную часть работы. Но после случая с затмением он решил слушаться Затворника. Пожав плечами и оглядевшись — не забрел ли сюда кто из социума, — он залез на кочку.

— Что рассказывать?

— Все, что знаешь о мире.

— Долго ж мы здесь проторчим, — свистнул Шестипалый.

— Не думаю, — сухо отозвался Затворник.

— Значит, так. Наш мир... Ну и идиотский у тебя ритуал...

— Не отвлекайся.

— Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве. Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу нашей жизни. Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая Стена Мира, объективно возникшая в результате действия законов жизни.

В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация. Положение члена социума относительно кормушки-поилки определяется его общественной значимостью и заслугами...

— Вот этого я раньше не слышал, — перебил Затворник. — Что это такое — заслуги? И общественная значимость?

— Ну... Как сказать... Это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке.

— А кто к ней попадает?

— Я же говорю: тот, у кого большие заслуги. Или общественная значимость. У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких. Да ты что, народную модель вселенной не знаешь?

— Не знаю, — сказал Затворник.

— Да ты что?.. А как же ты к решительному этапу готовился?

— Потом расскажу. Давай дальше.

— А уже почти все. Чего там еще-то... За областью социума находится великая пустыня, а кончается все Стеной Мира. Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас.

— Понятно. Отщепенцы. А бревно откуда взялось? В смысле — то, от чего они отщепились?

— Ну ты даешь... Это тебе даже Двадцать Ближайших не скажут. Тайна веков.

— Н-ну, хорошо. А что такое тайна веков?

— Закон жизни, — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. Ему что-то не нравилось в интонациях Затворника.

— Ладно. А что такое закон жизни?

— Это тайна веков.

— Тайна веков? — переспросил Затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к Шестипалому по дуге.

— Ты чего? Кончай! — испугался Шестипалый. — Это же твой ритуал!

Но Затворник и сам уже взял себя в руки.

— Ладно, — сказал он. — Слезай.

Шестипалый слез с кочки, и Затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял голову и заговорил.

— Я пришел сюда из другого мира, — сказал он, — в дни, когда ты был еще совсем мал. А в тот, другой мир я пришел из третьего, и так далее. Всего я был в пяти мирах. Они та-

кие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов она называется «Бройлерный комбинат имени Луначарского», но что это означает, неизвестно даже им самим.

— Ты знаешь язык богов? — изумленно спросил Шестипалый.

— Немного. Не перебивай. Всего во вселенной есть семьдесят миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это.

Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение.

— Нет, не могу, — наконец сказал он.

— Ладно, — сказал Затворник, — слушай дальше. Все семьдесят миров, которые есть во вселенной, называются Цепью Миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется Цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап и обновленный мир выходит с другой стороны Цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит цикл и через положенный срок опять возвращается в Цех номер один.

— Откуда ты все это знаешь? — тихим голосом спросил Шестипалый.

— Я много путешествовал, — сказал Затворник, — и по крупницам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое.

— Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?

— Знаю. А что про это говорят в вашем мире?

— Что это объективная данность. Закон жизни такой.

— Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания, и я даже не знаю, можно ли тебе ее доверить. Но поскольку, кроме тебя, все равно некому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянуты, и один конец у них уже другого, но сейчас это не важно.

— Шары. Белые шары, — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз узанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и изо всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания.

— Что с тобой? — испуганно спросил Затворник.

— Ой, я вспомнил. Точно. Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно. А потом мы стали изнутри ломать эти шары и... Откуда-то снизу подкатил наш мир, а потом мы уже были в нем... Но почему этого никто не помнит?

— Есть миры, в которых это помнят, — сказал Затворник. — Подумаешь, пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко, и к тому же только часть истины. Но все равно тех, что это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к решительному этапу или как он там называется. Везде по-разному. У нас, например, назывался завершением строительства, хотя никто ничего не строил.

Видимо, воспоминание о своем мире повергло Затворника в печаль. Он замолчал.

— Слушай, — спросил через некоторое время Шестипалый, — откуда берутся эти белые шары?

Затворник одобрительно поглядел на него.

— Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, — сказал он. — Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой...

— Из нас? Непонятно. Где ты это слышал?

— Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь, — сказал Затворник с неожиданной тоской в голосе.

— Ты же сказал, что это древняя легенда.

— Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду.

— Как это? Зачем?

— Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать — пророк (на этот раз Шестипалый догадался, о ком идет речь), сказал, что не так важно то, что́ сказано, как то, кем сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять...

Затворник глянул на небо и перебил себя:

— Все. Пора идти.

— Куда?

— В социум.

Шестипалый вытаращил глаза.

— Мы же собирались лезть через Стену Мира. Зачем нам социум?

— А ты хоть знаешь, что такое социум? — спросил Затворник. — Это и есть приспособление для перелезания через Стену Мира.

### 3

Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, и даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся.

— Главное, — шепотом повторял Затворник последнюю инструкцию, — веди себя наглее. Но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить — но не до такой степени, чтобы нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я.

— Шестипалый приперся! — весело закричал кто-то впереди. — Здорово, сволочь! Эй, Шестипалый, кто это с тобой?

Этот бестолковый выкрик неожиданно — и совершенно непонятно почему — вызвал в Шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это и пихнул Шестипалого в спину.

У самой границы социума народ стоял редко — тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа, и уже очень скоро Затворник с Шестипалым оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша кормушки-поилки, уже ни шага вперед сделать было нельзя.

— Всегда поражался, — тихо сказал Шестипалому Затворник, — как здесь всё мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке-поилке, счастливы в основном потому, что все вре-

мя помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство.

— Что ж, не нравится? — спросил сбоку чей-то голос.

— Не, не нравится, — ответил Затворник.

— А что конкретно не нравится?

— Да всё.

И Затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки-поилки, мерцающие желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда Стену Мира.

— Понятно. И где, по-вашему, лучше?

— В том-то и трагедия, что нигде! В том-то и дело! — страдальчески выкрикнул Затворник. — Было бы где лучше, неужели я б с вами тут о жизни беседовал?

— И товарищ ваш таких же взглядов? — спросил голос. — Чего он в землю-то смотрит?

Шестипалый поднял глаза — до этого он глядел себе под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем, — и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее раскормленное лицо, и, когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним один из Двадцати Ближайших, самая что ни на есть совесть эпохи. Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснения, как это иногда практиковалось.

— Это вы оттого такие невеселые, ребята, — неожиданно дружелюбно сказал тот, — что не готовитесь вместе со всеми к решительному этапу. Тогда у вас на эти мысли времени бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что... И, знаете, работа спасает.

И на той же интонации добавил:

— Взять их.

По толпе прошло движение, и Затворник с Шестипалым оказались немедленно стиснутыми со всех четырех сторон.

— Да плевали мы на вас, — также дружелюбно сказал Затворник. — Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Ну, прогоните еще раз. Через Стену Мира, как говорится, не перебросишь...

Тут на лице Затворника изобразилось смятение, а толстолицый высоко поднял веки — их глаза встретились.

— А ведь интересная идея. Такого у нас еще не было. Конечно, такая пословица есть, но воля народа сильнее.

Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал:

— Внимание! Строимся! Сейчас у нас будет нечто незапланированное.

Прошло не так уж много времени между моментом, когда толстолицый скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалого, приблизилась к Стене Мира.

Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел толстолицый, за ним — двое назначенных старушками-матерями (никто, включая толстолицего, не знал, что это такое, — просто была такая традиция), которые сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно, затем вели самих преступников, и замыкала шествие толпа народной массы.

— Итак, — сказал толстолицый, когда процессия остановилась, — пришел пугающий миг воздаяния. Я думаю, ребята, что все мы зажмуримся, когда эти два отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит страшным уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери!

Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать; но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад.

— Итак, — сказал через некоторое время толстолицый, — раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?

— Еще бы, — ответил Затворник, озабоченно наблюдавший то за церемонией, то за какими-то небесными телами, — а как вы нас перебрасывать хотите?

Толстолицый задумался. Старушки-матери тоже замолчали, потом одна из них поднялась из пыли, отряхнулась и сказала:

— Насыпь?

— Насыпь, — сказал Затворник, — это затмений пять займет. А нам уже давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте.

Толстолицый, прищурившись, глянул на Затворника и одобрительно кивнул.

— Понимают, — сказал он кому-то из своих, — только при-  
творяются. Спроси, может, они сами что предложат?

Через несколько минут почти до самого края Стены Ми-  
ра поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, жмури-  
лись и прятали лица, чтобы, не дай Бог, не заглянуть туда,  
где все кончается.

— Наверх, — скомандовал кто-то Затворнику и Шестипа-  
лому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой вере-  
нице плеч и спин к терявшемуся в высоте краю стены.

С высоты был виден весь притихший социум, внимательно  
следивший издали за происходящим, были видны некото-  
рые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спу-  
скавшийся к кормушке-поилке из бесконечности, — отсюда он  
казался не таким величественным, как с земли. Легко, будто  
на кочку, вспрыгнув на край Стены Мира, Затворник помог  
Шестипалому сесть рядом и закричал вниз:

— Порядок!

От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равнове-  
сие, она несколько раз покачнулась и развалилась — все по-  
падали вниз, под основание стены, но никто, слава Богу, не  
пострадал.

Вцепившись в холодную жесть борта, Шестипалый взгляды-  
вался в крохотные задранные лица, в унылые серо-коричневые  
пространства своей родины; глядел на тот ее угол, где на Стене  
Мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство.  
«Я больше никогда этого не увижу», — подумал он, и хоть осо-  
бого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было,  
горло все равно сводило. Он прижимал к боку маленький кусо-  
чек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как  
быстро и необратимо меняется все в его жизни.

— Прощайте, сыновья! — закричали снизу старушки-мате-  
ри, земно поклонились и принялись рыдая швырять вверх тя-  
желые куски торфа.

Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал:

Знал я всегда,  
Что покину  
Этот безжалостный мир...

Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря  
руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз огля-  
дел всё оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой

толпы прощально машет ему, — тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад.

Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза. Он лежал на черной блестящей поверхности из незнакомого материала; вверх уходила Стена Мира — точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны, а рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял Затворник. Он договаривал свое стихотворение:

Но что так это будет,  
Не думал...

Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги.

#### 4

Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что Затворник сказал ему правду. Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал, а светила были неподвижными — стоило сойти с черной ленты, и все делалось ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в Цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величием заполняющих вселенную объектов — наоборот, в нем скорее проснулось чувство легкого раздражения. «И это все?» — брезгливо думал он. Вдали были видны два мира, подобных тому, который они оставили, — они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестипалый думал, что они с Затворником направляются к другому миру, но на полпути Затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель.

— Там мягко, — сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда Затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним.

На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную

поверхность, выложенную большими коричневыми плитами. Эти плиты тянулись до горизонта, и Шестипалый первый раз в жизни понял, что означает слово «бесконечность».

— Что это? — спросил Шестипалый.

— Кафель, — ответил Затворник непонятым словом и сменил тему: — Скоро начнется ночь, а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте.

Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел вдаль и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета (Затворник сказал, что они называются «ящички») — их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки. Издали все это походило на пейзаж из забытого детского сна.

— Пошли, — сказал Затворник и быстрым шагом двинулся вперед.

— Слушай, — спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом, — а как ты узнаешь, когда наступит ночь?

— По часам, — ответил Затворник. — Это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и наверху — вот тот диск с черными зигзагами.

Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания деталь небесного свода.

— Когда часть этих черных линий приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом, свет гаснет, — сказал Затворник. — Это случится вот-вот. Считай до десяти.

— Раз, два, — начал Шестипалый, и вдруг стало темно.

— Не отставай от меня, — сказал Затворник, — потеряешься.

Он мог бы этого не говорить — Шестипалый чуть не наступал ему на пятки. Единственным источником света во вселенной остался косою желтый луч, падавший из-под зеленых ворот Цеха номер один. Место, куда направлялись Затворник с Шестипалым, находилось совсем недалеко от этих ворот, но, по уверениям Затворника, было самым безопасным.

Видна осталась только далекая желтая полоса под воротами да несколько плит вокруг. Шестипалый впал в странное состояние. Ему стало казаться, что темнота сжимает их с Затворником так же, как недавно сжимала толпа. Отовсюду исходила опасность, и Шестипалый ощущал ее всей кожей как дующий со всех сторон одновременно сквозняк. Когда стано-

вилось совсем невмоготу от страха, он поднимал взгляд с наплывающих кафельных плит на яркую полосу света впереди, и тогда вспоминался социум, который издалика выглядел почти так же. Ему представлялось, что они идут в царство каких-то огненных духов, и он уже собирался сказать об этом Затворнику, когда тот вдруг остановился и поднял руку.

— Тихо, — сказал он, — крысы. Справа от нас.

Бежать было некуда — вокруг во все стороны простиралось одинаковое кафельное пространство, а полоса впереди была еще слишком далеко. Затворник повернулся вправо и принял странную позу, велел Шестипалому спрятаться за его спиной, что тот и выполнил с удивительной скоростью и охотой.

Сначала он ничего не замечал, а потом ощутил скорее, чем увидел, движение большого быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости.

— Она ждет, — тихо сказал Затворник, — как мы поступим дальше. Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас.

— Ага, кинусь, — сказала крыса, выходя из темноты. — Как комок зла и ярости. Как истинное порождение ночи.

— Ух, — вздохнул Затворник. — Одноглазка. А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь.

Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коническую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз.

— Одноглазка, — сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом.

— Шестипалый, — представился Шестипалый и спросил: — А почему ты Одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?

— А у меня третий глаз раскрыт, — сказала Одноглазка, — а он один. В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые.

— А что такое... — начал Шестипалый, но Затворник не дал ему договорить.

— Не пройтись ли нам, — галантно предложил он Одноглазке, — вон до тех ящичков? Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника.

Шестипалый очень обиделся.

— Пойдем, — согласилась Одноглазка и, повернувшись к Шестипалому боком (только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело), затрусил рядом с Затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатываю-

щиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча, не оказись Одноглазка знакомой Затворника, и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями.

— Свобода? Господи, да что это такое? — спрашивала Одноглазка и смеялась. — Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой там уже раз увернувшись от ножа? Это и есть свобода?

— Ты опять всё подменяешь, — отвечал Затворник. — Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той inferнальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя оттого, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас.

— А крысы верят, что она создана для нас. Я это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты, но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас? Нет, она создана из-за вас, но не для вас. Понимаешь?

Затворник опустил голову и некоторое время шел молча.

— Ладно, — сказала Одноглазка. — Я ведь попрощаться. Правда, думала, что ты появишься чуть позже, — но все-таки встретились. Завтра я ухожу.

— Куда?

— За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых нор вывела меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретила там несколько крыс — они говорят, что эта труба уходит все глубже и глубже, и там, далеко внизу, выводит в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах.

Одноглазка притормозила.

— Откуда мне направо, — сказала она. — Так вот, еда там такая — не расскажешь. А эта вселенная могла бы поместиться в одной тамошней шахте. Слушай, а хочешь со мной?

— Нет, — ответил Затворник, — вниз — это не наш путь.

Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом.

— Ну что ж, — сказала Одноглазка, — тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоём пути, каким бы он ни был. Прощай.

Одноглазка кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась.

Остаток пути Затворник и Шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и наконец достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот Цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом, у стены, возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую Затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся.

Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к Затворнику.

— Что это?

— Твой мир проходит через решительный этап, — ответил Затворник.

— ???

— Смерть пришла, — просто сказал Затворник, отвернувшись, натянул на себя тряпку и уснул.

## 5

Проснувшись, Затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук десять одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы.

— Гляди, — сказал он Шестипалому.

— Что это? — спросил тот.

— Боги называют их гайками.

Шестипалый собирался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел.

— Да что с тобой? — спросил Затворник.

— Все умерли, — бормотал Шестипалый, — все-все...

— Ну и что, — сказал Затворник. — Ты тоже умрешь. И уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми одинаково долго.

— Все равно жалко.

— Кого именно? Старушку-мать, что ли?

— Помнишь, как нас сбрасывали со стены? — спросил Шестипалый. — Всем было велено зажмуриться. А я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер... И что вместе с ним умерло то, что заставило его так поступить...

— Да, — сказал Затворник, — это действительно очень печально.

И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалого.

— Слушай, — спросил, наплакавшись, Шестипалый, — а что бывает после смерти?

— Трудно сказать, — ответил Затворник. — У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться.

— Расскажи, а?

— После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше пятидесяти разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях. А иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного.

— А кто это делает, а?

— Как кто? Боги.

— Зачем им это?

— Видишь ли, мы являемся их пищей.

Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки.

— Больше всего они любят именно ноги, — заметил Затворник. — Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их.

Шестипалый вытянул перед собой руки — тонкие, бесильные, они выглядели довольно жалко.

— Когда-то они служили нам для полета, — сказал Затворник, — но потом все изменилось.

— А что такое полет?

— Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, — это то, что надо иметь сильные руки. Гораздо сильнее,

чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки.

Шестипалый с трудом подтащил два тяжелых предмета к ногам Затворника.

— Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстия.

Шестипалый сделал и это.

— А теперь поднимай и опускай руки вверх-вниз... Вот так.

Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как ни старался.

— Всё,— сказал он, опустил руки, и гайки повалились на пол.

— Теперь посмотри, как делаю я, — сказал Затворник и надел на каждую руку по пять гаек. Несколько минут он держал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал.

— Ну как?

— Здорово, — выдохнул Шестипалый. — А почему ты держишь их неподвижно?

— С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду.

— А ты уверен, что так можно научиться летать?

— Нет. Не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие.

— А зачем тогда оно нужно? Если ты сам знаешь, что это бесполезно?

— Как тебе сказать. Потому что кроме этого я знаю еще много других вещей, и одна из них вот такая: если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему, вместо того чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Понимаешь, в чем разница?

Шестипалый промолчал.

— Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда, — сказал Затворник. — А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо.

Шестипалый почувствовал некоторое раздражение:

— Все это замечательно, но что это значит реально?

— Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я.

- Неужели нет какого-нибудь другого занятия?  
— Есть, — ответил Затворник. — Можно готовиться к решительному этапу. Но этим тебе придется заняться одному.

## 6

- Слушай, Затворник, ты всё знаешь — что такое любовь?  
— Интересно, где ты услышал это слово?  
— Да когда меня выгоняли из социума, кто-то спросил, люблю ли я что положено. Я сказал, что не знаю.  
— Понятно. Я тебе вряд ли объясню. Это можно только на примере. Вот представь себе, что ты упал в воду и тонешь. Представил?  
— Угу.  
— А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь — а так оно и есть, — то любовь — это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.  
— Это ты про любовь к тому, что положено?  
— Не важно. Хотя, в общем, то, что положено, можно любить и под водой. Что угодно. Какая разница, за что хвататься, — лишь бы это выдержало. Хуже всего, если это кто-то другой, — он, видишь ли, всегда может отдернуть руку. А если сказать коротко, любовь — это то, из-за чего каждый находится там, где он находится. Исключая, пожалуй, мертвых... Хотя...  
— По-моему, я никогда ничего не любил, — перебил Шестипалый.  
— Нет, с тобой это тоже случалось. Помнишь, как ты проревел полдня, думая о том, кто помахал тебе в ответ, когда нас сбрасывали со стены? Вот это и была любовь. Ты ведь не знаешь, почему он это сделал. Может, он считал, что издевается над тобой куда тоньше других. Мне лично кажется, что так оно и было. Так что ты вел себя очень глупо, но совершенно правильно. Любовь придает смысл тому, что мы делаем, хотя на самом деле этого смысла нет.  
— Так что, любовь нас обманывает? Это что-то вроде сна?  
— Нет. Любовь — это что-то вроде любви, а сон — это сон. Всё, что ты делаешь, ты делаешь только из-за любви. Иначе ты просто сидел бы на земле и выл от ужаса. Или от отвращения.

— Но ведь многие делают то, что делают, совсем не из-за любви.

— Брось. Они ничего не делают.

— А ты что-нибудь любишь, Затворник?

— Люблю.

— А что?

— Не знаю. Что-то такое, что иногда приходит ко мне. Иногда это какая-нибудь мысль, иногда гайки, иногда сны. Главное — что я всегда это узнаю, какой бы вид оно ни принимало, и встречаю его тем лучшим, что во мне есть.

— Чем?

— Тем, что становлюсь спокоен.

— А все остальное время ты беспокоишься?

— Нет. Я всегда спокоен. Просто это лучшее, что во мне есть, и, когда то, что я люблю, приходит ко мне, я встречаю его своим спокойствием.

— А как ты думаешь, что лучшее во мне?

— В тебе? Пожалуй, это когда ты молчишь где-нибудь в углу и тебя не видно.

— Правда?

— Не знаю. Если серьезно, ты можешь узнать, что лучшее в тебе, по тому, чем ты встречаешь то, что полюбил. Что ты чувствовал, думая о том, кто помахал тебе рукой?

— Печаль.

— Ну вот, значит, лучшее в тебе — твоя печаль, и ты всегда будешь встречать ею то, что любишь.

Затворник оглянулся и к чему-то прислушался.

— Хочешь на богов поглядеть? — неожиданно спросил он.

— Только, пожалуйста, не сейчас, — испуганно ответил Шестипалый.

— Не бойся. Они тупые и совсем не страшные. Ну гляди же, вон они.

По проходу мимо конвейера быстро шли два огромных существа — они были так велики, что их головы терялись в полумраке где-то под потолком. За ними шагало еще одно похожее существо, только пониже и потолще, — оно несло в руке сосуд в виде усеченного конуса, обращенного узкой частью к земле. Двое первых остановились недалеко от того места, где сидели Затворник с Шестипалым, и стали издавать низкие рокочущие звуки («Говорят», — догадался Шестипалый), а третье существо подошло к стене, поставило сосуд на пол, обмакнуло туда шест

с щетиной на конце и провело по грязно-серой стене свежую грязно-серую линию. Запахло чем-то странным.

— Слушай, — еле слышно прошептал Шестипалый, — а ты говорил, что ты знаешь их язык. Что они говорят?

— Эти двое? Сейчас. Первый говорит: «Я выжрать хочу». А второй говорит: «Ты больше к Дуньке не подходи».

— А что такое Дунька?

— Область мира такая.

— А... А что первый хочет выжрать?

— Дуньку, наверно, — подумав, ответил Затворник.

— А как он выжрет область мира?

— На то они и боги.

— А эта, толстая, что она говорит?

— Она не говорит, а поет. О том, что после смерти хочет стать ивою. Моя любимая божественная песня, кстати. Жаль только, я не знаю, что такое ива.

— А разве боги умирают?

— Еще бы. Это их основное занятие.

Двое пошли дальше. «Какое величие!» — потрясенно подумал Шестипалый. Тяжелые шаги богов и их низкие голоса стихли; наступила тишина. Сквозняк крутил пыль над кафельными плитами пола, и Шестипалому казалось, что он смотрит с невообразимо высокой горы на раскинувшуюся внизу странную каменную пустыню, над которой миллионы лет происходит одно и то же: несетя ветер, и в нем летят остатки чьих-то жизней, выглядящих издали соломинками, бумажками, щепками или еще как-то. «Когда-нибудь, — думал Шестипалый, — кто-то другой будет смотреть отсюда вниз и подумает обо мне, не зная сам, что думает обо мне. Так же как я сейчас думаю о ком-то, кто чувствовал то же самое, что я, только Бог весть когда. В каждом дне есть точка, которая скрепляет его с прошлым и будущим. До чего же печален этот мир...»

— Но в нем есть что-то такое, что оправдывает самую грустную жизнь, — сказал вдруг Затворник.

«Стать бы после сме-е-ерти и-и-вою», — протяжно и тихо пела толстая богиня у ведра с краской; Шестипалый, положив голову на локоть, испытывал печаль, а Затворник был совершенно спокоен и глядел в пустоту, словно поверх тысяч невидимых голов.

За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых десять миров ушло в Цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись — но именно это и придавало ему силы. Его руки заметно удлиннились и усилились — теперь они были такими же, как у Затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал Затворник, — это то, что полет осуществляется с помощью рук, а что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть, а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил в созерцании, пытаюсь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило.

— Наверно, — говорил он Шестипалому, — наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать.

Однажды, когда Затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие. Вокруг стало чуть темнее, и когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное небритое лицо какого-то бога.

— Ишь куда забрались, — сказала оно, а затем огромные грязные руки схватили Затворника и Шестипалого, вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от Цеха номер один. Сначала Затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией — они устроились возле Стены Мира и принялись готовить себе убежища души, — но бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему ногу куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов — они достали Шестипалого и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга.

— Не нравится мне это, — сказал Затворник, когда боги наконец вернули Шестипалого на место и ушли, — плохо дело.

— По-моему, тоже, — ответил перепуганный Шестипалый. — Может, лучше снять эту дрянь?

И он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги.  
— Лучше пока не снимай, — сказал Затворник.

Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал:

— Это все из-за шести пальцев. Ну убежим мы отсюда — так ведь они нас теперь искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?

Затворник помрачнел еще больше, а вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться.

Но оказалось, что со стороны далекой кормушки-поилки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов двадцать до Затворника и Шестипалого, идущие им навстречу повалились наземь и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел Шестипалому отойти назад и пошел выяснять, в чем дело. Вернувшись, он сказал:

— Такого я действительно никогда не видел. Они, видимо, очень набожны. Во всяком случае, они видели, как ты общаешься с богами, и теперь считают тебя мессией, а меня — твоим учеником или чем-то вроде этого.

— Ну и что теперь будет? Чего они хотят?

— Зовут к себе. Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. И, главное, все как в их книгах. Я ничего не понял, но, думаю, пойти стоит.

— Пошли, — безразлично пожал плечами Шестипалый. Его томили мрачные предчувствия.

По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести Затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты.

По прибытии Шестипалого усадили на высокую горку соломы, а Затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними духовными авторитетами, которых было около двадцати, — их легко было узнать по обрюзгим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон Затворника, что, впрочем, выглядело для всех остальных вполне естественно.

Выяснилось, что все уже давно ждали прихода мессии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся

здесь Страшным Супом, из чего было ясно, что у здешних обитателей бывали серьезные прозрения, уже давно волновал народные умы, а духовные авторитеты настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба. Так что появление Шестипалого с учеником оказалось очень кстати.

— Жду проповеди, — сообщил Затворник.

— Ну так наплети им что-нибудь, — буркнул Шестипалый. — Я ведь дурак дураком, сам знаешь.

На слове «дурак» голос у него задрожал, и вообще было видно, что он вот-вот заплачет.

— Они меня съедят, эти боги, — сказал он. — Я чувствую.

— Ну-ну. Успокойся, — сказал Затворник, повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу: задрал кверху голову и воздел руки. — Эй, вы! — закричал он. — Скоро все в ад пойдете. Вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе.

Над социумом пронесся вздох ужаса.

— Я же, по поле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое грех?

Ответом было молчание.

— Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает ре... Страшный Суп? Да именно то, что вы обрастаете жиром. Ибо худые спасутся, а толстые нет. Истинно так: ни один костлявый и синий не будет ввергнут в пламя, а толстые и розовые будут там все. Но те, кто будет отныне и до Страшного Супа поститься, обретут вторую жизнь. Ей, Господи! А теперь встаньте и больше не грешите.

Но никто не встал: все лежали на земле и молча глядели — кто на размахивающего руками Затворника, кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь Затворника не понравилась только первосвященникам.

— Зачем ты так, — шепнул Шестипалый, когда Затворник опустил на солому, — они же тебе верят.

— А я что, вру? — ответил Затворник. — Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл откорма. А потом, может, и на третий. Да Бог с ними, давай лучше думать о делах.

Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид, а Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники, которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали Шестипалого, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший седенький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки, и Шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место.

А по ночам, когда все засыпали, они с Затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки — чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем больше прилагали усилий. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься с железками, на которые Затворник разобрал кормушку-поилку (в социуме все постились и выглядели уже почти прозрачными), больше не было никакой возможности: стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой Затворник в свое время предупреждал Шестипалого, но ее удалось обойти — Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями, и научил этому Шестипалого. Зеленые ворота уже виднелись за Стеной Мира, и, по подсчетам Затворника, до Страшного Супа остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалого — он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с брезгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, чтобы хоть как-то развлечься, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ Одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для ста шестидесяти демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до оду-

ри, но и сильно напугал Затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паствы заучили эту проповедь наизусть, и она получила название «Околеписиса Синей Ленточки» (таково было сакральное имя Шестипалого). После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки-поилки, стремясь избавиться от жира.

Поскольку и Затворник и Шестипалый ели каждый за двоих, Затворнику пришлось сочинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом.

Но если Шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с Затворником начало твориться что-то неладное. Казалось, депрессия Шестипалого перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей.

Однажды он сказал Шестипалому:

— Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в Цех номер один.

Шестипалый открыл было рот, но Затворник остановил его:

— А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать решенным.

Шестипалый вдруг понял: то, что он только что собирался сказать, было совершенно лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к Затворнику — что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось. И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал:

— Я тоже поеду вместе с тобой.

— Нет, — сказал Затворник, — ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я. И ты обязательно должен остаться жить и найти себе ученика. Может быть, хотя бы он приблизится к умению летать.

— Ты хочешь, чтобы я остался один? — раздраженно спросил Шестипалый. — С этим быдлом?

И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству: одинаковые дрожащие изможденные тела закрывали собой почти все видимое пространство.

— Они не быдло, они больше походят на детей.

— На умственно отсталых детей, — добавил Шестипалый. — К тому же с массой врожденных пороков.

Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги.

— Интересно, а ты помнишь, каким был сам до нашей встречи?

Шестипалый задумался и смутился.

— Нет, — наконец сказал он, — не помню. Честное слово, не помню.

— Ладно, — сказал Затворник, — поступай как знаешь.

На этом разговор прекратился.

Дни, оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только еще продирала глаза, Затворник и Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой Стеной Мира. Они переглянулись, и Затворник сказал:

— Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку. Последнюю потому, что завтра ее уже некому будет делать. Сейчас мы отправимся к Стене Мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки-поилки. Если нам это не удастся, тогда прощаемся с миром.

— Как это делается? — по привычке спросил Шестипалый.

Затворник с удивлением поглядел на него.

— Откуда я знаю, как это делается, — сказал он.

Всем было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро Затворник и Шестипалый были уже возле Стены Мира, где уселись, прислонясь к ней спиной.

— Помни, — сказал Затворник, — надо представить себе, что ты уже там, и тогда...

Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое внимание на руках и стал думать о резиновом шланге, подходившем к крышке кормушки-поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним — на расстоянии вытянутой руки. Раньше Шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел. Но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Осторожно, стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь в месте, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил:

— Есть! — и открыл глаза.

— Тише, дурак, — сказал стоящий перед ним Затворник, чью ногу он сжимал. — Смотри.

Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота Цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху.

— Вот и приехали, — сказал Затворник. — Пошли назад.

На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли Затворник и Шестипалый, только в другую сторону, и поэтому всю дорогу вход в Цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки-поилки, вход накрыл их и поплыл дальше.

Затворник подозвал к себе кого-то из паствы.

— Слушай, — сказал он. — Только спокойно! Иди скажи остальным, что наступил Страшный Суп. Видишь, как потемнело небо?

— А что теперь делать? — спросил тот с надеждой.

— Всем сесть на землю и сделать вот так, — сказал Затворник и закрыл руками глаза. — И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся. И чтоб тихо.

Сперва все-таки поднялся гомон. Но он быстро стих — все уселись на землю и сделали так, как велел Затворник.

— Ну что, — сказал Шестипалый, — давай прощаться с миром?

— Давай, — ответил Затворник, — ты первый.

Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место.

— Все? — спросил Затворник.

Шестипалый кивнул.

— Теперь я, — поднимаясь, сказал Затворник, задрал голову и закричал изо всех сил: — Мир! Прощай!

## 9

— Ишь раскудахтался, — сказал громовой голос. — Который? Этот, что квохчет, что ли?

— Не, — ответил другой голос. — Рядом.

Над Стеной Мира возникло два огромных лица. Это были боги.

— Ну и дрянь, — сокрушенно заметило первое лицо. — Чего с ними делать, непонятно. Они же полудохлые все.

Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве и тронула кормушку-поилку.

— Семен, мать твою, ты куда смотришь? У них же кормушка сломана!

— Цела была, — ответил бас. — Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?

— Нет, не будем. Давай включай конвейер, подгоняй другой контейнер, а здесь — чтобы завтра кормушку починил. Как они не передохли только...

— Ладно.

— А насчет этого, у которого шесть пальцев, — тебе обе лапки рубить?

— Давай обе.

— Я одну себе хотел.

Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему Шестипалому.

— Слушай, — прошептал он, — кажется, они хотят...

Но в этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалого.

Шестипалый не разобрал, что хотел сказать Затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли, потом перед ним мелькнула огромная грудь с торчащей из кармана авторучкой, ворот рубахи и, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор.

— Ишь крылья-то. Как у орла! — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы.

Шестипалый давно привык находиться в руках у богов. Но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная, пугающая вибрация. Из разговора он понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах, а потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик Затворника:

— Шестипалый! Беги! Клюй его прямо в морду!

Первый раз за все время их знакомства в голосе Затворника звучало отчаяние. И Шестипалый испугался — до такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность: он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон.

Раздался рев такой силы, что Шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела. Ладони бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком и, ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а по-

том увидел, что по инерции продолжает махать руками и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой Цех номер один: это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный, в красных и коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался Затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел Затворника, но был уверен, что тот видит его.

— Эй,— закричал он, кругами летая под самым потолком,— Затворник! Давай сюда! Маши руками как можно быстрее!

Внизу, в контейнере, что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться — и вот Затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за Шестипалым, а потом закричал:

— Садимся вот туда!

Когда Шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, Затворник уже сидел на подоконнике.

— Стена, — сказал он, когда Шестипалый приземлился рядом, — светящаяся стена.

Затворник был внешне спокоен, но Шестипалый отлично знал его и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалым происходило то же самое. И вдруг его осенило.

— Слушай, — закричал он, — да ведь это и есть полет! Мы летали!

Затворник кивнул головой.

— Я уже понял, — сказал он. — Истина настолько проста, что за нее даже обидно.

Между тем беспорядочное мелькание фигур внизу несколько успокоилось, и стало видно, что двое в белых халатах удерживают третьего, зажимающего лицо рукой.

— Сука! Он мне глаз выбил! Сука! — орал тот третий.

— Что такое сука? — спросил Шестипалый.

— Это способ обращения к одной из стихий, — ответил Затворник. — Собственного смысла это слово не имеет.

— А к какой стихии он обращается? — спросил Шестипалый.

— Сейчас увидим, — сказал Затворник.

Пока Затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживавших его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон

огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике — он это сделал так быстро, что никто не сумел ему помешать, а Затворник с Шестипалым еле успели взлететь в разные стороны.

Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещение ворвалась волна свежего воздуха — только после этого стало понятно, как там воняло. Сделалось неправдоподобно светло.

— Летим! — заорал Затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость. — Живо! Вперед!

И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бывшего из дыры в крашеном стекле, откуда дул ветер и доносились новые, незнакомые звуки.

Шестипалый, разгоняясь, понесся по кругу. Последний раз внизу мелькнул восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающие руками боги — сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру.

Сначала он на секунду ослеп — так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка — это был Затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом.

Шестипалый оглянулся — далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько закрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх.

Лететь было удивительно легко — сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро всё внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами.

Шестипалый повернул голову к Затворнику.

— Куда? — прокричал он.

— На юг, — коротко ответил Затворник.

— А что это? — спросил Шестипалый.

— Не знаю, — ответил Затворник, — но это вон там.

И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.

---

# ПРИНЦ ГОСПЛАНА

*повесть*





## Loading...

По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Up», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Down», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Right», она побежит вправо. Если нажать «Left» — влево. Вообще, ею можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре — основные.

Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большею частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами — с ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу «Shift». Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть качаясь на краю и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней, с нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз — при этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы, но все остается по-прежнему: фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры — подняться до последнего уровня, где ждет принцесса, но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре

успеха, надо забыть, что нажимаешь на кнопки, и стать этой фигуркой самому — только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждая из которых способна выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет, как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук.

## Level 1

Принц бежал по каменному карнизу; надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было: сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «Right» и сразу же «Down», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившейся уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующе глядел на Сашу.

— Лапин! — раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было.

— Да, Борис Григорьевич?

— А зайди-ка ко мне.

Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами, и когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корточках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра, в золотое время, большей частью отскакивал от бортов, причем роль кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее.

Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и

спокойной ненавистью, которая знакома только живущим у жестокого хозяина сиамским котам и читавшим Оруэлла советским инженерам. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя, и с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору.

Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, обрабатывал удар «полет ласточки», причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать «Будокан», а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была «охотничья одежда» из зеленого атласа, под которой виднелось мягкое кимоно из узорчатой ткани синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы «Хонда» с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей «эйтишки» — такой же, как у Саши, только с винтом в восемьдесят мегабайт — и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу.

— Читал последние «Аргументы»? — спросил он через минуту.

— Я не выписываю.

— Зря, — сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе, — отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются? Пятьдесят миллионов человек загубили и сейчас еще что-то бормочут. Всё же всем ясно.

— Ага, — сказал Саша.

— Или вот, в Америке около тысячи женщин беременны от инопланетян. У нас тоже таких полно, но их КГБ где-то прячет.

«Чего он хочет-то?» — с тоской подумал Саша.

Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом.

— Странный ты парень, Саня, — наконец сказал он. — Глядишь бирюком, ни с кем из отдела не дружишь. Ведь ты знаешь: люди вокруг, не мебель. А ты вчера Люсю напугал даже. Она сегодня мне говорит: «Знаете, Борис Григорьич, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить».

— Я с ней в лифте ни разу не ездил, — сказал Саша.

— Так поэтому она и боится. А ты съезди, за п...ду ее схвати, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал?

— А чем я ее напугал? — спросил Саша, соображая, кто такая Люся.

— Да не в Люсе дело, — раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. — Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим, а сейчас ты мне по делу нужен. Ты «Абрамс» хорошо знаешь?

— Ничего.

— Как там башня поворачивается?

— Сначала нажимаете «цэ», а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку.

— Точно? Давай-ка глянем.

Саша перешел к компьютеру; Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру.

— Вот так направо, а так налево, — сказал Саша.

— Точно. Век бы не догадался.

Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице.

— Борис Емельяныч, — промурлыкал он, — нашли. Нажимаете «цэ», а потом стрелочками... Да... Да... Обратное тоже через «цэ»... Да что вы говорите, а-ха-ха-ха...

Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и вышел.

— А-ха-ха... На листе? Попьюлос? Даже не слышал. Сделаем. Сделаем. Сделаем. Обнимаю...

## Level 2

Саша ходил курить на темную лестницу, к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшалые-красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом — звезда на его шпиле была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом; глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант рус-

ской истории, точнее, другую ее траекторию, закончившуюся той же точкой — строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом.

На площадке одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти; у обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс», или, по-русски, «Трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливая ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ею всерьез.

— По старым договорам уже не грузят, — жаловался первый комбинезон, — валюту хотят.

— А ты на начало этапа вернись, — отвечал второй, — или вообще загрузись по новой.

— Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил, три раза к директору пытался пройти, пока не подвис.

— Если подвисает, надо «Control-Break» нажимать. Или «Reset». Знаешь, как Евграф Емельяныч говорит — семь бед, один «Reset».

Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре.

«Вот интересно, — подумал Саша, — они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь? — подумал он. — Что я буду здесь делать через год? А ведь они хоть очень глупые, но всё видят. И всё понимают. И не прощают ничего. Каким же надо оборотнем быть, чтоб здесь работать...»

Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с четырьмя ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда двум девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени.

— Ботинки чистить надо, — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиных качающихся ног, и девушки захихикали.

Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра «Крэйзи берд» — очень милая, с забавной дурашливой музыкой, но с неожиданно тупым и жестоким концом.

Так можно было висеть сколько угодно — было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед, но Саша подумал, что это, наверно, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пяточок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора (там еле слышно что-то жужжало). Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый и холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейты. Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту — стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. Последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и — как сейчас — оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала.

Он огляделся. Выход был только один — прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно — сильно оттолкнувшись обеими ногами от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок с разбега, либо в прыжок с места, и надежней, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность.

Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот — стоило ему прыгнуть с разбега... Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных неторопливых мух — некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было

слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет; на нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежней будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке — продолжить путешествие к принцессе; способа угадать не существовало — во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомом как собственные пять пальцев, и только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из-за угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Недалеко от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть, а когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта — правда, тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше — места вокруг были уже знакомые и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую — иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы, — подтянулся и изо всех сил рванул по коридору — надо было спешить, потому что, поднявшись, решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт, — подумал Саша, отряхиваясь и только теперь чувствуя, как бьется сердце, — ведь не проваливалась здесь лестница раньше! На четвертом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает».

— Саша!

Он обернулся. Из двери второго подотдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стрептоцидом большой розовый лишай.

— Саша, прикури мне, а?

— А вы что, сами не можете? — довольно холодно спросил Саша.

— Так я же не в «Принце», — ответила Эмма Николаевна, — у меня факелов на стенах нету.

— А что, раньше играли? — подобрев, спросил Саша.

— Приходилось, только вот эти стражники... Что хотели, то со мной и делали... В общем, дальше второго яруса я так и не попала.

— А там шифтом надо, — сказал Саша, взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене. — И курсорными.

— Да мне сейчас уже поздно, — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу.

Он открыл было рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из-за ее спины полугололого рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица — такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре «Таргхан», — побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе.

«Хана бабе, — подумал он, — скоро в ДОС выйдет... А может, выберется, черт ее знает».

В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающей вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась.

### Level 3

— Лапин! К телефону!

Саша подскочил к столу и взял трубку.

— Саня? Здорово.

Звонил Петя Итакин из Госплана.

— Ты сегодня приезжаешь?

— Вроде не собирался.

— Начальник сказал, что сейчас кто-то из Госснаба с новыми программами приедет. Я почему-то решил, что ты.

— Не знаю, — сказал Саша, — мне пока ничего не говорили.

— Это ведь у тебя к «Абрамсу» три лишних файла?

— У меня.

— Значит, точно тебя пошлют. Ты меня дождись, если я выйду, ладно?

— Ладно.

Саша повесил трубку и пошел на свое рабочее место. Рядом, за резервным компьютером, сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по эргонской ракетной установке, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы; вокруг, насколько хватало глаз, тянулись безрадостные пески «Старглайдера».

— Как там у вас? — вежливо спросил Саша.

— Плохо, — отвечал командировочный, с гримасой стуча по клавише, — очень плохо. Если вон та штука...

И вдруг все скрылось в ослепительном огненном смерче; Саша отшатнулся и закрыл лицо ладонями — он сделал это совершенно инстинктивно, а когда сообразил, что с ним самим ничего случиться не может, и открыл глаза, командировочного рядом уже не было, а на полу возле стула тлела пола пиджака.

Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного стеганого плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затаптывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем Бориса Григорьевича изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабьими движениям большого нежного тела был довольно-таки страшен. Ликвидировав зародыш пожара, Борис Григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на Сашу.

— Все, — сказал Саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка.

— Вижу, что все. Ты мне его вызови снова, а то у нас еще акт не подписан.

У Бориса Григорьевича зазвонил телефон, и он, не договорив, кинулся за шкафы.

Саша пересел за соседний компьютер, вышел на драйв «а», из которого торчала поганая болгарская дискета гостя, и вызвал игру. Дисковод тихо зажужжал, и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из Пензы.

— Когда на вас ракеты летят, — сказал Саша, — вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьешь, а эта штука пачками бьет.

— Ты не учи, не учи, — огрызнулся тот, припадая к клавиатуре, — не первый год в дальнем космосе.

— Тогда автоэкзэк себе сделайте, — сказал Саша, — а то вас каждый раз вызывать времени ни у кого нет.

Гость не отзывался — на него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни.

Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики.

— Лапин! — взревел за шкафом Борис Григорьевич. — Ко мне срочно!

Когда Саша вбежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом, со скоростью швейной машинки тыкавшего в него пикой. Саша все сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размаху ткнул пальцем в клавишу «Escape». Китаец замер.

— Ух, — сказал Борис Григорьевич, — ну и дела. Пятого дана вызвал — по инерции нажал, думал, оңа тип монитора запрашивает. Ну ничего, сейчас разберемся с ним... Или нет, потом разберемся. Ты вот что. Сейчас сбрось на дискету расширение к «Абрамсу» и поезжай в Госплан. Бориса Емельяновича знаешь?

— Я ж ему «Абрамса» и ставил, — ответил Саша, — заведделом на шестом этаже.

— Ну, знаешь, так и отлично. Заодно и договора подпишешь — бери прямо с папкой. Еще он тебе дискету...

Из-за шкафов полыхнуло ослепительным огнем, несколько раз грохнуло, и сразу же завоняло паленым мясом.

— Что такое?

— Да опять этот, из Пензы. Похоже, на пирамидальную мину попал.

— Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час вонь и грохот. Езжай. Он тебе дискету даст с «Арканойдом». Ну и ты сам погляди, что у них там нового, понимаешь?

Саша повернулся было к двери, но Борис Григорьевич удержал его за рукав.

— Подожди, — сказал он, надевая шлем, — ты мне еще нужен. Когда я «кия» крикну, нажми клавишу.

— Какую?

— А без разницы.

Он зашел за спину замершему в выпаде китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее.

— Готов?

— Готов, — отворачиваясь, ответил Саша.

— Кия!!!

Саша ткнул в клавиатуру; раздался резкий свист, что-то

хрустнуло, стукнулось об пол и покатилося, а следом упало что-то тяжелое и мягкое.

— Теперь иди, — хрипло сказал Борис Григорьевич, — и не задерживайся, работы много.

— Я в столовую хотел пойти, — стараясь глядеть в сторону, сказал Саша.

— Поезжай лучше сразу. Там и пообедаешь.

Саша вышел из-за шкафов, подошел к своему рабочему месту, ногой отшвырнул оплавленные очки гостя под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету все, что было нужно. Потом, положив дискету в сумку, встал и неторопливо пошел по усеянному обломками каменных плит коридору, привычно перепрыгнул через ловушку, повис на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с пола узкий разрисованный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья, ни куда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое.

Дорога на четвертый уровень была знакома до мелочей, и Саша шел, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился замначальника второго подотдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре «Троаткаттер» до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку, — из-за этого он, как говорили, и оставался вечным замом у нескольких ракетами пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось если и не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одну из прошлых встреч, — что вроде какие-то ребята давно раскололи его игру; непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была колотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась вверх дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней вагон метрополитена.

## Level 4

«А куда, собственно, я иду? — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. — До

седьмого уровня я уже доходил, — ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет... И что дальше? Правда, принцесса...»

Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка — жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце.

На ковре стояли огромные песочные часы; с каменных плит пола на Сашу словно в монокуляр смотрела изнеженная дворцовая кошка, а в самом центре ковра на разбросанных подушках сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать — кажется, у нее были длинные волосы, или это темный платок падал на ее плечи. Бряд ли она знала, что он на нее смотрит и что вообще есть какой-то Саша, но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты — и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек.

И тут же все исчезло, за спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвертый уровень.

«Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту? То есть обо мне, не зная, что именно обо мне?»

За стеклом замелькали колонны станции; поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два; Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни.

«Странно, — думал он, — как я изменился за последние три уровня. Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину — и все. Господи, как мало надо было для счастья... А сейчас я это делаю каждое утро почти не глядя, и что? На что я надеюсь сейчас? Что на следующем этапе все изменится и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше? Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю как: надо после пятой решетки попрыгать — наверняка там

ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть?»

Саша вдруг похолодел — до него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего эскалатора включившуюся разрезалку пополам — два стальных листа с острыми зубчатыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались с такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее — она существовала только для Саши, но для него была настолько реальна, насколько что-нибудь вообще бывает реальным: через всю его спину шел длинный уродливый шрам, а ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкромсав клочок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, вообще говоря, несложно — надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, и никакой возможности угадать, в какой момент он окажется у разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно — на эскалаторе стояла уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Саше вдогонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке и с двумя большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше, но все-таки ему удалось перелезть через тюки. И тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк, зажмурился, но вместо того, чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь, почему-то с невероятной отчетливостью вспомнил, как в четвертом классе довел на уроке пения молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошел к нему и дал по морде. Разрезалка лязгнула совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и про...

#### Autoexec.bat — level 4

«А куда, собственно, я иду? — подумал Саша, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. — До седьмого уровня я уже доходил — ну, может, не совсем до-

ходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет... Да и зачем все это? Правда, принцесса...»

Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка — жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна неожиданная нота в самом конце.

Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был большей частью привокзальный, поганый. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками; особенно Саше не понравилась одна — в красном платке, с двумя большими тюками в руках. «Где-то я ее видел, — подумал Саша, — точно». С ним так часто бывало последнее время — ему казалось, что он уже видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах, он вспомнить не мог. Зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это чувство называется «*déjà vu*», из чего сделал вывод, что то же самое происходит с людьми и во Франции.

За стеклом замелькали колонны станции; поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два; Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к правому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни.

«Сейчас мне кажется, — думал он, — что хуже того, что со мной происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление. И покажется, что держал что-то в руках, сам не понимая что — держал, держал да и выкинул. Господи, как же погано должно стать потом, чтобы можно было жалеть о том, что происходит сейчас... И ведь самое интересное: с одной стороны, жить все бессмысленней и хуже, а с другой — абсолютно ничего в жизни не меняется. На что же я надеюсь? И почему каждое утро встаю и куда-то иду? Ведь я плохой инженер, очень плохой. Мне все это попросту неинтересно. И оборотень я плохой, и скоро меня возьмут и выпрут и будут совершенно правы...»

Он вдруг похолодел — до него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел на соседнем эскалаторе включившуюся разрезалку пополам. В первый момент испуг был так силен, что Саша даже не сообразил, что никакой угрозы для не-

го нет. Потом, сообразив, он так громко сказал «уй», что на него с соседнего эскалатора поглядела та самая баба с тюками, которая привлекла его внимание в вагоне. Она проехала разрезалку, глядя на Сашу и даже не догадываясь, что случилось бы, будь на ее месте он. Саше ее взгляд был неприятен, и он отвернулся.

Следующая разрезалка пополам стояла у выхода из метро, и Саша прошел ее без всякого труда. А вот из кувшинчика, стоявшего за ней, он пить не стал — какой-то он был подозрительный, с орнаментом из треугольничков. Он один раз из такого попил и потом две недели сидел на бюллетене. Чутье подсказывало, что где-то рядом должен быть еще один кувшин, и Саша решил поискать. Его внимание привлекла парикмахерская на другой стороне улицы: в вывеске не горели две первых буквы, и Саша был уверен — это что-нибудь да значит.

Внутри было маленькое помещение, где клиенты ждали своей очереди, — сейчас оно было совершенно пустым, и это была вторая странность. Саша обошел комнатку кругом, подвигал кресла (в конце прошлого года он сел на стул в коридоре военкомата, куда провалился с третьего уровня, и неожиданно сверху спустилась веревочная лестница, по которой он благополучно вылез в двухмесячную командировку), попрыгал на журнальном столике (иногда они управляли поворачивающимися частями стен) и даже подергал крючки вешалок. Все было напрасно. Тогда он решил проверить потолок, опять влез на журнальный столик и подпрыгнул с него вверх, подняв над головой руки. Потолок оказался глухим, а столик — очень непрочным: сразу две его ножки подломились, и Саша вытянутыми руками врезался в цветную фотографию улыбающегося рыжего дебила, висевшую на стене.

И вдруг в полу со скрипом распахнулся люк, в котором блеснуло медное горло кувшина, стоящего на каменном полу метрах в двух внизу. Саша спрыгнул на каменную площадку, и люк над головой захлопнулся; Саша огляделся и увидел с другой стороны коридора бледного усатого воина в красной чалме с пером; воин отбрасывал две расходящиеся дрожащие тени, потому что за его спиной коптели два факела по бокам высокой резной двери с черной вывеской «ГОСПЛАН СССР».

«Надо же, — подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой ятаган воину, — а я на троллейбусе, дурак, все время ездил».

## Level 5

— Итакин? — спросил женским голосом телефон. — Обедает. А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из Госснаба должны были программное обеспечение привезти?

— Я, — ответил Саша, — только я лучше тоже в столовую пойду.

— Как к нам идти, знаете? Шестьсот двадцатая комната, от лифтов налево по коридору.

— Доберусь, — ответил Саша.

В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела — они шумно, с присвистом, дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью — не то из «Огонька», не то Уголовного кодекса; из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый Дарт Вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй — борщ и чай (кормили в Госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты, — от прежнего великолепия остались только изредка попадавшиеся в капусте красивые пятиконечные звездочки, нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата). Саше было очень интересно посмотреть, как Дарт Вейдер будет есть капусту, — для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем, — но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча; под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделывала кренделя — один сапог терся о другой и обнимал его носком за голенище; Саша подумал, что если бы он играл в «Спай», то из двух Дартов Вейдеров стал бы вербовать правого.

Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме, и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов — седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне — стоял со стаканом в руке; он только что начал говорить тост.

— Друзья! Мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется двадцать лет тру-

довой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в Госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный МиГ!

Пилоты заплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества — это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся — наоборот, был за столом самым незаметным, и только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденов — правда, тоже незнакомых.

— Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович — лучший пилот Госплана! И недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым.

Вокруг опять заплодировали; несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине; он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком.

— И это еще не все, — продолжал седой, — кроме эф-пятнадцатого и эф-шестнадцатого, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель — эф-девятнадцать «Стелс». На его счету и многие технические усовершенствования — осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши, и теперь этим пользуемся мы все...

— Да уж хватит бы, — застенчиво буркнул виновник.

Встал другой пилот — у этого на груди тоже были орденовские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича.

— Вот тут наш парторг говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный МиГ. А ведь кроме этого он, к примеру, четыре тысячи пятьсот раз разрушил локатор под Триполи, а если мы все ракетные катера посчитаем, да еще аэродромы прибавим, такая цифирь выйдет... Но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульяновича знаю, может быть, получше других — уже полгода с ним в паре летаю — и сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на эф-пятнадцатом шел, а машина эта, сами знаете, не из простых: чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее — подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит: «Вася, запомни: не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду». Ну, я неопытный был тогда, а с гоном — чего это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на эф-шестнадцатом весь Персидский залив облетал. Да...

Ну, сели мы по кабинам, и дают нам команду на взлет. Взлетали мы с авианосца «Америка», и задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бенгази. Взлетели, значит, и идем на малой, на автопилотах. А там, у Бейрута, локаторов штук восемь, наверное, — ну, вы все там были...

— Одиннадцать, — сказал кто-то за столом, — и еще всегда двадцать пятые МиГи патрулируют.

— Ну да. В общем, дошли на малой, метрах на пятидесяти, с выключенными прицелами, а как километров десять осталось, перешли на ручное, набрали четыре сотни и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись, выпустили по «Амрааму», сделали противоракетный маневр и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось. Это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малой, и так бы дошли спокойно, но я тут, идиот, заметил двадцать третьего МиГа и пошел за ним — дай, думаю, задвину ему «Сайдуиндер» в сопло. Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио: «Вася, назад, мать твою!» Но я уже прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле — так нет, стал смотреть, как этот двадцать третий падает. А потом гляжу на локатор — а на меня уже СА-2 идет, кто пустил, не знаю...

— Это под Аль-Байдой локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо, — сказал парторг.

— Ну да, а тогда-то я не знал. Кузьма Ульянович кричит: «Помеху ставь!» А я вместо тепловой — это на «эф» нажать надо — на «цэ» жму. Ну и, значит, получил прямо под хвост. Нажал на «эф семь», катапультировался. Опускаюсь, смотрю вниз — а там пустыня и шоссе, на шоссе машины какие-то, и меня на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю — мать честная! Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж я думаю — кто быстрее...

Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной — чуть другого цвета и на полсантиметра выше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх — так и есть, в метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки.

— Ну нет, — пробормотал Саша.

Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда

другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда и не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате.

— Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек, — сказала она, — нехорошо выходит.

Саша вернулся за подносом.

— ...Всем отделом стали пробоины считать, — говорил ведомый Кузьмы Ульяновича. — Помните? Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает — разве, говорит, эф-пятнадцатый на одном моторе может лететь? И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?

— Ну хватит, правда, — конфузясь, сказал Кузьма Ульянович.

— Нет, я скажу, пускай...

Дальше Саша не слышал — все его внимание переключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать, поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением, но прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окошко, перепрыгнул через щель в полу и со всех ног кинулся к медленно поднимающемуся куску стены с большой облезлой раковиной; за ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.

## Level 6

Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в шестьсот двадцатую комнату — за Шашиной спиной осталось примерно с десяток ярусов, на которые можно было забраться только подпрыгнув и подтянувшись, поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж и пах одеколоном.

— Ты от Борис Григорьича? — ничем не показывая, что узнает в Саше хулигана из столовой, спросил Борис Емельянович. — Пойдем быстрее, мне через пять минут выезжать.

Кабинет Бориса Емельяновича был отгороженной шкафом частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича, только внутри, занимая практически все место, стоял огромный, лоснящийся смазкой танк «М-1 Abrams». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефон и четырехмегабайтная «супер эй-ти» с цветным ВГА-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну.

— Триста восемьдесят шестой процессор? — уважительно спросил он. — И винт, наверно, мегабайт двести?

— Этого не знаю, — сухо ответил Борис Емельянович, — у Итакина спрашивай, он мой механик. Чего там тебе подписывать?

Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, сверкнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей «Монт-Бланком», прямо на броне не глядя подмахнул два первых листа, а над третьим задумался.

— Это я так не могу, — сказал наконец он, — это надо в главк звонить. Это даже не я должен подписывать, а Прокудин Павел Семенович.

Поглядывая на часы, он навертел номер.

— Павла Семеновича. Так. А когда будет? Нет, сам свяжусь.

Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул.

— Ты не очень удачно пришел, — сказал он. — Через пять минут наступление. А если ты бумагу хочешь подписать, в главк надо ехать. Хотя подожди... Может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной.

Борис Емельянович склонился над компьютером.

— Черт, — сказал он через минуту, — где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить.

— А вы директорию смените, — сказал Саша, — вы же в корневой директории. Или сначала в «Нортон» выйдите.

— А ну попробуй, — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону.

Саша привычно затюкал по клавишам; заверещал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул

на броню; Саша предпочел подтянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму.

В башне оказалось просторно и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тот пока не работал; тогда он огляделся. Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса — по бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках.

Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя; двигатель взревел, и танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом. Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще десятка два таких же танков; два или три возникли прямо на его глазах.

— Как такое построение называется? — спросил он в микрофон.

— Какое? — донесся искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича.

— Когда танки все на одной линии? Ну, если бы это солдаты были, была бы цепь, а это как называется?

— Не знаю, — ответил Борис Емельянович. — Так после обеда всегда бывает — просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг?

— Двадцать шесть, — сосчитал Саша.

— Понятно. Бабаракин на бюллетене, Сквородич в Австрии, а остальные все здесь. Жаркий сегодня день будет.

— Двадцать первый, двадцать первый, с кем говорите? — раздался в шлемофоне чей-то голос.

— Говорит двадцать первый, вызываю семнадцатого, прием.

— Семнадцатый слушает.

— Семнадцатый, у меня тут парень из Госснаба, ему одну бумагу подписать. Чтоб не ехать через весь город.

— Понял вас, двадцать первый, — отозвался голос, — через десять минут у фермы.

Танк Бориса Емельяновича резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люке. Перелетев с разгону через несколько ухабов, Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул и километрах на восьмидесяти в час понесся в сторону далекой роши, перед которой дорога разветвлялась и торчал какой-то указатель на шесте.

— Залазь в башню, — велел Борис Емельянович, — и люк закрой. Вон на том холме гранатометчик сидит.

Саша повиновался — и в самое время: по броне ударило, и послышалось резкое и громкое шипение.

— Вот он, курва-а, — прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо.

Саша увидел на экране прицела совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «gun locked». Но Борис Емельянович не спешил стрелять.

— Ну же! — выдохнул Саша.

— Подожди, — зашептал Борис Емельянович, — дай я осколочный заряду... Бронебойные нам еще понадобятся.

Снова зашипело и ударило по броне, а в следующий момент рывкнула пушка «Абрамса», и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево.

Вскоре слева от шоссе появилась и стала стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. Метрах в трехстах Борис Емельянович затормозил, и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров.

— Что-то мне вон то окно не нравится, — сказал Борис Емельянович, — дай-ка я...

Башня поехала влево, и опять рывкнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с небольшим куском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме.

— Можешь пока выйти поразмяться, — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища, — вроде все спокойно.

Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень вроде тех, что были в башне.

— Что, скис? — дружелюбно спросил Борис Емельянович. — Ты попробуй так пять дней в неделю, по восемь часов, да еще когда на тебя одного по три Т-70 выезжают. Вот когда коленки задрожат. Здесь-то место тихое, благодать...

Действительно, место было красивое — на ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща и оттуда доносился тихий птичий щебет. Из-за тучи вышло солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборки и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, что бы ни писали в глянцевах многостраничных паспортах хитрые азиаты.

С шоссе донесся гул.

— Павел Семенович едет. Готовь свою бумагу.

Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный танкист в золотых очках и черной пилотке.

— Давай, чего у тебя там, — сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Сашину бумагу на планшет и написал в верхней части листа: «*Не возражаю*». — А ты, Борис, — сказал он Борису Емельяновичу, — бросай эти дела. Вечно ты со всякой херней перед боем лезешь.

— Ничего, — сказал Борис Емельянович, — нагоним. Этот парень — механик не хуже Итакина, мне сейчас двигатель за минуту завел...

Мрачный покосился на Сашу, но ничего не сказал.

Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на бреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, в двух десятках метров от земли сделал бочку и свечой, почти вертикально, пошел вверх; остальные разделились на две группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом, и тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было — может быть, как-то по-другому, но было — он был уверен.

— Ну, сегодня ни один МиГ не сунется, — сказал Борис Емельянович. — Кузьма Ульяныч в воздухе. Это его машина с орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить.

— Пожожу, — ответил мрачный.

Где-то вдаль у горы засверкало, и донесся грохот.

— Началось, — сказал мрачный. — Пора.

— Я вам такую же зенитку привез, — вспомнив, сказал Саша и вынул из сумки дискету. — Там еще два ПТУРСа на башню.

Но Борис Емельянович уже спускался в танк.

— Некогда, отдашь Итакину.

Лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комья земли, рванули с места. Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в две точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им два призрачных факела.

## Level 7

Когда за Сашиной спиной закрылась дверь, он понял, что выбрался наконец из подземелья и находится где-то во внутренних покоях дворца. Вокруг были уже не грубо обтесанные каменные глыбы, а тонкие ажурные мостики, поддерживаемые легкими резными колоннами. Куда-то в сумрак уходили потолки, блестели в черном бархатном небе за окнами яркие южные звезды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти.

С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решетки, а на стенах над ними висели узорчатые персидские ковры, и этого он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошел к левой решетке, возле которой из пола чуть поднималась управляющая подъемным механизмом плита, но когда он встал на нее, подниматься начала решетка за его спиной. Саша развернулся и побежал назад.

За решеткой дорога разветвлялась. Можно было подпрыгнуть, подтянуться и побежать вперед — там звякало сразу несколько разрезовок пополам, и значит, где-то рядом был спрятан кувшин, а может, и два сразу — было такое один раз на третьем уровне. Можно было, наоборот, спуститься вниз, и Саша, секунду поколебавшись, решил так и поступить. Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой росписи на стене; в бронзовых кольцах, ввинченных в стену, коптели факелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алом халате, с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу

шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел: такие ему еще не попадались. Самое большее до сих пор — четыре треугольничка. Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин, пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зеленом сафьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимо быстрый выпад, и Саша, еле успев отбить его меч клавишей «PgUp», сразу нажал «Shift», но этот всегда безотказный прием не сработал — воин успел отскочить и снова стал приближаться.

— Здорово, Саш! — раздалось вдруг за спиной.

Саша испытал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую минуту, сделал ложный выпад и, целясь врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперед. Воин в алом халате опять успел отскочить.

— Саша!

Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом, и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека.

Это был Петя Итакин. На нем был зеленый свитер и протертые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшего госплановский этикет.

— Пойдем поговорим, — сказал Итакин.

Саша оглянулся на замершую на мониторе фигурку.

— А я тебя уже час жду, — сказал он, — начальнику твоему «Абрамс» запустил.

— Видел уже, — сказал Итакин. — Ему минут пять назад тэ-семидесятый прямо под башню засадил. Он чиниться приезжал.

Саша встал и пошел за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, а один раз упал на пол и замер; Саша заметил огромный синий глаз, проплывший прямо над ним, и догадался, что это «Тауэр», третья или четвертая башня. Сам он поднялся когда-то до половины первой, но когда услышал, что после того как взойдешь на первую башню, надо лезть на вторую и совершенно неизвестно, что будет потом, бросил это дело и стал принцем. А Петя лез на башню уже не первый год.

Они вышли на лестницу, где Петя ловко увернулся от чего-то вроде вертикально летящего бумеранга, и попали на пустой длинный балкон, заваленный выгоревшими на солнце

стендами с цветными фотографиями каких-то дряблых лиц. Саша проверил пол под ногами — кажется, сомнительных плит не было. Петя, облокотившись на перила, уставился на огни города внизу.

— Чего? — спросил Саша.

— Так, — сказал Петя. — Я из Госплана скоро уйду.

— Куда?

Петя неопределенно кивнул головой вправо. Саша посмотрел туда — там были тысячи разноцветных светящихся точек, горящих до самого горизонта. Можно было понять Итакина и в том смысле, что он планирует прыжок с балкона.

— Как звезды в «Принце», — вдруг сказал Саша, глядя на огни, — только все вверх ногами. Или вниз головой.

— А может, это в твоём «Принце» все вверх ногами, — сказал Петя. — Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается?

Саша помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминалось что-то забытое и сразу же забывалось опять, и это что-то больше всего было похоже на тысячу раз данную себе и уже девятьсот девяносто девять раз нарушенную клятву.

— На фига, интересно, мы живем? — спросил он.

— Ну вот, — сказал Петя, — вроде и не пил сегодня, а... Вообще, ты стражника спроси. Он тебе объяснит насчет жизни.

Саша опять уставился на огни.

— Вот ты второй год по лабиринту бежишь, — заговорил Петя, — а ты думал когда-нибудь, на самом он деле или нет?

— Кто?

— Лабиринт.

— В смысле, существует он или нет?

— Да.

Саша задумался.

— Пожалуй, существует. Точнее, правильно сказать, что он существует ровно в той же степени, в какой существует принц. Потому что лабиринт существует только для него.

— Если уж сказать совсем правильно, — сказал Петя, — и лабиринт и фигурка существуют только для того, кто смотрит на экран монитора.

— Ну да. То есть почему?

— Потому что и лабиринт и фигурка могут появляться только в нём. Да и сам монитор, кстати, тоже.

— Ну, — сказал Саша, — мы это на втором курсе проходили.

— Но тут есть одна деталь, — не обращая внимания на Сашины слова, продолжал Петя, — одна очень важная деталь. Ее те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить.

— Какая?

— Понимаешь, — сказал Петя, — если фигурка давно работает в Госснабе, она почему-то решает, что это она глядит в монитор, хотя она всего лишь бежит по его экрану. Да и вообще, если б нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть, первым делом она бы заметила того, кто смотрит на нее.

— А кто на нее смотрит?

Петя задумался.

— Есть только один спо...

В следующий момент его что-то сильно толкнуло в спину, он перекувырнулся через перила и полетел вниз; Саша увидел похожую на бумеранг штуку, какую он уже видел на лестнице, — крутясь, она умчалась куда-то в направлении увенчанных неподвижным дымом труб на горизонте. Саша даже не успел испугаться, так быстро все это произошло. Перегнувшись через перила, он увидел Петю, вцепившегося руками в перила балкона этажом ниже.

— Все в порядке, — крикнул Петя, — костылявки максимум на один этаж сбрасывают. Сейчас я...

Но тут Саша заметил медленно подплывающий к Пете вдоль стены огромный глаз, похожий на круглый аквариум, до краев наполненный синими чернилами.

— Петя! Слева! — крикнул он.

Петя освободил одну руку и пустил в синий глаз два красных шарика размером с клубок шерсти — от первого глаз дернулся и замер, а от второго с хлопающим звуком растворился в воздухе.

— Иди в шестьсот двадцатую, — крикнул Петя, перелезая через перила, — я сейчас приду, и будем твою игру докалывать.

Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала стальная решетка, расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решетка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычно подпрыгнул, подтянулся и вылез в узкий каменный коридор.

Впереди на пол падало квадратное пятно красноватого

света. Прижимаясь к стене, Саша дошел до него и осторожно глянул вверх. Там была узкая четырехугольная шахта, и в ней, далеко наверху, горел факел и виднелся участок закопченного потолка, — видимо, это была обычная коридорная ловушка, но сейчас Саша был на ее дне. Наверху могли быть стражники, поэтому он встал на цыпочки и, осторожно ступая по веками копившемуся праху, пошел вперед. Впереди оказался поворот и в нескольких метрах за ним — тупик. Он двинулся было назад, но услышал, как в дальнем конце коридора лязгнула решетка, и остановился. Он попал в мешок. Теперь оставалось только одно: тщательно проверить все плиты пола и потолка — любая из них могла управлять решетками или поворачивающимися участками стены. Вытянув руки над головой, он подпрыгнул. Потом еще раз. Потом еще. Третья плита чуть-чуть подалась. Дальше все было просто: он еще раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил; плита выпала. Раздался грохот, и он привычно зажмурился, чтобы взлетевшая с пола пыль не попала в глаза. Немного погодя он шагнул вперед. Теперь в потолке зияло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть, а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждые два с половиной метра — это расстояние на всех уровнях было одинаковым. Стоя на таком карнизе, можно было подпрыгнуть вверх, в прыжке схватиться за следующий, влезть на него, встать и повторить то же самое — и так до самого верха. На этой стене карнизов было шесть, и вся процедура заняла у Саши чуть больше минуты, причем он ни капли не устал.

Теперь он стоял в коридоре между стен из грубо обтесанных каменных блоков. Впереди был колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз — метрах в пяти был виден ярко освещенный пол. Саша вздохнул, спустил в дыру ноги, повис над пустотой на руках и с некоторым усилием заставил себя разжать пальцы. Высота была не такой уж и большой, но плита, на которую он упал, ушла из-под ног и полетела вниз; уцепиться за край он не успел и после томительно долгого падения врезался в пол, в обломки только что расколовшейся плиты. Он не разбился, но удар и неожиданность оглушили — несколько секунд он с зажмуренными глазами сидел на карачках, вспоминая, как давно в детстве, страшной черной зимой, сильно ушиб копчик, прыгнув

из слухового окна газовой подстанции на заиндевевший матрас внизу. А когда он, помотав головой, открыл глаза, оказалось, что он находится в той самой галерее с полосой орнамента на стене, откуда его вытащил Итакин, и на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в алом халате — это был он, в чем Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошел навстречу; его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет Итакина поговорить со стражником о жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар, и вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашиной руки и плашмя ударил его тяжелым клинком по голове.

## Level 8

Саша открыл глаза и с недоумением обвел ими небольшую полутемную комнату, на полу которой он лежал. Под ним был мягкий ковер, на стене горела масляная плошка, а у стены стоял удивительной красоты сундук, окованный чеканными медными листами. Под потолком плыли клубы дыма; пахло чем-то странным, словно палеными перьями или жженой резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться: почти по горло на него был натянута похожий на обивку матраса мешок, перемотанный толстой веревкой.

— Проснулся, шурави?

Изогнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воина в красном халате, сидящего на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка которого с медным мундштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась Сашина сумка. Воин вынул из складок халата кривой нож, показал его Саше и захохотал.

— Да ты не бойся, шурави, не бойся, — сказал он, нагибаясь над Сашей. — Сразу не убил — теперь не трону.

Петли вокруг мешка ослабли. Воин сел на свои подушки и, посасывая кальян, задумчиво глядел, как Саша выпутывается из мешка. Когда он окончательно вылез и, сев на ковер,

стал растирать затекшие ноги, воин молча протянул ему дымящийся шланг. Саша безропотно взял его и глубоко затаился. Комната сразу сузилась и перекосилась, и вдруг стало слышно потрескивание масла в лампе — как оказалось, это была целая энциклопедия звука.

— Меня зовут Зайнаддин Абу Бакр Аббас ал-Хувафи, — сказал воин, подтягивая к себе раскрытую Сашину сумку и запуская в нее пятерню. — Можешь звать меня по любому из этих имен.

— Меня — Алексей, — наврал почему-то Саша. Из всех непонятных слов он разобрал только «Аббас».

— Ты ведь духовный человек?

— Я-то? — переспросил Саша, с интересом наблюдая за трансформациями комнаты. — Пожалуй, духовный.

Почему-то он чувствовал себя в безопасности.

— Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь.

Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Тримингэма «Суфийские ордены в исламе», недавно купленную Сашей в «Академкниге» и дочитанную уже до середины. На ее обложке был нарисован какой-то мистический символ — зеленое дерево, составленное из переплетенных арабских букв.

— Очень тебя убить хотел, — признался Аббас, взвешивая книгу в руке и нежно глядя на обложку. — Но духовного человека — не могу.

— А за что меня убивать?

— А за что ты сегодня Маруфа убил?

— Какого Маруфа?

— Не помнишь уже?

— А, этого, что ли... с ятаганом? И перо еще на тюбране?

— Этого.

— Да я не хотел, — ответил Саша, — он сам полез. Или не сам... В общем, он уже стоял у дверей с ятаганом. Как-то все машинально получилось.

Аббас недоверчиво покачал головой.

— Да что ты меня, за изверга принимаешь? — даже растерялся Саша.

— А то нет. Вами, шурави, у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, которого ты зарезал, утром ко мне подошел и говорит: прощай, говорит, Зайнаддин Абу Бакр. Чую, сегодня шурави придет... Я думал, он гашиша объелся, а днем приносят его в караулку с перерезанным горлом...

— Я правда не хотел, — с досадой сказал Саша.

Аббас усмехнулся.

— Хотел, не хотел. У каждого своя судьба, и все нити в руке Аллаха. Так?

— Точно, — сказал Саша. — Вот это точно.

— Я тут с одним суфием из Хорасана пять дней пил, — сказал Аббас, — он мне и рассказал одну сказку... В общем, я точно не помню, как там было, но там кого-то по ошибке зарезали, а после оказалось, что это был убийца и преступник, который как раз собирался совершить свое самое страшное злодеяние. Я вообще люблю с духовными людьми выпить... Вспомнил я эту сказку и думаю — а вдруг ты тоже какие сказки знаешь?

Аббас подошел к сундуку и вынул бутылку виски «Уайт Хорс», два пластиковых стакана и несколько мятых сигарет.

— Это откуда? — изумился Саша.

— Американцы, — ответил Аббас. — Гуманитарная помощь. Как у вас компьютеры в министерствах начали ставить, так они нам помогать стали. Ну и еще на гашиш меняют.

— А американцы что, не изверги? — спросил Саша.

— Да разные есть, — ответил Аббас, наполняя два пластиковых стакана. — С ними хоть договориться можно.

— Договориться — это как?

— Запросто. Ты, когда видишь стражника, нажимай кнопку «К». Он тогда притворится мертвым, а ты шагай себе дальше.

— Не знал, — ответил Саша, принимая стакан.

— А откуда тебе знать, — сказал Аббас, поднимая свой и салютуя им Саше, — когда у вас все игры колотые. Инструкций-то нет. Но ведь спросить можно? Я думал, шурави говорить не умеют.

Аббас выпил и шумно выдохнул.

— Вот есть там у вас такой Главмосжилинж, — вдруг совершенно другим тоном заговорил он, — и есть там Чуканов Семен Прокофьевич — такой, сука, маленький и жирный. Вот это гадина так гадина. Выходит на первый уровень — дальше боится, ловушки там — и ждет наших. Ну, у нас, понятно, дело военное: хочешь не хочешь — иди. А ребята там неумелые, молодежь. Так он каждый день пять человек убивает. Норма у него. Войдет, убьет и выйдет. Потом опять. Ну, если он на седьмой уровень попадет...

Аббас положил руку на рукоять меча.

— А американцы вам оружие поставляют? — спросил Саша, чтобы сменить тему.

— Поставляют.

— А можно посмотреть?

Аббас подошел к своему сундуку, вынул небольшой пергаментный свиток и кинул его Саше. Саша развернул свиток и увидел короткий столбец команд микроассемблера, витиевато написанных черной тушью.

— Что это? — спросил он.

— Вирус, — ответил Аббас, наливая еще по стакану.

— Ах ты... Я-то думаю, кто у нас все время систему стирает? А в каком он файле сидит?

— Ну ладно, — сказал Аббас, — хватит о чепухе. Пора сказку рассказать.

— Какую сказку?

— Учебную. Ты же духовный человек? Значит, должен знать.

— А про что? — спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса.

— Про что хочешь. Главное — чтоб мудрость была.

Чтобы выгадать минуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затянулся, вспоминая, что он прочел у Тримингэма про суфийские сказки. Потом на минуту закрыл глаза.

— Ты про магрибский молитвенный коврик знаешь? — спросил он уже приготовившегося слушать Аббаса.

— Нет.

— Ну так слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошел до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошел по ней, глядя по сторонам. И вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха, с черной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда старик остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил: «Мальчик, ты любишь сказки?» Юсуф очень любил сказки и так и ответил. «Я знаю одну сказку, — сказал старик, — это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе ее рассказал, но уж больно она страшна». Но мальчик Юсуф, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать. И вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздал-

ся звон колокольчиков и громкие крики — так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в черной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, это был всего лишь незначительный подчиненный его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошел назад в поместье. Выбрав минуту, он подошел к отцу и спросил: «Папа! Ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?» И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме. «Мама! — крикнул он. — Несчастье!» Она подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила: «Что такое, сынок?» — «Мама, — закричал мальчик, — я подошел к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер!» — «Про какую вещь?» — нахмурясь, спросила она. «Про магрибский молитвенный коврик!» И вдруг она тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала и умерла. Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и наконец попал в ханаку к очень известному суфию и стал его учеником. Прошло несколько лет, и Юсуф подошел к этому суфию, когда тот был один, поклонился и сказал: «Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?» — «Спрашивай, сын мой», — улыбнувшись, сказал суфий. «Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?» Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мертвый. Тогда Юсуф кинулся прочь. С тех пор он стал странствующим дервишем и ходил по Персии в поисках известных учителей. И все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился и стал немощным. Ему стали приходиться в голову мысли, что он скоро умрет и не оставит после себя на земле никакого следа. И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всем этом, он вдруг увидел того самого старика в черной шляпе. Старик был такой же, как и раньше, — годы ничуть его не состарили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился: «Почтенный шейх! Я ищущ вас всю жизнь! Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике!» Старик в черной шляпе сказал: «Ну ладно. Будь по-твоему». Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в

молчании просидел возле его трупa. Потом встал, снял с него черную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельца чайханы сахарного петушка...

Аббас долго молчал, а потом сказал:

— Признайся, ты скрытый шейх?

Саша не ответил.

— Понимаю, — сказал Аббас, — все понимаю. Скажи, а у этого дедушки шляпа точно была черная?

— Точно.

— Может, зеленая? Я думаю, может, это Зеленый Хидр был?

— А что тут у вас знают о Зеленом Хидре? — спросил Саша. Он еще не прочитал у Тримингэма, кто это такой, и ему было интересно.

— Да все говорят разное. Вот, например, тот дервиш из Хорасана, с которым мы пили. Он сказал, что Зеленый Хидр редко является в своем настоящем обличье, он принимает чужую форму. Или вкладывает свои слова в уста разным людям — и каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них Зеленый Хидр.

— Это верно, — сказал Саша. — Скажи, Аббас, а кто тут у вас на флейте играет?

— Никто не знает. Уж сколько раз весь лабиринт прочесывали... Без толку.

Аббас зевнул.

— Мне вообще-то на пост пора, — сказал он. — Кувшины надо разнести. Скоро американцы придут. Не знаю, как тебя отблагодарить... Разве что... Хочешь на принцессу посмотреть?

— Хочу, — ответил Саша и залпом выпил то, что оставалось у него в стакане.

Аббас встал, снял с гвоздя на стене связку больших ржавых ключей и вышел в полутемный коридор. Саша вышел за ним. Дверь комнаты, где они сидели, была покрашена под стену, и когда Аббас закрыл ее, Саша подумал, что ему никогда не пришло бы в голову, что этот тупик — а он побывал в сотнях таких тупиков — на самом деле замаскированная дверь. Они молча дошли до выхода на следующий уровень, который оказался совсем рядом.

— Только тихо, — сказал Аббас, передавая Саше ключи, — а то наших перепугаешь.

- Ключи отдать потом?
  - Оставь себе. Или выкинь.
  - А тебе они не нужны?
  - Будут нужны, — сказал Аббас, — сниму с гвоздя. Это твоя игра. У меня своя. Если что, заходи.
- Он протянул Саше клочок бумаги с какой-то надписью.
- Здесь написано, как пройти, — сказал он.

## Level 12

Подъем на самый верх занял от силы десять минут, а если бы Саша сразу попадал ключом в замочные скважины, понадобилось бы и того меньше. От уровня к уровню вела узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня — что это за камень, определить было трудно, потому что он был очень приблизительным, да и существовал недолго: когда за Сашей закрылась последняя дверь, реальность снова приобрела ясные цвета и четкость.

Саша увидел перед собой уходящую далеко вверх стену с такими же карнизами, как те, по которым он совсем недавно карабкался навстречу Аббасу. Он машинально шагнул вперед, подпрыгнул и подтянулся. Вспомнив, что у него ключи, он плюнул, спустился вниз и неожиданно для самого себя прыгнул прямо на глухую стену, стукнулся о камни, свалился, опять прыгнул и опять упал. Попытавшись нормально встать на ноги, он вместо этого подскочил, прогнулся и секунду висел в воздухе с вытянутыми над головой руками. Только после этого он пришел в себя и со стыдом подумал: «Вот ведь развезло».

Это был последний уровень, и служебная лестница здесь кончалась. Саша побежал по длинной галерее с факелами в бронзовых кольцах (ему все казалось, что кто-то воткнул их туда вместо флагов) и через некоторое время уткнулся в висящий на стене ковер. Развернувшись, он побежал в другую сторону, петляя по коридорам и галереям, и вышел к тяжелой металлической двери вроде тех, что вели с уровня на уровень. С ключами наготове он нагнулся к ней, но замка в двери не оказалось. Именно за этой дверью должна была быть принцесса, только чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить по далеким аппендиксам двенадцатого уровня,

на каждом шагу рискуя свернуть шею, хоть и нарисованную, но единственную.

Другой вход он нашел минут через десять, заглянув за ковер, висящий в тупике коридора. В одной из плит был черный зрачок замочной скважины. Саша сунул туда самый маленький ключ из связки, и открылась крохотная железная дверка, не больше окна пожарного крана. Саша с трудом протиснулся внутрь.

Перед ним был зал с высоким сводчатым потолком; на стенах горели факелы и висели ковры, а в дальнем конце видна была поднятая решетка, за которой начинался полутемный коридор. В другой стене была тяжелая металлическая дверь, та самая, в которой не было замочной скважины и через которую Саше полагалось бы войти, сумеи он когда-нибудь добраться до этого уровня сам. Он узнал это место — именно здесь он видел принцессу, когда она иногда появлялась на экране. Но сейчас ее не было, как не было ни ковров с подушками, ни пузатых песочных часов, ни дворцовой кошки. Был только голый пол. Зато поднятой решетки в стене Саша раньше не видел — эта часть зала не попадала на экран, когда показывали принцессу. Он пошел вперед.

Коридор за решеткой неожиданно кончился банальной деревянной дверью вроде тех, что приводят в коммунальную ванную или сортир, и Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя.

Комната больше всего напоминала большой пустой чулан. Пахло чем-то затхлым — так пахнет в местах, где хозяйева держат нескольких кошек и собирают советские газеты в подшивку. На полу валялся мусор: пустые аптечные флаконы, старый ботинок, сломанная гитара без струн и какие-то бумажные обрывки. Обои в нескольких местах отстали и свисали целыми лоскутами, а окно выходило на близкую — в метре, не больше — кирпичную стену. В середине комнаты стояла принцесса.

Саша долго смотрел на нее, потом несколько раз обошел вокруг и вдруг сильно залепил по ней ногой. Тогда все, из чего она состояла, повалилось на пол и распалось — сделанная из сухой тыквы голова с наклеенными глазами и ртом оказалась возле батареи, картонные руки согнулись в руках дрянного ситцевого халата, правая нога отпала, а левая повалилась на пол вместе с обтянутым черной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя, прямо и

как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрел по коридору назад, но решетка, отделявшая коридор от сводчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук ее падения через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания.

Вернувшись, он еще раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошел и нажал на нее плечом. Дверь прогнулась, но не открылась; видимо, она была очень тонкой. Тогда Саша отошел, сжал кулаки и с разгону врезался в нее плечом — с такой силой, что, распахнув ее и с хрустом прорвав обои, пронесся еще метр или два по воздуху и только потом, споткнувшись обо что-то, полетел на пол, мельком увидев впереди чьи-то плечи, затылок и спинку стула.

— Тише, — сказал Итакин, поворачивая голову от экрана, на котором мерцал высокий сводчатый зал, в центре которого на ковре гладила кошку принцесса. — Бориса Емельяновича растревожишь. Ему сейчас опять в бой. У них сегодня большие потери.

Саша приподнялся на руках и оглянулся — за его спиной поскрипывала раскрытая дверца стенного шкафа, из которой еще планировали на пол какие-то бумаги.

— Ну и дела, Петя, — сказал он, поднимаясь на ноги. — Что же это такое?

— Ты про принцессу? — спросил Итакин.

Саша кивнул.

— Это к ней ты и шел все время, — сказал Итакин. — Я ж говорю, твою игру раскололи.

— Неужели никто до нее не доходил?

— Почему. Очень многие доходили.

— Так почему они молчали? Чтобы другие тоже... чтобы им не было так обидно?

— Я думаю, не поэтому. Просто когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и наконец доходит, он уже не может увидеть все таким, как на самом деле... Хотя это тоже не точно. Никакого «самого дела» на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть.

— А почему тогда я видел?

— Ну, ты просто прошел по служебной лестнице.

— Но как же можно увидеть что-то другое? И потом, я ведь

столько раз видел ее сам — когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране, и она совсем не такая!

— Я, наверное, не совсем правильно выразился, — сказал Итакин. — Эта игра так устроена, что дойти до принцессы может только нарисованный принц.

— Почему?

— Потому что принцесса тоже нарисована. А нарисовано может быть все что угодно.

— Но куда деваются те, кто играет? Те, кто управляет принцем?

— Помнишь, как ты вышел на двенадцатый уровень? — спросил Итакин и кивнул на экран.

— Помню.

— Ты можешь сказать, кто бился головой о стену и прыгал вверх? Ты или принц?

— Конечно, принц, — сказал Саша. — Я и прыгать-то так не умею.

— А где в это время был ты?

Саша открыл было рот, чтобы ответить, и замер.

— Вот туда они и деваются, — сказал Итакин.

Саша сел на стул у стены и долгое время думал.

— Слушай, — сказал он наконец, — кто же там все-таки на флейте играет?

— А вот этого до сих пор никто не знает.

Саша поглядел на часы и вдруг икнул.

— На углу еще можно взять, — сказал он, — я сейчас сгоняю. Подождешь? По стакану, а?

— Мне спешить некуда, — сказал Итакин. — Только тебя назад не пустят.

— Да я быстро, — нажимая «Escape», сказал Саша, — через пятнадцать минут.

На экране застыла картинка: из-под мавританской арки открывался вид на огромный восточный дворец, состоящий из множества башен и башенок, тянущихся к сияющему огромными звездами летнему небу.

## Game paused

Возле углового гастронома шевелилась такая очередь, что Саша понял: взять бутылку будет крайне трудно и, может

быть, невозможно вообще. Будь он трезвым, это точно было бы невозможно, но он, как оказалось, выпил достаточно, чтобы через несколько минут броуновского движения по переполненному залу оказаться не так уж далеко от кассы. Со всех сторон напирали и матерились, но скоро Саша сообразил, что кажущийся хаос на самом деле представляет собой упорядоченное движение четырех очередей, трущихся друг о друга из-за разной скорости. Очередь за портвейном была слева, а та, в которую он попал, — за килькой в томате, той самой, что после открытия банки имеет обыкновение внимательно глядеть на открывшего не меньше чем десятком крошечных блестящих глаз. Сашина очередь двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между стройотрядовской курткой, на спине которой было выведено загадочное слово «КАТЭК», и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет пятидесяти.

— Ы-ы-ы-ы... — сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него, и закатил глаза. Изо рта у него невысказанно воняло; Саша торопливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный матерчатый вымпел и выпиленная из раскрашенной фанеры голова Ленина.

«Господи, — вдруг подумал он, — а я ведь действительно живу в этом... в этой... Стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих хрюсел — и думаю, что я принц?!»

— Килька кончается! — раздались испуганные голоса в соседней очереди. — Килька!

Саша почувствовал, что сзади его дергают за плечо.

— Что такое? — спросил он оборачиваясь.

— Я так считаю, — сказал мужик в пиджаке, — надо нам идти на исконные наши земли — Владимир, Ярославль, — раздать людям оружие и опять всю Россию завоевать.

— А потом?

— Потом идти воевать хана Кучума, — сказал мужик и потряс перед Сашей кулаком.

— Портвейн кончается... — тревожно зашептал народ.

Саша выдавился из очереди и стал проталкиваться к выходу. Пить теперь совершенно не хотелось. У выхода стояли две женщины в белых халатах и шапочках и, поглядывая на часы, тихо, но горячо что-то обсуждали.

Вдруг где-то сзади, словно бы под невидимым потолком раза в три выше магазинного, возник и стал расти странный звук, похожий на одновременный гул множества авиационных двигателей. За несколько секунд он достиг такой интенсивности, что люди, только что мирно матерившиеся в очередях, сначала стали в недоумении озирались, а потом присесть на корточки или даже откровенно падать на пол, затыкая руками уши. Звук достиг наибольшей силы, так же резко пошел на убыль и стих совсем, но ему на смену пришел грохот танковых моторов, так же непонятно где возникший и непонятно куда ушедший через несколько секунд.

— Вот так каждый вечер, — сказала женщина в белом халате, — ровно без пятнадцати шесть. Мы уж куда только не звонили. Мне Зоя из «Новоарбатского» говорила — у них то же самое...

Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и за чем кто стоял. Но это было не важно, потому что и килька и портвейн уже кончились.

Саша вышел на улицу и медленно побрел к сияющему веселыми электрическими огнями зданию Госплана. Впереди включилась разрезалка пополам — по тому болезненному скрипу, с которым она работала, и по большим щелям между гнутыми зубьями Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская разрезалка пополам, плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на положенном ей месте. Он прошел было мимо, но по приобретенной в игре привычке вернулся и посмотрел, не стоит ли сразу за ней, как это обычно бывало в лабиринте, кувшин с восстанавливающим жизненную силу напитком. Кувшина не было, зато были сразу три бутылки семьдесят второго портвейна. Саша пошел дальше, прислушиваясь к ухающему скрипу за спиной и угадывая в нем несколько повторяющихся нот из «Подмосковных вечеров» — словно пластинку, стоящую на проигрывателе, заело, и ржавый голос безнадежно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос: «есть ли бзна?.. есть ли бзна?.. есть ли бзна?»

Саша дошел до Госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончался, и высокая ассирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он все-таки попытался

войти, преодолел несколько метров против течения и уже уцепился было за холодное ограждение турникета, но был смыт и вынесен обратно на улицу группой жизнерадостных женщин. Мимо прочапал Кузьма Ульянович Старопопиков с портфелем в руке, и Саша машинально пошел за ним. Кузьма Ульянович сразу углубился в какие-то темные переулки — видно, жил где-то неподалеку. Саша сам не знал, зачем он идет за Старопопиковым — ему нужно было какое-нибудь дело, к которому можно на время пристроиться, чтобы спокойно подумать.

Минут через десять — а может, и через полчаса, он как-то потерял счет времени — Кузьма Ульянович, дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду. Саша решил, что дальше идти за ним будет еще глупее, чем до сих пор, и совсем уже собрался развернуться, когда вдруг к Кузьме Ульяновичу подошли двое долговязых парней в модных натовских куртках. Саша мог дать что угодно на отсечение, что только что их не было во дворе. Он почувствовал неладное и быстро нырнул за пожарную лестницу, до самого низа забитую досками, — здесь его никто не мог увидеть, хоть он был рядом с подъездом.

— Вы — Кузьма Ульянович Старопопиков? — громко спросил один из подошедших — по-русски он говорил с сильным акцентом и, как и второй, был курчав, черен и небрит.

— Да, — с удивлением ответил Кузьма Ульянович.

— Вы бомбили лагерь под Аль-Джегази?

Кузьма Ульянович вздрогнул и снял очки.

— Вы сами-то кто бу... — начал было он, но собеседник не дал ему договорить.

— Организация Освобождения Палестины приговорила вас к смерти, — сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. То же сделал и второй.

Кузьма Ульянович подпрыгнул и выронил из руки портфель, а в следующий миг оглушительно загрели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. Первая же пуля отбросила Кузьму Ульяновича на дверь, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обоймы своих пистолетов, повернулись и пошли прочь; Саша с удивлением заметил, что сквозь них видны деревья и скамейки, а когда они дошли до угла, то были уже почти невидимы и даже, кажется, не стали делать вид, что поворачивают за него. Наступила странная тишина. Саша вышел из-за пожарной лестницы, по-

смотрел на Кузьму Ульяновича, который тихо ворочался на асфальте у двери, и растерянно огляделся. Из соседнего подъезда вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, и Саша со всех ног кинулся к нему. Тот удивленно остановился, и Саша вдруг почувствовал себя глупо.

— Вы сейчас ничего не слышали? — спросил он.

— Ничего. А что я должен был слышать?

— Так... Там человеку плохо.

Мужчина наконец увидел Кузьму Ульяновича.

— Пьяный, наверно, — сказал он, подходя и приглядываясь. — Хотя вроде нет. Эй, что с вами?

— Сердце, — слабо заговорил Кузьма Ульянович, делая между словами большие паузы. — Вызывайте «скорую», мне двигаться нельзя. Или лучше жену позовите. Второй этаж, сорок вторая квартира.

— Может, лучше мы вас отнесем?

— Нет, — сказал Кузьма Ульянович. — У меня уже два инфаркта было. Я знаю, что лучше и что хуже.

Мужик в спортивном костюме кинулся вверх по лестнице, а Саша повернулся и быстро пошел прочь.

Он сам не заметил, как добрал до метро и доехал до Госснаба. Когда он пришел в себя на набережной, возле родной пятиэтажки с колоннами у фасада, он был уже окончательно трезв. Два окна на третьем этаже еще горели, и он решил подняться.

Третий этаж был пуст и темен, и все, казалось, ушли — только в первом подотделе малой древесины кто-то еще работал. Саша подошел к приоткрытой двери и заглянул в щель.

В центре помещения в ветхом голубом кимоно и зеленых хакама, с шапкой чиновника пятого ранга на голове и веером в руке стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в темном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель, Борис Григорьевич поднял веер над головой, сложил и опять раскрыл его, прижал на секунду к груди и резким движением протянул к Саше; затем медленно, перед каждым шагом подтягивая одну полусогнутую ногу к другой, поплыл к двери, не опуская повернутого на себя красным шелковым разворотом веера. Саше показалось, что начальник плачет — или тихо воет, — но через секунду он разобрал нараспев читаемое стихотворение:

Как капле росы,  
Что на стебле  
Сверкнет на секунду  
И паром  
Летит к облакам, —  
Не так ли и нам  
Скитаться всю вечность  
Во тьме?  
О безысходность!

Борис Григорьевич закрутился на месте и замер, высоко подняв веер. Так он стоял несколько минут, а затем словно пришел в себя — поправил пиджак, пригладил руками волосы и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донесся свист меча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в «Будокане», во втором слева от ворот зале. Тогда он вошел, прокашлялся и крикнул:

— Борис Григорьевич!

Свист меча стих.

— Лапин?

— Я все подписал, Борис Григорьевич!

— Ага. Положи на шкаф, я сейчас занят.

— Я поработаю, Борис Григорьевич?

— Работай, работай. Я сегодня допоздна.

Саша положил бумаги на шкаф, сел на свое место и занес было палец над кнопкой, включающей компьютер. Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и притянул к себе телефон.

— Алло,— сказал он в трубку, дождавшись ответа,— Главмосжилинж? Чуканов Семен Прокофьевич еще на месте? Какой? Он записал новый номер и сразу же его набрал.

— Семена Прокофьевича. Семен Прокофьевич? Это из Госплана беспокоят, по поручению товарища Старопопикова... Главное, что он вас помнит... Ну как хотите. Ваше... Нет, на счет «Принца». Он просил вам передать, как на седьмой уровень сразу выйти... Не знаю, может быть, в министерстве на совещании. Ну вы сами там вспомните, где кто кого видел, а сейчас запишите... Жду... Значит, так...

Саша развернул данную ему Аббасом бумажку.

— Набираете слова «принц мегахит семь». Да, латинские. Русское «эн»... Нет, цифра. Ну что вы, не за что. Всего наилучшего. До свидания.

Он встал и вышел покурить, а вернувшись через несколько минут, набрал тот же номер.

— Семена Прокофьича... Как... Я же только что с ним говорил... Какой ужас... Какой ужас... Извините...

Положив трубку, Саша включил компьютер.

## Level 1

Спрыгнув с каменного карниза, он побрел по коридору в тупичок, куда раньше стаскивал всякие найденные вещи. Он уже давно туда не заходил, но все осталось прежним — сложенная из обломков каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то берцовая кость, из которой он начинал было долбить мундштук, да забросил, пара узких медных кувшинов, в одном из которых что-то еще оставалось, и лежащий на полу госснабовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лег на лежанку и закрыл глаза, и почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать, и, натянув на себя часть тряпья и устроившись так, чтоб ниоткуда не дуло, он уснул.

Сначала ему снился Петя Итакин, сидящий на вершине какой-то башни и играющий на длинной камышовой флейте, а потом приснился Аббас в переливающимся зеленом халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши «Shift», «Control» и «Return», а потом еще дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать ее тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней ни стояло, сделает очень необычную вещь: подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент растворится в небе.

Have a nice DOS!

B >>

# ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА

повесть





Андрея разбудил обычный утренний шум: бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнившей коридор, отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработало радио. Заиграла музыка — ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли.

— Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света — этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас.

Андрей свесил ноги на пол и нащупал свои ботинки. На соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич — судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу нипочем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла, и новый день для Андрея бесповоротно начался.

Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с туалетными принадлежностями и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял бородатый горец по имени Авель — на его большом круглом лице отчего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом.

— Я за тобой, — сказал Андрей, — а пока покурить схожу, ладно?

— Не переживай, — мрачно сказал Авель.

Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко

вцарапанной надписью «Локомотив — чемпион» и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояло несколько человек. Андрей стрельнул штуку «Дорожных» у одного из зрителей и встал рядом.

Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну, и пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель — ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое, в одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи; они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника новенькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча и не поднимая глаз.

Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало — день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника, клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб, и его манипуляции над листом картона начинали казаться священнодействием какой-то забытой религии.

— Эй, — сказал один из ассистентов, поднимая голову, — ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый.

Андрей не ответил. Можно в письмо газету написать, подумал он, — мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли.

— Глухой? — окончательно выпрямляясь, повторил ассистент. Андрей опять промолчал. Ассистент был не прав по всем понятиям — территория здесь была чужая.

— Кручу, верчу, много выиграть хочу, — вдруг проскрипел наперсточник.

Видимо, это был условный знак — ассистент все понял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурочек им под ноги.

Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожиданий, они управились очень быстро.

Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет пять оно не то что повзрослело или постарело, а, скорее, потеряло актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальная медитация и группа «Fleetwood Mac». Последнее время в ходу были совсем другие лица, в духе предвоенных тридцатых, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, быстро умылся и пошел к себе.

Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у стола, почесываясь и перелистывая старый номер «Пути», который Андрей выменял вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал читать.

— С добрым утром, Андрей! — сказал Петр Сергеевич и ткнул пальцем в газету. — Вот пишут: существование снежного человека можно считать документально доказанным.

— С добрым утром, Петр Сергеевич, — сказал Андрей. — Ерунда это. Вы сегодня опять всю ночь храпели.

— Врешь. Правда, что ли?

— Правда.

— А ты свистел?

— Свистел, свистел, — ответил Андрей. — Еще как. Только без толку. Вы когда на спину переворачиваетесь, сразу начинаете храпеть, и потом уже все бесполезно. Лучше б вы себя привязывали, чтобы на боку лежать все время. Помните, как вы в прошлом году делали?

— Помню, — сказал Петр Сергеевич. — Я тогда моложе был. Сейчас мне так не уснуть. Ой, беда какая. Это все нервы у меня. Я ведь раньше, Андрюша, до реформ этих долбанных, никогда не храпел. Ну ничего, придумаем что-нибудь.

— Чего еще пишут? — кивая на газету, спросил Андрей. Пока Петр Сергеевич не начал вспоминать о том, что было до реформ, его мыслям надо было дать какое-нибудь направление.

Водя пальцем по зеленоватому листу и однообразно матерясь, Петр Сергеевич принялся пересказывать передовую статью, а Андрей, кивая и переспрашивая, стал обдумывать свои планы на день. Сперва предстояло идти завтракать, а потом надо было зайти к Хану — к нему имелось какое-то смутное дело.

В ресторане, длинном и узком помещении с десятком неудобных столиков, было еще пусто, но уже пахло горелым, причем казалось, что сгорело что-то тухлое. Андрей сел за свое обычное место у окна, спиной к кассе, и, шурясь от солнца, поглядел в меню. Там были только пшенка, чай и «коньяк азербайджанский». Андрей поймал взгляд официанта и утвердительно кивнул. Официант показал пальцами что-то маленькое, граммов на сто, и вопросительно улыбнулся. Андрей отрицательно помотал головой.

Горячий солнечный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей это настоящая трагедия — начать свой путь на поверхности солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить многокилометровое небо — и все только для того, чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего супа. А ведь вполне могло быть, что эти косо падающие из окна желтые стрелы обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды — то есть, как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты.

«Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу. И вот я падаю, падаю, уже черт знает сколько лет падаю на стол перед тарелкой, а кто-то глядит в меню и ждет завтрака...»

Андрей поднял глаза на телевизор в углу и увидел какое-то примелькавшееся лицо, беззвучно открывающее рот перед тремя коричневыми микрофонами. Потом камера повернулась и показала двух человек, которые яростно толкались у другого микрофона, с бесстыдным русским фрейдизмом хватая друг друга за одинаковые рыжие галстуки.

Подошел официант и поставил на стол завтрак. Андрей посмотрел в алюминиевую миску. Там была пшенка и растаявший кусок масла, похожий на маленькое солнце. Есть совершенно не хотелось, но Андрей напомнил себе, что следующий раз попадет сюда в лучшем случае вечером, и стал стоически глотать теплую кашу.

Появились первые посетители, и ресторан стал постепенно заполняться их голосами — у Андрея было такое ощущение

ние, что на самом деле тишина оставалась ненарушенной, просто помимо нее появилось несколько притягивающих внимание раздражителей. Тишина была похожа на пшенку в его миске — она была такой же густой и вязкой; она деформировала голоса, которые звучали на ее фоне отрывисто и истерично. За соседним столом громко говорили о снежном человеке, которого будто бы видела вчера какая-то сумасшедшая старуха. Андрей сначала прислушивался к разговору, а потом перестал.

Напротив него уселся румяный седой мужчина в строгом черном кителе с небольшими серебряными крестиками на лацканах.

— Приятного аппетита, — сказал он, улыбувшись.

— Да бросьте вы, — сказал Андрей.

— Что это вы такой мрачный? — удивленно спросил сосед.

— А вы чего такой веселый?

— Я не весел, — ответил сосед, — я радостен.

— Ну и я тоже, — сказал Андрей, — не мрачен, а задумчив.

Сижу и размышляю.

Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит, и стал крутить ложечкой быстрее.

— Думать, а иногда и размышлять, — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало.

— А что, — спросил Андрей, — есть разные места?

— Вы сейчас иронизируете, а они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже тысячи лет назад. А он просто об этом не знает. Или не понимает, что это именно его проблема.

Андрей допил чай.

— А может, — сказал он, — это действительно не его проблема.

— У всех нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешает только гордость и глупость. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает. В том, что он изо дня в день видит вокруг.

Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым, у самого горизонта, поднимались в

небо три огромных, коричневых от ржавчины трубы какой-то электростанции или завода — они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся.

— Чего это вы? — спросил сосед.

— Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой, до неба ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню, уже долго-долго. А гармошка вся засаленная и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии.

Сосед чуть поморщился.

— Все это, знаете, не ново, — сказал он. — Иерархия демиургов, несовершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель. Гностицизм, одним словом. Но ведь счастливым он вас никогда не сделает, понимаете?

— Еще бы, — сказал Андрей, — слово-то какое страшное. А что меня сделает счастливым?

— К счастью путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске, — найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь.

Андрей хотел было спросить, чьему именно замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал.

— Может, вы и правы, — сказал он, вставая из-за стола, — спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек.

— Так у меня работа такая, — сказал сосед. — Спасибо вам. А вот это возьмите на память.

Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетала сияющая — видимо, с отблеском высшей гармонии — металлическая нота с двумя крылышками, примерно двенадцатого калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу.

Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как и всегда в это время дня, по

узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Отчего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах; вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках навыпуск, у многих в руках было пиво.

Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя — голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекатываться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала всё заполняли несущиеся из невидимых динамиков inferнальные частушки, потом пришлось думать о какой-то Надежде, к которой придут после отбоя, потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься в проплывающие мимо окна, за которыми должен был усилиться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника — больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей наконец остановился у двери из желтоватого пластика с цифрой «XV» и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу.

Хан был один — он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью «Angels of California», который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиро Мифунэ, входящего в очередной образ, — похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми.

- Привет, — сказал Андрей.
- Привет. Закрой дверь.
- А если соседи вернутся?
- Не вернутся, — сказал Хан.

Андрей закрыл дверь, и никелированный замок громко щелкнул. У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие — щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным.

— Садись, — сказал Хан, кивая на место напротив.

Андрей сел.

— Что нового? — спросил Хан.

— Так, — сказал Андрей. — Ничего. Ты когда-нибудь думал, куда делись последние пять лет?

— Почему именно пять?

— Цифра не имеет значения, — сказал Андрей. — Я говорю «пять», потому что лично я помню себя пять лет назад точно таким же, как сейчас. Так же шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще пять лет пройдут, и то же самое будет, понимаешь?.. Чего ты на меня так смотришь странно?

— Эй, — сказал Хан, — приди в себя.

— Да я вроде в себе.

Хан покачал головой.

— Скажи-ка мне быстро, — проговорил он, — что такое желтая стрела?

Андрей удивленно поднял глаза.

— Вот странно, — сказал он. — Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так. О жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, и на нее свет падал. Я подумал...

— Ну-ка встань.

— Зачем?

— Встань, встань, — повторил Хан и вылез из-за стола.

Андрей поднялся на ноги, и Хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул.

— Вспомни, — сказал он, — почему ты сюда пришел?

— Убери руки, что ты, одурел? Я просто так зашел.

— Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?

Андрей отодрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь, стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания.

— Что такое желтая стрела? — повторил Хан. — Где мы?

Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено проносящиеся мимо стекла слева направо.

— Ну?

— Подожди, подожди. — Андрей схватился руками за голову и сел на диван. — Я вспомнил. «Желтая стрела» — это поезд, который идет к разрушенному мосту. Поезд, в котором мы едем.

## 10

— Ты сейчас помнишь, что с тобой было? — спросил Хан.

— Уже плохо, — сказал Андрей. — Только в общих чертах. Вроде ничего особенного и не произошло. Как меня зовут, я знал, из какого я купе — тоже. Но это как будто был совсем не я. Я себя очень странно чувствовал — словно есть разница, в каком вагоне ехать. Словно у всего происходящего появилось бы больше смысла, если бы скатерть в ресторане была чистой. Или если бы по телевизору показывали другие хари, понимаешь?

— Можешь не объяснять, — сказал Хан. — Ты просто стал на время пассажиром.

Андрей отвернулся от окна и поглядел на стену тамбура, где была панель с двумя пыльными циферблатами и надписью «проверять каждые...» (далее был пропуск).

— Я и сейчас пассажир, — сказал он. — И ты тоже.

— Нормальный пассажир, — сказал Хан, — никогда не рассматривает себя в качестве пассажира. Поэтому если ты это знаешь, ты уже не пассажир. Им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти. Для них ничего, кроме поезда, просто нет.

— Для нас тоже нет ничего, кроме поезда, — мрачно сказал Андрей. — Если, конечно, не обманывать самих себя.

Хан усмехнулся.

— Не обманывать самих себя, — медленно повторил он. — Если мы не будем обманывать самих себя, нас немедленно обманут другие. И вообще, суметь обмануть то, что ты называешь «самим собой», — очень большое достижение, потому что обычно бывает наоборот — это оно нас обманывает. А есть ли что-нибудь другое, кроме нашего поезда, или нет, совершенно не важно. Важно то, что можно жить так, как будто это другое есть. Как будто с поезда действительно можно сойти. В этом вся разница. Но если ты попытаешься объяснить эту разницу кому-нибудь из пассажиров, тебя вряд ли поймут.

— Ты что, пробовал? — спросил Андрей.

— Пробовал. Они не понимают даже того, что едут в поезде.

— Какой-то бред получается, — сказал Андрей. — Пассажиры не понимают, что едут в поезде. Услышал бы тебя кто-нибудь.

— Но ведь они и правда этого не понимают. Как они могут понять то, что и так отлично знают? Они даже стук колес перестали слышать.

— Да, — сказал Андрей, — это точно. Это я на себе почувствовал. Я, когда в ресторан зашел, еще подумал — как тихо, когда нет никого.

— Вот именно. Тихо-тихо. Даже слышно, как ложечка в стакане звенит. Запомни: когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром.

— Нас никто не спрашивает, — сказал Андрей, — согласны мы или нет. Мы даже не помним, как сюда попали. Мы просто едем, и все. Ничего не остается.

— Остается самое сложное в жизни. Ехать в поезде и не быть его пассажиром, — сказал Хан.

Дверь в тамбур распахнулась, и вошел проводник. Андрей узнал своего соседа по столику в ресторане — только теперь он был в фуражке, а его китель с петлицами, на которых серебрились какие-то скрещенные молотки или разводные ключи, был растегнут на выпуклом животе, и виднелась вязаная малиновая жилетка, надетая поверх форменной черной рубахи. Он рассеянно крутил вокруг ладони веревку с символом своей должности — ключом, маленьким никелированным цилиндром с крестообразной ручкой, который использовался в качестве кастета при общении с пьяными пассажирами или для открывания бутылок. Проводник тоже узнал Андрея, широко улыбнулся и приложил три сложенных щепотью пальца к козырьку.

— Чего это он скалится? — спросил Хан, когда проводник скрылся в вагоне.

— Так. За столом разговорились. А что делать, если это опять случится?

— Что? — спросил Хан. — Ты про проводника?

— Нет. Если я опять стану пассажиром.

— Надо просто перестать им быть, и все. Это со всеми нами иногда бывает.

— Что значит — со всеми нами? Нас что, здесь много?

— Я думаю, да, — сказал Хан. — Должно быть много, только мы друг друга не знаем. Раньше точно было много.

— Скажи, а от кого ты про все это первый раз узнал?

— Не знаю, — сказал Хан, — я их не видел.

— Как это? Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты не видел?

— А вот так, — сказал Хан, и Андрей понял, что тот не собирается дальше развивать эту тему.

— Ну а где они сейчас? — спросил он.

— Я думаю, что они там, — сказал Хан и кивнул за окно, где плыло бесконечное поле, заросшее травой, по которой, как по воде, шли волны от ветра.

— Они умерли?

— Они сошли. Однажды ночью, когда поезд остановился, они открыли дверь и сошли.

— По-моему, ты что-то путаешь, — сказал Андрей.— «Желтая стрела» не останавливается никогда. Это все знают.

— Послушай, — сказал Хан, — опомнись. Пассажиры не знают, как называется поезд, в котором они едут. Они даже не знают, что они пассажиры. Что они вообще могут знать?

## 9

Как только Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то произошло. У входа в одно купе стояло несколько человек в темных костюмах; плакала пожилая женщина в черной шали. Радио не работало, зато из купе, где жил Авель, неслась тягостная музыка: играл маленький магнитофон. Андрей вошел к себе.

— Что случилось? — спросил он Петра Сергеевича.

— Соскин умер, — сказал Петр Сергеевич, откладывая книгу. — Сейчас похороны.

— Когда это?

— Вчера ночью. К Авелю теперь очередника подселяют.

— Вот он чего такой мрачный был, — сказал Андрей и посмотрел на книгу, которую читал Петр Сергеевич. Это был Пастернак, «На ранних поездах».

— Да, — сказал Петр Сергеевич, — верно. Не получилось у него. Он сюда брата хотел переселить. Ты же понимаешь, один черножопый зацепится где-нибудь, а потом всех своих тащит. А бригадир документы посмотрел и говорит: он и так в купейном едет, а у нас в общих и плацкарте очередников

полно. Хотя что-то я не очень верю, что он сюда кого-нибудь из плацкарты вселит. Просто Абель сунул мало. Или не тому — вот ему прикурить и дали.

Андрей вспомнил, что так и не купил сигарет.

— Про что книжка? — спросил он.

— Так, — ответил Петр Сергеевич. — Про жизнь.

Он опять погрузился в чтение. Андрей вышел в коридор. Из купе уже выносили тело, и он остановился у окна — протискиваться мимо скорбящих было не принято. Впрочем, процедура обычно не затягивалась.

Из открытой двери показался бледный профиль усопшего над краем оргалитового листа, который держали два проводника. Оргалитовый лист, специально использовавшийся для этих случаев, был с обеих сторон покрашен красной краской, обведен по краю черной каймой и больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали подстаканником.

Покойник был по горло прикрыт старым малиновым одеялом. Откуда-то взявшийся Абель засуетился у окна, открывая его, — оно не поддавалось, и пара мужиков пришла ему на помощь. Вместе они оттянули раму вниз, и образовался просвет сантиметров в сорок. Женщина в темной шали сразу же стала громко кричать, и ее под руки увели в купе. Проводники осторожно подняли подстаканник, выдвинули его край за окно и стали выталкивать покойника наружу — делали они это медленно, чтобы не оскорбить присутствующих суетливостью. Был момент, когда Соскин чуть было не застрял — зацепилось одеяло на груди.

Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мертвая голова с бешено развевающимися на ветру волосами — она неслась в трех метрах над насыпью, и ее наполовину закрытые глаза были обращены к небу, которое постепенно затягивали высокие синие тучи. Отодвигаясь от желтой стены вагона, голова несколько раз дернулась и стала медленно клониться вниз. Потом за стеклом мелькнул малиновый край одеяла, и внизу глухо стукнуло. Еще через секунду мимо окна пролетели подушка и полотенце — по традиции их выбросили вслед за покойником.

Можно было идти за сигаретами, но Андрей все стоял и глядел в окно. Прошло несколько секунд. Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес о стыки рельсов стали звонче,

и мимо окна понеслись ржавые балки моста, за которыми была видна широкая голубая полоса неизвестной реки.

## 8

В ресторане играла музыка, та самая вечная кассета, где в конце был записан обрывающийся на середине «Bridge over troubled waters». За одним из столиков Андрей заметил своего старого приятеля Гришу Струпина в модном твидовом пиджаке, к лацкану которого была прицеплена крылатая эмблема МПС — стоила она бешеных денег, но у Гриши они были. Еще при коммунистах он приторговывал по тамбурам сигаретами и пивом, а сейчас развернулся совсем широко. Напротив Гриши сидел какой-то коротко стриженный иностранец и ел из алюминиевой миски гречневую кашу с икрой. Заметив Андрея, Гриша призывно замахал руками, и через минуту Андрей втиснулся на свободное место рядом с ними. Гриша за последнее время стал еще более пухлым, веселым и кудрявым — или, может быть, так казалось, потому что он был уже немного пьян.

— Здорово, — сказал он. — Знакомьтесь. Андрей, друг зловещего детства. Иван, товарищ зрелых лет и партнер по бизнесу.

Это, значит, парень из эмигрантов, понял Андрей. Они молча пожали руки. Андрей огляделся по сторонам в поисках знакомых лиц. Их не оказалось, зато вокруг, как всегда по вечерам, было много пьяных финнов и арабов.

— Выпьем? — спросил Гриша. Андрей кивнул, и Гриша налил из графина три больших рюмки «Железнодорожной особой».

— За наш бизнес, — поднимая рюмку, сказал Иван.

— Точно, — сказал Гриша и подмигнул Андрею. — Что это такое — бизнес, догадываешься?

— Догадываюсь примерно, — сказал Андрей, чокаясь. — По звучанию. «Бить», «п...да» и «без нас». А вообще я последнее время много всяких слов слышу. Бизнес, гностицизм, ваучер, копрофагия.

— Кончай интеллектом давить, — сказал Гриша, — пей лучше.

— Да, Григорий, — сказал Иван, выпив и выдохнув, — совсем забыл. Слушай. Предлагают большую партию туалетной бумаги с Саддамом Хусейном. Она после войны осталась, а спрос упал. Очень дешево. Сколько она у вас может стоить?

— Стоить-то она может много, — сказал Гриша. — Но я тебе, Иван, могу сразу сказать, что заниматься этим нет мазы. Реальный рынок для туалетной бумаги очень маленький — только СВ. Из-за этого даже братья не стоит.

— А общие и плацкарта? — спросил Иван.

— В сидячих она вообще никогда не шла, а сейчас из-за инфляции плацкарта тоже на газеты переходит.

— Ну хорошо, — сказал Иван, — с плацкартой понятно. А купе? Ведь там тоже...

— Пока да, — ответил Гриша. — Но нам это без разницы. Никто новый, я тебе отвечаю, туда не втиснется.

— Почему? — спросил Иван. — А если ты дешевле продавать будешь?

— Да как же я смогу, Ваня? Ты бы «Файненшл таймс» пореже читал. Если я хоть один рулон дешевле продам, меня в окно живьем выбросят. Я говорю, мазы нет.

— Но нельзя же всю жизнь сигаретами и пивом заниматься, — закуривая, сказал Иван. — Надо на что-то крупнее переходить. Ты насчет алюминия выяснил?

— Да, — ответил Гриша. — Это, кажется, реально.

— Какая схема? — спросил Иван.

— Валюта-рубль-валюта-валюта-валюта, — сказал Гриша.

Иван на секунду сощурил веки, словно смотрел на что-то далекое и ослепительное.

— Ага, — сказал он, вынул из кармана маленький калькулятор и погрузился в вычисления.

— Это как? — тихо спросил Гришу Андрей. — Что за схема?

— Как, как. Платишь старшему проводнику, а он чайные ложки списывает. Это человек серьезный — берет только валютой. Условие такое — ложки надо переломать, потому что целые за погрантабур не пропустят. И вообще, с ними проблемы могут быть. Стало быть, нужны ломщики. Берут они рублями, примерно десять процентов от того, что возьмет старший проводник. Эта часть называется валюта-рубль. И еще три раза надо валюту платить — в штабном вагоне, на погрантабуре и рэкету.

— А как он считает? — прошептал Андрей, кивая на Ивана. — Откуда он знает, сколько кому надо платить?

— Так курс же печатают каждый день, — сказал Гриша. — Покупки и продажи. Ты вообще где живешь, а? У меня такое чувство, что ты из реального мира давно куда-то выпал. Ту-

суешься все с этим Ханом — это, кстати, кличка у него или имя?

— Имя, — сказал Андрей. — А кличка у него, если тебе интересно, Стоп-кран.

— Что это такое?

— Это такая штука на титане, — сказал Андрей, — чтобы пар выходил. Он раньше на титане работал, воду кипятил.

— Господи, — сказал Гриша, — на титане. Ты бы еще с официантом подружился.

Иван поднял голову.

— Нормально, — сказал он. — Будем делать. А как по латуни?

— Тяжелее, — ответил Гриша. — В принципе схема та же, но только все подстаканники на номерном учете. На каждый нужен отдельный акт по списанию. Это надо заместителю бригадира платить, а у меня на него прямого выхода нет. Я с одним его секретарем говорил, но он осторожный очень. Как про подстаканники услышал, сразу с базара съехал.

— По понятиям его провел? — спросил Иван.

— Нет пока. Он, похоже, ботаник.

— Ну хорошо, — сказал Иван. — С ложками начинай прямо завтра, а насчет латуни потом решим.

Он встал, вежливо попрощался и пошел к выходу. Гриша проводил его взглядом и повернулся к Андрею.

— Я у него в гостях был недавно, — сказал он. — Представляешь, в вагоне только три купе, и в каждом отдельная ванна. Уровень жизни, конечно...

— А что это такое, — спросил Андрей, — уровень жизни?

— Брось, Андрей, — поморщившись, сказал Гриша. — Чего я не люблю, так это когда ты дураком прикидываешься. Давай лучше накатим.

— Давай. Слушай, скажи мне, только честно, — тебе подстаканниками не страшно заниматься?

Гриша открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг задумался и даже полуприкрыл глаза. Его лицо на несколько секунд стало неподвижным и мертвым — только кудрявые волосы шевелились в струе влетающего в открытое окно воздуха.

— Нет, не страшно, — сказал он наконец. — А чернуху, Андрюша, я от себя гоню.

— Хан, — сказал Андрей, — все-таки объясни мне. Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел?

— Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо.

— Ты что, получил такое письмо?

Хан кивнул.

— Ты можешь мне его показать? — спросил Андрей.

— Могу, — сказал Хан. — Но это надо долго идти.

С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, — все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны — как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшие навстречу, — как-то опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины — в застиранных бледных сарафанах; сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару — и, кажется, одну и ту же песню, гребенщиковский «Поезд в огне», но разные части: одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев, только как-то неправильно — пели «этот поезд в огне, и нам некуда больше жить» вместо «некуда больше бежать».

— Кстати, насчет писем, — сказал Хан, подныривая под очередную веревку с бельем. — Ты и сам много раз их получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день. И все остальные тоже.

— Не понимаю, о чем ты, — сказал Андрей. — Лично я никаких писем не получал.

— Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется «Желтая стрела»?

— Нет, — ответил Андрей. — Я тебе, знаешь ли, поверил на слово.

— Подумай.

Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись, стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки-полутаборы в невероятно переполненных общих вагонах, кишаших грязными цыганскими детьми, а потом пошли пустые вагоны — говорили, что раньше и в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырами от пуль и следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором — старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся.

— Почти пришли, — сказал он, — следующий тамбур. Так почему наш поезд так называется?

— Не знаю, — сказал Андрей. — Наверно, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд.

— Он похож на стрелу не только со стороны.

Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет десять, с самого начала Перецепки.

— В углу, — сказал Хан, — на стене. Зажги спичку.

Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это были несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи:

Тот, кто отбросил мир,  
Сравнил его с желтой пылью.

Твое тело подобно ране,  
А сам ты подобен сумасшедшему.

Весь этот мир —  
Попавшая в тебя желтая стрела.

Желтая стрела, поезд, на котором  
Ты едешь к разрушенному мосту.

— Кто это написал? — спросил Андрей.

— Откуда я знаю, — сказал Хан.

— Но ты хотя бы догадываешься?

— Нет, — сказал Хан. — Да это и не важно. Я же говорю, писем вокруг полно — было бы кому прочесть. Например, слово «Земля». Это письмо с таким же смыслом.

— Почему?

— Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы — ну, короче, как интеллигенты говорят, культура.

— Культура, — поправил Андрей.

— Да. А бóльшая часть этой культуры состоит из покойников вперемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев, и трава сверху. Это тоже называется «земля». То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители Земли. Существа из загробного мира, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Андрей. — Как не понять. Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда идет этот поезд?

— Нет, — сказал Хан. — Мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси. Они тебе объяснят, откуда он идет.

— Да, — задумчиво сказал Андрей, — они объяснят, это точно.

— Идем назад?

— Я здесь постою немного. Догоню тебя минут через пять.

Когда Хан вышел, Андрей повернулся к окну. В этих местах он был первый раз. Странно, но из-за того, что вокруг не было людей, ему в голову приходили необычные мысли, которые никогда не посещали его где-нибудь в ресторане, хотя все необходимое для их появления было и там.

То, что он видел в окне, когда смотрел назад, — участок насыпи, украшенный каким-нибудь уносящимся в прошлое кустом или деревом, — было точкой, где он находился секунду назад, и если бы вагон, в котором он ехал, был последним, то там осталась бы только пустота и покачивающиеся ветки по бокам от рельсов.

«Если бы все то, что существовало миг назад, не исчезало, — думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами. Мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с

другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошедшая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую. И будет ли вообще. И не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат. Ведь никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле и кто такие мы сами?»

Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое, и так без конца.

«Я хочу сойти с этого поезда живым. Я знаю, что это невозможно, но я этого хочу, потому что хотеть чего-нибудь другого просто сумасшествие. И я знаю, что эта фраза — „я хочу сойти с поезда живым“ — имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Я даже не знаю, кто такой я сам. Кто тогда будет выбираться отсюда? И куда?»

Он снова поглядел в окно. Уже почти стемнело. По краям пути иногда возникали белые километровые столбики, отчетливо видимые в сумраке и похожие на маленьких каменных часовых.

## 6

Андрей развернул свежий «Путь» на центральном развороте, где была рубрика «Рельсы и шпалы», в которой обычно печатали самые интересные статьи. Через всю верхнюю часть листа шла жирная надпись:

### ТОТАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Устроившись поудобнее, он перегнул газету вдвое и погрузился в чтение:

*Стук колес, сопровождающий каждого из нас с момента рождения до смерти, — это, конечно, самый привычный для нас звук. Ученые подсчитали, что в языках различных народов имеется примерно двадцать тысяч его имитаций, из которых около восемнадцати тысяч относится к мертвым языкам;*

большинство из этих забытых звукосочетаний даже невозможно воспроизвести по сохранившимся скудным, а часто и нерасшифрованным записям. Это, как сказал бы Поль Саймон, *songs, that voices never share*. Но и существующие ныне подражания, имеющиеся в каждом языке, конечно, достаточно разнообразны и интересны — некоторые антропологи даже рассматривают их на уровне метаязыка, как своего рода культурные пароли, по которым люди узнают своих соседей по вагону. Самым длинным оказалось выражение, используемое пигмеями с плато Каннабис в Центральной Африке, — оно звучит так: «У-ку-лэ-лэ-у-ку-ла-ла-о-бэ-о-бэ-о-ба-о-ба».

Самым коротким звукоподражанием является взрывное «п», которым пользуются жители верховьев Амазонки. А вот как стучат колеса в разных странах мира:

В Америке — «джинджерэл-джинджерэл».

В странах Прибалтики — «па-дуба-дам».

В Польше — «пан-пан».

В Бенгалии — «чуг-чунг».

В Тибете — «дзог-чен».

Во Франции — «клик-клик».

В тюркоязычных республиках Средней Азии — «бир-сум», «бирсом» и «бир-манат».

В Иране — «авдаль-халлаж».

В Ираке — «джалал-идди».

В Монголии — «улан-далай». (Интересно, что во Внутренней Монголии колеса стучат совсем иначе — «ун-гер-хан-хан».)

В Афганистане — «накибанди-накибанди».

В Персии — «карнак-зебуб».

На Украине — «трих-тарарух».

В Германии — «вриль-шрап».

В Японии — «додеска-дзен».

У аборигенов Австралии — «тулуп».

У горских народов Кавказа и, что характерно, у басков — «дарлан-бичесын».

В Северной Корее — «улду-чу-чхе».

В Южной Корее — «дулду-кван-ум».

В Мексике (особенно у индейцев уичотль) — «тональ-нагваль».

В Якутии — «тыдын-тыгыдын».

В Северном Китае — «цао-цао-тан-тиен».

В Южном Китае — «дэ-и-чань-чань».

*В Индии — «бхай-гхош».*

*В Грузии — «коба-цап».*

*В Израиле — «таки-бац-бубер-бум».*

*В Англии — «клик-о-клик» (в Шотландии — «глюк-о-клок»).*

*В Ирландии — «бла-бла-бла».*

*В Аргентине...*

Андрей перевел взгляд в самый низ страницы, где длинные столбцы перечислений заканчивались коротким заключительным абзацем:

*Но, конечно, красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России — «там-там». Так и кажется, что их стук указывает в какую-то светлую зоревую даль — там она, там, ненаглядная...*

В дверь постучали, и Андрей рефлекторно схватился за рукоять замка, чуть не свалившись с унитаза.

— Скоро ты там? — спросил голос в коридоре.

— Сейчас, — сказал Андрей и смял газету в неровный ком.

«Там-там, — стучали колеса под мокрым заплеванным полом, — там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там...»

В соседнем вагоне была пробка — там шли похороны. Мимо пропускали, но толпа двигалась очень медленно, подолгу застывая на месте.

— Бадасов умер, — сказал рядом чей-то голос.

Перед Андреем стояла беспокойная девочка с огромными грязными бантами в волосах. Стуча кулаком в стекло, она глядела в окно, иногда поворачиваясь к стоящей рядом матери, одетой в турецкий спортивный костюм.

— Мама, — спросила вдруг она, — а что там?

— Где там? — спросила мама.

— Там, — сказала девочка и ткнула кулаком в окно.

— Там там, — с ясной улыбкой сказала мама.

— А кто там живет?

— Там животные, — сказала мама.

— А еще кто там?

— Еще там боги и духи, — сказала мама, — но их там никто не видел.

— А люди там не живут? — спросила девочка.

— Нет, — ответила мама, — люди там не живут. Люди там едут в поезде.

— А где лучше, — спросила девочка, — в поезде или там?

— Не знаю, — сказала мама, — там я не была.

— Я хочу туда, — сказала девочка и постучала пальцем по стеклу окна.

— Подожди, — горько вздохнула мать, — еще попадешь.

Пьяные проводники наконец управились с подстаканником, труп шмякнулся о землю, подпрыгнул и покатился вниз по откосу. Вслед полетели подушка, полотенце, два красных венка и мраморное пресс-папье — покойный, судя по всему, был человек заметный.

— Я хочу туда-а, — пропела девочка на несуществующий мотив, — там-там, там-там..

Мать дернула ее за руку, приложила палец к губам и, сделав страшные глаза, кивнула на толпу скорбящих. Заметив, что Андрей смотрит на девочку, она подняла на него глаза и чуть выгнула брови, как бы приглашая на вершину годов, прожитых неким абстрактным Вахтангом Кикабидзе, чтобы снисходительно улыбнуться отсюда трогательной детской наивности.

— Чего это вы на меня так смотрите, — сказал женщине Андрей, — я, может, тоже туда хочу.

— Это что, — спросила женщина, — в снежные люди, что ли?

Андрей вспомнил цепочку следов на снегу за окном, которую год назад видел из окна ресторана — это явно были отпечатки ботинок, несколько десятков метров тянувшиеся вдоль пути, а затем совершенно неожиданно прервавшиеся, словно тот, кто их оставил, растворился в воздухе.

## 5

Над столом горела лампа, и Петр Сергеевич пил свой вечерний чай. Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко чмокал губами. Чай он всегда пил с легким отвращением, словно целовался с женщиной, которую уже давно не любит, но не хочет обидеть невниманием.

— Судить их надо, — вдруг сказал он. — Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу.

— Кого? — спросил Андрей. Он лежал на своем месте, заложив руки за голову, и глядел в потолок, по которому ползла какая-то живая черная точка.

— Всех, — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на

шепот. — Весь штабной вагон начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли. Ладно. А теперь подстаканники. Где подстаканники, а? Скажи мне, где подстаканники?

— Украли, надо думать, — сказал Андрей.

— А воры кто? — вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых. — Да и не просто воры уже. Это раньше воровали. А теперь — знаешь, как это называется? Родиной торгуют, вот что.

— Да бросьте вы, — сказал Андрей. — Вы же не в подстаканнике родились. И не в ложке.

— Не в ложке. Да ты что думаешь, мне ложек твоих жалко? Мне девочек жалко, чистых наших девочек, ласточек этих синеглазых, которые в плацкарте себя всякой мрази продают, понял?

Андрей промолчал.

— Воруют нагло, — сказал Петр Сергеевич, успокаиваясь. — Ничего не боятся. Власть потому что ихняя.

— Такого, чтоб не воровали, тут никогда не было, — сказал Андрей. — Нынешние хоть в окна живыми никого не кидают. В запертую дверь купе сильно постучали.

— Кто там? — спросил Андрей.

— Андрей, это я, — крикнул голос из-за двери. — Открой быстрее!

Голос был Гришин. Андрей вскочил на ноги, открыл дверь, и Гриша, скользнув внутрь, сразу же запер ее за собой. Его лицо было в крови, а пиджак испачкан в нескольких местах. Андрей заметил, что на его лацкане уже нет крылатой эмблемы МПС, а на ее месте зияет рваная дыра.

— Что случилось? — спросил он, усаживая Гришу на диван.

— Напали, — сказал Гриша. — Иду я, значит, из ресторана, один. Уже почти до дома дошел, и тут — представляешь? В переходе между вагонами. Четверо их было. Двое спереди и двое сзади. А у одного, сука, ложка заточенная.

— Много отняли-то?

— Много, — сказал он, — не спрашивай. Сегодня с Иваном расчет был — все забрали. Козлы. Ботаники.

Андрей намочил из графина вафельное полотенце и протянул его Грише.

— Что, — спросил он, — не заплатил вовремя?

— Да причем тут это, — сказал тот, прикладывая полотенце к скуле. — Это урла какая-то залетная. Не знают, на кого наехали. Ну да я завтра всех тут на уши поставлю.

— Может быть, навел кто-нибудь?

— Ты что, — сказал Гриша. — Кроме Ивана, никто про это и не знал. А ему это незачем. Я же тебе говорю, просто урла.

Петр Сергеевич, до этого деликатно прятаящий лицо за газетой, высунулся и сказал:

— Вот так, Андрей. Вот так. Говоришь, нынешние из окон не кидают? А надо кидать. Вот именно как раньше делали — руки-ноги вязать, и головой вниз на шпалы. Публично. Тогда и чай будет сладкий, и вежливость в коридоре. И друга твоего никто тронуть не посмеет.

— А вы не боитесь, что вас самого выкинут? — спросил Андрей.

— Меня-то за что? Я всю жизнь честно работал. Ты пройди по купейным вагонам — половина дверей вот этими руками поставлена. Я при всякой власти нужен.

— Двери? — оживился Гриша. — Простите, вас как звать? Петр Сергеевич, очень приятно. А я Григорий Струпин, директор совместного предприятия «Голубой вагон».

Петр Сергеевич пожал протянутую ему руку, улыбнулся и поправил воротник.

— Извините за мой внешний вид, — сказал Гриша, широко улыбаясь разбитым ртом и косясь на свой изуродованный лацкан, — так обстоятельства сложились. Мне как раз нужна небольшая консультация насчет дверей. Понятно, не бесплатная — потом по договору проведем.

— Ну, если смогу, — проговорил Петр Сергеевич.

— Скажите, а замки на дверях действительно из никеля?

— Нет, — сказал Петр Сергеевич, — понимаете ли, никелевое только покрытие. А сами замки...

— Слышь, Гриша, — сказал Андрей. — Вы тут поговорите пока, а я по коридору пройду. Посмотрю на всякий случай, ждет тебя кто-нибудь или нет.

Он закрыл за собой дверь. Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур — там никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивое хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд постояв у порога, он пошел по вагону даль-

ше, остановился у плексигласового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше, а называлась брошюра «Путеводитель по железным дорогам Индии». В ней не хватало примерно половины страниц, вырванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим:

*...советовал мне преподобный Шри Бававсенаху, я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу: сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунав наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а всё остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что когда долго глядишь на мир и забываешь о себе, остается только то, что видишь: невысокий склон в густых зарослях конопли (которую, стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон), оплетенная лианами цепь пальм, отделяющая железную дорогу от остального мира, изредка река или мост в колониальном стиле или защищенная стальной рукой шлагбаума пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлагбаумы в то время, когда на них никто не смотрит?*

*Да какая мне разница. Важно ведь совсем другое. Ближе всего к счастью — хоть я и не берусь определить, что это такое — я бываю тогда, когда отворачиваюсь от окна и краем сознания — потому что иначе это невозможно — замечаю, что только что меня опять не было, а был просто мир за окном, и что-то прекрасное и непостижимое, да и абсолютно не нуждающееся ни в каком «постижении», несколько секунд существовало вместо обычного роя мыслей, одна из которых подобно локомотиву тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом «я». Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно белого, — счастлив ли...*

— Эй!

Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша.

— Ну чего? Кого-нибудь видел?

— Нет, — ответил Андрей. — Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай.

— Нет, — сказал Гриша, — пойду. Сосед у тебя полезный мужик оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Ну пока.

— Пока.

Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе.

Минут через пять, когда уже был выключен свет и он изо всех сил старался успеть заснуть до того момента, когда Петр Сергеевич начнет храпеть, тот вдруг прокашлялся и сказал:

— Слышь, Андрей. А чего это Григорий тебя мистиком называет? Шутит?

— Да, — сказал Андрей. — Конечно, шутит. Круче него тут мистиков нет.

#### 4

Как всегда, Андрея разбудило радио — бескрайний баритон читал стихи:

Петроградское небо мутилось дождем,  
В никуда уходил эшелон.  
Без конца взвод за взводом и вождь за вождем  
Наполнял за вагоном вагон...

Петр Сергеевич еще храпел. Андрей поглядел в окно. Небо было низким и серым и, действительно, всюду мутилось дождем, крошечные капли которого расшибались о стекло.

В дверь постучали.

— Да-да.

Вошел проводник с чаем. Поставив стаканы на стол, он прибрал сторублевку и закрыл за собой щелкнувшую никелированным замком дверь.

От этого щелчка проснулся Петр Сергеевич. Странно, но вместо того чтобы по обыкновению отвернуться к стене и заснуть еще часа на два, он, как на пружине, приподнялся на локте и посмотрел на Андрея совершенно безумным взглядом.

— Вы сегодня опять храпели, — сказал Андрей.

— Да? А ты свистел?

— Свистел, — ответил Андрей.

— А сколько времени? — спросил Петр Сергеевич.

— Половина десятого.

Петр Сергеевич выматерился, вскочил на ноги и принялся торопливо причесываться — оказалось, что он спал в костюме и даже с галстуком на шее.

— Вы куда так спешите? — спросил Андрей.

— Дела, — сказал Петр Сергеевич, зажал под мышкой потертую кожаную папку, с которой Андрей не видел его уже года три, и выскочил в коридор. Андрей повернулся к стене и закрыл глаза. Стихи по радио кончились, и начались объявления. Андрей повернул ручку громкости против часовой стрелки до упора, но голоса все равно были явственно слышны.

— Каждому, каждому в лучшее верится, — пропел детский хор, — катится, катится голубой вагон.

— Фирма «Голубой вагон», — сказала взволнованное контрольто. — Наш поезд — действительно скорый.

Это была Гришкина реклама. В динамике что-то пискнуло, и жизнерадостный мужской голос продекламировал:

— Сигареты марки «Бой». Покурил — и хрен с тобой.

Потом была долгая пауза, и, наконец, объявили «Утренний кинозал».

— Сегодня мы поговорим о фильме японского кинорежиссера Акиры Куросавы «Додескаден», — гнусаво заговорил ведущий, — снятом в 1970 году по новелле писателя Акутагавы Рюноскэ «Под стук невидимых колес». Собственно говоря, само название фильма и является японской имитацией звука стучащих о рельсы колес. Итак, закройте глаза и представьте себе раннее утро в послевоенном японском вагоне купейного типа. Хлопают двери, в коридор выходят спешащие по своим делам люди. Сквозь закопченные недавними боями стекла уже светит знаменитое японское солнце. И вдруг в толпе появляется первый из героев, которого в вагоне называют «трамвайным сумасшедшим». Дело в том, что этот молодой человек воображает себя водителем невидимого маленького поезда — по-японски «трамвая», — который ездит взад-вперед по реальному вагону. Согласитесь, концепция непростая и требующая осмысления...

Андрей встал и начал быстро одеваться. Надев куртку, он плотно застегнул ее на все пуговицы, взял с верхней полки темные очки и кепку с козырьком, потом сунул в карман перчатки и маленький деревянный клин, который вынул из-под

матраса. Пока он одевался, радио почти не было слышно, но когда он на секунду замер у дверей, думая, всё ли он взял, опять стал слышен вкрадчивый и гнусавый голос:

— Надо сказать, что герои фильма занимаются делами, которые с полным правом можно назвать важными и серьезными, — это мелкооптовая торговля, медленное умирание с голоду, воровство, деторождение и так далее. И вот, проводя параллель между жизнью этих людей и действиями «трамвайного сумасшедшего», который взад-вперед бегаёт по коридору вагона и кричит: «додеска-дэн! додеска-дэн!», имитируя стук существующих только в его сознании колес отдельного маленького поезда, Куросава как бы стремится показать, что каждый из социально адекватных героев тоже, в сущности, едет по реальному вагону в своем собственном маленьком иллюзорном «трамвае». Однако Куросава не намечает никаких путей выхода из показанного им бесприютного мира. Чего там, напугать людей просто, а вот...

В коридоре радио не работало. Андрею повезло довольно быстро — через два тамбура на восток он оказался в совершенно пустом вагоне. Судя по запаху, там морили тараканов, и пассажиры прятались от запаха дихлофоса за плотно закрытыми дверьми. Быстро пройдя по пыльной ковровой дорожке, Андрей замер возле двери служебного купе, где напевающий проводник, склоняясь над огромной металлической раковиной, мыл пустые банки из-под пива (в соседнем вагоне их раскрашивали в национальном духе и продавали на Запад). Выждав момент, когда проводник отвернулся, Андрей проскользнул мимо двери и вошел в туалет. Закрывшись, он втиснул клин между дверью и рычагом замка и несколько раз ударил по нему ладонью — теперь проводник не смог бы отпереть дверь с той стороны даже своим ключом.

Окно открылось сразу. Андрей выглянул в образовавшийся просвет — все соседние окна были заперты. Он надел перчатки, кепку и очки, повернулся к окну спиной и заведенными назад руками уцепился за верхний край рамы. Потом уперся ногой в дюралевую ручку на стене, изогнулся и стал медленно и осторожно высовываться наружу.

Он уже давно мог повторить все необходимые движения с закрытыми глазами, но все равно каждый раз ему на несколько секунд становилось не по себе. В оккультных книгах, которые продавали в тамбуре у ресторана, эта процедура бы-

ла описана очень запутанно и таинственно, со множеством иносказаний, — о ней явно писали люди, не понимавшие, про что они на самом деле рассказывают. Самым простым эвфемизмом происходящего было выражение «ритуальная смерть». В каком-то смысле так оно и было — то же самое происходило с умершим, которого выдвигали из окна, чтобы сбросить на насыпь. Но, конечно, это было единственным сходством, хотя процедура действительно была довольно рискованной. А что касалось темного подсознательного страха, то от него спасали только трезвость и чувство юмора — Андрей напоминал себе, что попросту лезет на крышу вагона.

Над окном был вогнутый карниз для стока воды. Андрей схватился за его край и подтянулся вверх — теперь он сидел на краю окна, свесив ноги внутрь. Далеко впереди по ходу поезда показалась зеленая полоска кустов, и он полез быстрее, чтобы его не исхлестали ветки. Через несколько секунд он уже был наверху, на ребристой и непривычно широкой крыше вагона, покрытой облупившейся желтой краской и усеянной ржавыми грибами вентиляционных башенок. Встав на ноги, он осмотрелся.

Далеко на западе на крыше стояли люди, но отсюда никого нельзя было разглядеть. Перепрыгнув через несколько вагонных стыков, Андрей нашел вмятину, по которой он узнавал место, под которым было купе Хана, и постучал по ней ногой.

Хан появился минут через пять — на нем была брезентовая куртка с капюшоном и такие же очки, как у Андрея. Они молча пошли на запад, с разбега перепрыгивая пустоты над резиновыми сочленениями переходов.

Вскоре позади осталась скользкая крыша ресторана, вагон с погрантамбуром, и те, кто стоял впереди, стали приветственно махать руками. Андрей узнал нескольких человек и помахал в ответ. В обычном смысле знаком он ни с кем не был — всё общение с людьми, которых они с Ханом встречали наверху, сводилось к обмену приветственными жестами. Они миновали неподвижного старика в грязном ватнике и старой военной ушанке — как обычно, он сидел по-турецки в центре крыши и курил длинную трубку с крошечным металлическим чубуком (было непонятно, как он ухитряется зажигать ее на таком ветру). Дальше сидела компания в длинных темно-серых рясах — лица этих людей были скрыты капюшонами, так что нельзя было ничего сказать ни об их поле, ни о возрасте. Расположившись

кружком, они изучали непонятную геометрическую фигуру, начерченную углем на крыше вагона. Фигура была та же, что и раньше, — круг с какими-то симметричными линиями, похожими на разомкнутую звезду. Андрей вспомнил, что и прошлым, и даже позапрошлым летом они были заняты тем же самым — было совершенно неясно, с какой целью они так долго смотрят на этот простой рисунок.

Вообще, Андрей сомневался, что люди, которых он встречает на крыше, лезут на нее с какой-нибудь определенной целью. У него самого такой цели никогда не было, и он ничего от этих прогулок не ждал. Правда, с Ханом он познакомился именно здесь. В тот раз они не перемолвились ни словом — здесь никто никогда ни с кем не говорил, — но узнали друг друга через день или два, столкнувшись в коридоре. Позже Хан сказал, что подниматься на крышу не только бесполезно, но скорее даже вредно, потому что там человек оказывается только дальше от возможности по-настоящему покинуть поезд, — но все равно они продолжали сюда лазить, просто для того, чтобы хоть на время покинуть осточертевшее пространство всеобщей жизни и смерти. Ни начала, ни конца поезда видно не было — линия вагонов, несколько раз изгибаясь в поле зрения, доходила в обе стороны до горизонта, — но все же локомотив где-то существовал, и этому, помимо множества внутривагонно-метафизических обоснований, были два прямых доказательства: толстый медный провод в полуметре над головой и иногда доносившийся неведомо откуда тихий протяжный гул.

Андрей почувствовал, как Хан дергает его за рукав, и посмотрел туда, куда тот указывал. На соседней крыше стояла довольно странная компания — четверо человек, одетых, словно музыканты, в какие-то преувеличенно латиноамериканские наряды. В следующую секунду Андрей увидел в их руках инструменты и понял, что это действительно музыканты. Из-за грохота колес музыки совсем не было слышно, но ясно было, что маленький оркестр выкладывается изо всех сил: тот, что играл на флейте Пана, от напряжения даже чуть приседал на месте, а у гитаристов были такие исступленные лица, словно в руках у них были не гитары, а винтовки, и они шли на штурм бронекупе самого Пабло Эскобара. Андрей перевел взгляд дальше и увидел странного человека с широкой соломенной шляпой за плечами — он стоял опасно близко к краю вагона, пританцовывал на месте и размахивал руками, как

будто пытался согреться. Ни этого человека, ни музыкантов Андрей раньше никогда тут не встречал.

Поезд мчался к реке, или, может быть, узкому ответвлению озера, над которым был перекинут странный мост — у него были очень низкие ограждения, еле доходившие до крыши поезда. Андрей подумал, что их, наверно, можно было бы перепрыгнуть, и в тот самый момент, когда ему в голову пришла эта мысль, человек с соломенной шляпой на шнурке сильно оттолкнулся от крыши, оторвался от вагона и перелетел над ограждением моста.

Несколько секунд Андрей не мог поверить, что это действительно произошло. Потом он упал на живот, подполз к краю крыши и свесился с нее, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вода под мостом была практически неподвижной; по ее поверхности расходились круги, в центре которых покачивалась похожая на огромную кувшинку соломенная шляпа. Прошло несколько долгих секунд, и над водой показался черный мячик головы. Человек поплыл к берегу, а потом все скрыла заросшая травой насыпь.

Андрей поднялся на ноги и поглядел на Хана. Тот восхищенно качал головой и, судя по движениям губ, что-то говорил. Все вокруг смотрели в сторону скрывшейся реки — даже непонятные люди в рясах, обычно не обращавшие никакого внимания на остальных, сейчас стояли на ногах и растерянно глядели на восток, где навсегда остался неизвестный. Только старик в ушанке все так же неподвижно сидел на своем обычном месте и пускал вдаль едва заметные на ветру струйки дыма — было непонятно, то ли он просто ничего не заметил, то ли видел и не такое. Музыканты куда-то исчезли. Андрей поискал их взглядом и увидел несколько маленьких фигурок, прыгающих с вагона на вагон — они успели отойти уже довольно далеко на запад.

### 3

— Нравится? — спросил Антон. — Только честно.

— Что?

— Новая серия, — сказал Антон и кивнул на стол.

— Почему серия? — удивился Андрей. — Они же все одинаковые.

— В этом и концепт, — сказал Антон. — Они номерные, как литографии.

Андрей сидел на краю лавки, глядя на пивную банку в руках Антона. Тот тихо что-то мычал и водил по ней маленькой кисточкой, неестественно изогнув шею, чтобы не измазать в краске бороду — тем не менее на ней уже было несколько белых пятен, которые казались ранней сединой. Несколько готовых расписных банок стояло на столике, на всех был одинаковый рисунок: коридор вагона, по которому с чайными стаканами в руках идут румяные девушки в кокошниках и желтоволосые ребята в красных рубахах, все на одно лицо, похожее на вымя, — было это, как Андрей понял, сознательной и даже подчеркнутой цитатой из Гумилева, потому что из лиц торчали длинные коровьи соски, прыскающие струйками молока, а под рисунком славянской вязью было выведено:

Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон.

— Так что? — повторил Антон.

— По-моему, хорошо, — сказал Андрей. — Только уж очень социально. Все-таки «Будвейзер Господа моего» у тебя куда сильнее был.

— Не понимаю, — сказал Антон, — почему, что бы я ни нарисовал, все с «Будвейзером» сравнивают?

— Просто вспомнилось, — сказал Андрей. — Действительно гениальная вещь была.

Напротив Антона сидела его жена Ольга, которая мелкой шкуркой зачищала поверхность банок. Ее ноги были закрыты одеялом, потому что дверь в купе была снята с петель и по полу сильно дуло. На месте двери висело еще одно одеяло — оно не доставало до пола, и были видны ботинки и шлепанцы проходящих по коридору. Андрей поднял глаза на погнутые петли и покачал головой.

— Я понять не могу, как же вы им разрешили дверь снять? — спросил он. — Ведь никто права не имел, если вы не согласны.

— А нас никто не спрашивал, согласны мы или нет, — сказал Антон. — Пришли и сказали, что конверсия. Из купейных в плацкартные. Подписать что-то дали, и все. Ну хватит об этом. Ты кого-нибудь из наших видел?

— Гришу часто вижу, — сказал Андрей. — Он сейчас, как

они выражаются, поднялся, то есть денег много. Еще Серегу видел недавно. Очень сильно изменился. Не пьет, не курит. Утризм принял.

— Это еще что?

— Это религия такая, очень красивая. Они верят, что нас тянет вперед паровоз типа «У-3» — они его еще «тройкой» называют, — а едем мы все в светлое утро. Те, кто верит в «У-3», проедут над последним мостом, а остальные — нет.

— Да? — сказал Антон. — Надо же. Не слышал никогда. А ты сам его часом не принял?

— Нет, не принял, — сказал Андрей. — У меня все по-прежнему. Вот книжку хорошую читаю. Называется «Путеводитель по железным дорогам Индии». Совершенно случайно ее нашел. Потом, если хочешь, дам.

— А о чем там? — спросил Антон, поднимая банку над головой и внимательно ее разглядывая.

— Даже трудно так сказать. Просто человек едет в поезде по Индии и пишет о том, что с ним происходит. Причем так и не ясно — то ли он действительно по Индии едет, то ли просто так себе представляет. Тебе понравится.

— Она у тебя с собой? — спросил Антон.

— Да, — сказал Андрей.

— Прочти кусочек, а? А то у меня руки в краске.

— Какой кусочек? — спросил Андрей.

— Любой.

— Тогда, — сказал Андрей, — я с того места начну, где сам читаю. Я тебе в двух словах скажу, что там раньше было, — сначала он пишет о том, что видит в окне, а потом начинает описывать тех, кто ему мешает возле этого окна стоять. Очень длинная и желчная классификация.

Андрей достал из кармана книжку, открыл ее на заложенной странице и начал читать вслух:

— *Куда они все идут? Зачем? Разве они никогда не слышат стука колес или не видят голых равнин за окнами? Им все известно про эту жизнь, но они идут дальше по коридору, из сортира в купе и из тамбура в ресторан, понемногу превращая сегодня в очередное вчера, и думают, что есть такой бог, который их за это вознаградит или накажет. Но если они не сходят с ума, значит, все они знают какой-то секрет. Или это я знаю секрет, которого лучше не знать никому. Нечто такое, из-за чего я уже никогда в жизни не смогу вот так*

*невинно и бессмысленно, белея глазными белками, идти себе по чуть покачивающемуся коридору и думать о том же, о чем думают они все. Но я ведь не знаю никакого секрета. Я просто вижу жизнь такой, как она есть, трезво и точно, и никогда не смогу принять этот грохочущий на стыках рельсов желтый катафалк за что-то другое. Мне нравится Индия, и поэтому сейчас я еду по Индии. А они просто сумасшедшие, пассажиры сумасшедшего поезда, и во всем, что они говорят, я слышу только стук колес. И оттого, что их много, а я почти один, не меняется ничего...*

Андрей услышал какое-то шуршание, поднял глаза и увидел, что жена Антона надевает сапоги. Антон вытирал руки измазанной в краске тряпкой.

— Извини, старик, — сказал он, — мы в театр идем. Ты прочти самую последнюю строчку. Чем там все кончается.

Андрей поколебался, открыл последнюю страницу и прочел:

*— Милость беспредельна, и я точно знаю, что когда поезд остановится, за его желтой дверью меня будет ждать белый слон, на котором я продолжу свое вечное возвращение к Неименуемому.*

— Понятно, — сказал Антон. — Интересно, конечно. Только читать этого я не буду, спасибо.

— Тебе не понравилось?

— Я бы не сказал, что мне это понравилось или не понравилось, — ответил Антон. — Просто это не имеет отношения ко мне лично.

— Почему? А то, что ты рисуешь, — сказал Андрей и кивнул на расписанные банки, — это разве не то же самое на другом языке? Остановите вагон, и так далее? Или ты это не всерьез? Неискренне?

— Что значит «не всерьез, неискренне»? — сказал Антон. — Детские какие-то у тебя понятия. Есть жизнь и есть там искусство, творчество. Соц-арт там, концептуализм там. Модерн там, постмодерн там. Я их уже давно с жизнью не путаю. У меня жена, ребенок скоро будет — вот это, Андрюша, всерьез. А рисовать там можно что угодно — есть всякие там культурные игры и так далее. Так что вагоны я только на пивных банках останавливаю, опять-таки потому, что о ребенке думаю, который вот в этом настоящем вагоне будет дальше ехать. Понимаешь?

Он слегка топнул в пол и показал рукой на стену.

- Антон, — сказал Андрей, — ты ничего сейчас не слышишь? Антон замер и прислушался.
- Нет, — сказал он, — ничего. А что я должен слышать?
- Так. Показалось.
- Пора идти, — сказала Ольга, отдергивая висящее в дверном проеме одеяло, — опоздаем.
- А на что вы идете? — спросил Андрей.
- «Бронепоезд 116-511», — ответила Ольга. — Не пугайся, там авангардное прочтение.
- Чье прочтение? — спросил Андрей.
- «Театра на верхней полке», — сказала Ольга. — У них там все коллективно и анонимно, так что чье там прочтение, никто там не знает. По секрету могу сказать, что декорации там рисовал Антон. Хочешь с нами? Там пройти можно.
- Нет, — сказал Андрей, — я еще к Хану зайду. Давно у него не был.
- Как он там, кстати, поживает? — спросил Антон. — Нашел себя?
- Да, — сказал Андрей, — и еще много другого. Ну пока.
- Пока. Привет там всем передавай.

## 2

На двери в купе Хана висел непонятно откуда взявшийся календарь с котятками, который закрывал знакомую царापину. Несколько секунд Андрей не мог понять, в чем дело, потом огляделся по сторонам, убедился, что не ошибся дверью, и постучал. Никто не ответил.

Андрей открыл дверь. В купе был неправдоподобный беспорядок — такой, какой возникает только при похоронах, родах и переездах. На диване Хана сидела пожилая полная женщина со следами бывшего безобразия на отечном лице — возраст уже благополучно эвакуировал ее из зоны действия эстетических характеристик. На полу перед ней стояло несколько чемоданов и накрытая платком корзина, источавшая густой запах колбасы. С верхней полки торчала крошечная детская ножка, обтянутая белым носком, которая чуть качалась в такт вагону.

— Здравствуйте, — сказал Андрей.

— День добрый, — ответила женщина, поднимая ничего не выражающие глаза.

- А где Хан?
- Таких тут не живет.
- Он что, переехал?
- Не знаю, — сказала она, — может, переехал, а может, умер. Мы не знаем. Мы очередники. Нас на площадь вселили. Вы у проводника спросите, он знает.
- А вещи? — спросил Андрей. — Вещи остались?
- Никаких вещей тут не было, — оживляясь, сказала женщина, — что это вы придумываете? Какие такие вещи?
- Да нет, — сказал Андрей, — вы не подумайте, что я с претензиями. Я спрашиваю просто.
- Пустой диван, — сказала женщина, — полка тоже пустая. Я чужого в жизни не возьму.
- Понятно, — сказал Андрей, повернулся и толкнул дверь вбок.
- А вы не Андрей? — спросила вдруг женщина.
- Андрей. А что?
- Тут письмо какое-то лежало. Написано — Андрею, а какому, непонятно. И от кого, непонятно. Может, это вам?
- Мне, — сказал Андрей, — давайте.
- Где-то оно здесь было, — забормотала женщина, шаря среди вываленного на стол белья. — Разбирать теперь все это полгода. Жизнь страшная стала. В коридоре давка, а сил нет. Ага, нашла. Вот оно. А точно вам? У вас билет ваш есть с собой?
- А я безбилетник, — развязно пошутил Андрей.
- Женщина хмыкнула и протянула Андрею конверт.
- Девкам будешь голову морочить, — сказала она с некоторой игривостью. — Все. Больше никаких вещей нету.
- Спасибо, — сказал Андрей, убирая письмо в карман. — Большое спасибо.
- До свидания, — сказала женщина.
- Выйдя из купе, Андрей чуть не столкнулся с идущим по вагону проводником, но ни о чем не стал его спрашивать.

Петр Сергеевич был пьян и весел. На столе перед ним стояла не обычная бутылка «Железнодорожной», а граненый флакон дорогого коньяка «Лазо» с пылающей паровозной топкой на этикетке. Рядом были развернуты какие-то чертежи и синьки — Андрей заметил на одной из них сильно уве-

личенную ручку дверного замка. Еще было несколько официального вида бумаг с печатями — в них, судя по масляным пятнам, был завернут сервелат, которым Петр Сергеевич успел хищно закусить — казалось, что разбросанные по столу ошметки клевал орел.

— Как дела?

— Нормально, — ответил Андрей, — а у вас?

Петр Сергеевич показал большой волосатый палец.

— Завтра меня весь день не будет, — сказал он, — с самого утра. И ночью тоже не приду. Ты за меня белишко получишь?

— Хорошо, — сказал Андрей. — Вы только проводника предупредите. А что, уже тридцатое?

— Да, — сказал Петр Сергеевич, — тридцатое. Как время-то летит. Так и пожить не успеешь. Тебе налить?

Андрей помотал головой. Сняв ботинки, он улегся на свое место, повернулся лицом к стене и достал из кармана «Путеводитель по железным дорогам Индии», в который было вложено письмо. Поколебавшись секунду, он спрятал конверт назад в карман. «Завтра прочту», — подумал он и наугад раскрыл книгу.

*...в сущности, никакого счастья нет, есть только сознание счастья. Или, другими словами, есть только сознание. Нет никакой Индии, никакого поезда, никакого окна. Есть только сознание, а все остальное, в том числе и мы сами, существует постольку, поскольку попадает в его сферу. Так почему же, думаю я снова и снова, почему же нам не пойти прямо к бесконечному и невыразимому счастью, бросив все остальное? Правда, придется бросить и себя. Но кто бросит? Кто тогда будет счастлив? И кто несчастлив сейчас?*

Андрею хотелось спать, и он плохо понимал написанное — слова налезали друг на друга и образовывали перед глазами сложные геометрические конструкции. Он закрыл книгу.

— Андрюх, — подал голос Петр Сергеевич, — ну чего ты мурыжишься? Махни стакан.

— Правда не хочу, — сказал Андрей, — спасибо.

— Как знаешь.

Андрей повернулся на спину и некоторое время изучал тусклый желтый плафон на потолке.

— Петр Сергеевич, — сказал он, — а вы когда-нибудь думали, куда мы едем?

— У тебя что, — спросил Петр Сергеевич сквозь пищу, — не

приятности, да? Наплюй. Подумаешь там, одну бросил, другую нашел. В плацкарту сходи, там быстро развеешься. Знаешь, сколько там сучек этих? Там их вагон. Были бы деньги.

— Ну все-таки. Куда?

— Ты чего, сам не знаешь?

— Вам что, сказать трудно?

— Да нет, не трудно.

— Ну так скажите. Куда мы, по-вашему, едем?

— Куда, куда. Тебе что, услышать хочется лишний раз? Ясное дело, куда. К разрушенному мосту. Что ты себе смолоду такой херней голову забиваешь, Андрюха?

## 1

Утро было облачным — вместо неба вверху висела ровная серая поверхность, похожая на потолок в коридоре, только без вентиляционных дырочек. Петр Сергеевич уже ушел. На столе лежала записка для проводника и стояло два стакана с успевшим остыть чаем. Андрей оделся, вынул из кармана письмо и тут же сунул его назад. Потом он запер дверь и сел на стол. Петр Сергеевич терпеть этого не мог, а уж ног на своем диване не простил бы ни за что и никому, но сегодня его можно было не брать в расчет.

Андрей никогда не упускал возможности в одиночестве провести пару часов у окна купе. Это было совсем не то же самое, что стоять возле окна в коридоре, где постоянно приходилось пропускать идущий мимо народ и вообще множеством трудноуловимых способов взаимодействовать с окружающими. Андрей не особо верил автору индийского «Путеводителя», писавшему о том, что безмятежному созерцанию ландшафта можно предаваться и перед дверью набитого орущими людьми тамбура.

Сегодня день был не очень удачный — в нескольких метрах за окном неслась бесконечная стена деревьев. Обычно такие насаждения закрывали обзор на несколько часов, а иногда и дней, и оставалось только смотреть на полосу травы между поездом и деревьями, разглядывая предметы, выброшенные из когда-то пролетевших здесь вагонов «Желтой стрелы».

Сначала все внизу сливалось в однородное серо-зеленое месиво, но через несколько минут глаза привыкали, и стано-

вилось достаточно короткой доли секунды, чтобы идентифицировать искусственные вкрапления в пейзаж. Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении, и он успевал не столько разглядеть пронсящее мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь мельчайшими намеками, которые давал окружающий мир. Но насчет большинства объектов, лежавших на склонах насыпи, ошибиться было трудно.

Больше всего было, конечно, пустых бутылок. Зимой они яркими зелеными пятнами выделялись на снегу, а сейчас их можно было отличить от травы только по блеску. Более легкие пивные банки сносило потоком воздуха, и они обычно не отлетали от вагонов так далеко. Изредка попадались довольно странные предметы — например, в одном месте из небольшого болотца торчала свежеоткнутая в грязь картина в огромной золотой раме (Андрею показалось, что это стандартная репродукция «Будущих железнодорожников» Дейнеки). В другом месте, примерно через километр после картины, мелькнул развалившийся при падении никелированный самовар. А недалеко от него лежал великолепный кожаный чемодан, на котором сидела большая жирная ворона. Повсюду белели яркие пятна использованных презервативов — впрочем, иногда презерватив можно было перепутать с небольшой костью вроде ключицы, а костей в траве валялось почти столько же, сколько бутылок. Особенно много было черепов — потому, наверно, что они оказывались слишком тяжелыми для мелких грызунов, а звери покрупнее боялись подходить близко к грохочущей желтой стене. Некоторые черепа, совсем старые, были до меловой белизны отполированы дождями и ветром, а на тех, что посвежее, еще оставались волосы и куски плоти. Особенно Андрея рассмешил один череп с блестящей дужкой очков, в которых, как показалось, даже сохранились стекла.

На кустах и деревьях было множество следов недавних похорон — разноцветные полотенца, одеяла и наволочки. Они развевались по ветру, как флаги, приветствуя новую жизнь, несущуюся вперед и мимо, — так, вспомнил Андрей, сказал, кажется, какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна вагона-ресторана. Подушек тоже было много — и совсем еще новых, и уже сгнивших под частыми в это лето дождями. Их хозяева обычно лежали неподалеку в самых разных позах и стадиях разложения; многие, правда, и на насыпи сохраня-

ли строгий вид — ноги полусогнуты, одна рука подвернута под голову, а другая вытянута вдоль туловища. Объяснялось это просто — иногда проводники по просьбе родных особым образом перевязывали бечевкой конечности усопших, чтобы те выглядели после смерти пристойно; кроме того, это имело какое-то отношение к религии.

Андрей заметил, что в траве у насыпи стали все чаще попадаться засохшие белые цветы, которые он сперва принимал за презервативы. Он подумал, что они просто отцвели, но увидел, что многие из них завернуты в прозрачную пленку и лежат стеблями вверх. Потом стали появляться букеты, а потом — венки, все из увядших белых роз. Андрей понял, в чем дело, — недели две назад по телевизору показывали похороны американской поп-звезды Изиды Шопенгауэр (на самом деле, вспомнил Андрей, ее звали Ася Акопян). В газетах писали, что во время церемонии из окон выбросили две тонны отборных белых роз, которые покойная обожала больше всего на свете, — видно, это они и были. Андрей прижался к стеклу. Прошло две или три минуты — всё это время белые пятна на траве густели, — и он увидел лежащую в траве мраморную плиту со стальными сфинксами по краям, к которой золотыми цепями была приделана бедная Изида, уже порядком распухшая на жаре. На краях плиты была реклама — «Rolex», «Pepsi-cola» и еще какая-то более мелкая — кажется, товарный знак фирмы, производящей овощные шницели чисто американского вкуса. У плиты суетились две небольшие собаки; одна из них повернула морду к поезду и беззвучно залаяла. Вторая крутила хвостом; из пасти у нее свисало что-то синевато-красное и длинное.

«Мировая культура, — подумал Андрей, — доходит до нас с большим опозданием».

Стена деревьев за окном прервалась вечером, когда уже начало темнеть. Сначала они стали расти реже, между ними появились просветы, а потом вдруг открылось поле с пересекающей его дорогой. Возле дороги стояло несколько кирпичных домов с черными дырами окон — их ставни были широко распахнуты. Вдали медленно проплыла удивительно красивая, похожая на поднятую к небу руку, белая церковь с косым крестом — был виден только ее верх, а нижнюю часть закрывал лес.

Потом появилась длинная пустая платформа — в одном месте на ней Андрей успел заметить старую вставную челюсть, одиноко лежащую на голой бетонной плоскости. Ря-

дом с челюстью торчал шест с пустым стальным прямоугольником, в котором когда-то была табличка с названием станции. Мелькнуло несколько плит бетонного забора, за которым громоздились какие-то решетчатые конструкции из ржавого железа, и все скрылось за вновь появившейся стеной плотно растущих деревьев — те, кто верил в снежных людей, считали, что эти деревья посажены ими, чтобы взгляды и мысли пассажиров не проникали слишком далеко в их мир.

В дверь постучали, и Андрей спрыгнул со стола.

— Кто это? — спросил он.

— Это Авэль, — проговорил бас за дверью. — Ты там? Выходи, там бэлье дают.

Когда Андрей решил наконец распечатать письмо, было уже темно, а за стеклом плыла все та же стена деревьев. Он отвернулся от окна, вынул из кармана конверт и оборвал его край. Внутри оказался клетчатый листок с аккуратным обрывом, на котором чернели ровные чернильные строки:

*В прошлое время люди часто спорили, существует ли локомотив, который тянет нас за собой в будущее. Бывало, что они делили прошлое на свое и чужое. Но все осталось за спиной: жизнь едет вперед, и они, как видишь, исчезли. А что в высоте? Слепое здание за окном теряется в зыби лет. Нужен ключ, а он у тебя в руках — так как ты его найдешь и кому предъявишь? Едем под стук колес, выходим пост скриптум двери.*

Подписи не было. Андрей перечитал письмо, повертел его в пальцах, сложил и сунул назад в конверт. Потом он лег на свой диван, погасил лампочку над подушкой и повернулся к стене.

## 0

За окном творилось что-то странное — такого Андрей не видел еще никогда. Поезд шел через ночной город по низкой эстакаде, отделенной от улиц железной решеткой. За окном вагона горели бесчисленные огни — фонари на улицах, окна домов, фары автомобилей. Но самым странным было то, что внизу были люди, очень много людей. Они стояли у решетки эстакады; когда окно, за которым сидел Андрей, проплывало мимо, они начинали махать руками и что-то весело кричать.

В городе, похоже, был праздник — все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно.

Наконец Андрею стало тяжело чувствовать на себе такое количество взглядов. Он встал и вышел в коридор. С другой стороны вагона за окнами тянулась обычная темная цепь деревьев, и Андрей почувствовал себя легче. Коридор выглядел как-то странно: пол был покрыт густым слоем пыли, двери всех купе были распахнуты, и в них виднелись голые железные каркасы диванов. Андрей сначала удивился и даже испугался, но вспомнил, что в поезде, кроме него, нет ни одного человека, и успокоился. Ему захотелось перечитать письмо, и он вытащил сложенный вдвое конверт из кармана. Текст, естественно, остался прежним:

Прошлое — это локомотив,  
Который тянет за собой будущее.  
Бывает, что это прошлое вдобавок чужое.  
Ты едешь спиной вперед  
И видишь только то, что уже исчезло.  
А чтобы сойти с поезда, нужен билет.  
Ты держишь его в руках,  
Но кому ты его предъявишь?

Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери в свое купе, положил ладонь на ручку замка и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум, короткую приписку мелким почерком, которой он раньше не заметил — наверно, потому, что она располагалась за линией сгиба.

И в эту же секунду он понял, что не стоит в пустом коридоре поезда, а лежит на диване своего купе и видит сон. Он стал просыпаться, но за тот неуловимый миг, который заняло пробуждение, успел прочесть и запомнить постскриптум, точнее, запомнить слова, которые ему снились, — во сне они имели какой-то совсем другой смысл, который никак нельзя было протащить в обычный мир, но который он успел понять.

*P.S. Все дело в том, что мы постоянно отправляемся в путешествие, которое закончилось за секунду до того, как мы успели выехать.*

Андрей включил лампочку над подушкой, достал письмо и перечитал его — никакого постскриптума там не было. На

том месте, где он увидел его во сне, было только несколько малозаметных царапин, словно кто-то водил по листу засохшей ручкой, пытаясь ее расписать.

Что-то было не так. Что-то случилось, пока он спал. Андрей поднялся с дивана, помотал головой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. Колеса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна. Поезд стоял.

Когда Андрей вышел в коридор, там все было как обычно — горел свет, пахло табаком. Но пол под ногами был совершенно неподвижен, и Андрей заметил, что чуть покачивается, шагая по нему. Дверь в служебное купе была открыта. Андрей заглянул туда и встретился взглядом с проводником, который неподвижно стоял у стола со стаканом чая в руке. Андрей открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что проводник его не видит. Андрей подумал, что тот спит или впал в какое-то оцепенение, но тут его взгляд упал на стакан в руке проводника — в нем неподвижно висел кусок рафинада, над которым поднималась цепь таких же неподвижных пузырьков.

Он уже знал, что надо делать дальше. Шагнув к проводнику, он осторожно сунул руку в боковой карман его кителя и вынул оттуда ключ.

Выйдя в тамбур, он подошел к двери, сунул ключ в круглую скважину — он вошел неглубоко, потому что скважина была забита многолетним мусором — и повернул его. Дверь со скрипом открылась, и на пол посыпались набитые в ее щели окаменелые окурки. Андрей подумал было, что надо вернуться в купе за вещами, но понял, что ни одна из тех вещей, которые остались в его лежащем под диваном чемодане, теперь ему не понадобится. Он встал на край рубчатой железной ступени и поглядел в темноту. Она была бесконечной и тихой; из нее прилетал теплый ветер, полный множества незнакомых запахов.

Андрей спрыгнул на насыпь. Как только его ноги ударились о гравий, которым были присыпаны шпалы, сзади раз-

далось шипение сжатого воздуха, а еще через секунду лязгнули растянувшиеся сочленения между вагонами. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Андрей отошел на несколько метров в сторону и посмотрел на «Желтую стрелу».

Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем неизвестно куда. Андрей посмотрел в ту точку, откуда появлялись вагоны, а потом в ту, где они исчезали, — с обеих сторон не было видно ничего, кроме темной пустоты.

Он повернулся и пошел прочь. Он не особо думал о том, куда идет, но вскоре под его ногами оказалась асфальтовая дорога, пересекающая широкое поле, а в небе у горизонта появилась светлая полоса. Громыканье колес за спиной постепенно стихало, и вскоре он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше: сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов.

# БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА

*рассказы*





## НИКА

Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок.

Она была намного моложе меня; судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность ко мне вызвана моими достоинствами; скорее я был для нее, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлекс и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моем месте физик-фундаменталист в академической ермолке, продажный депутат или любой другой, готовый оценить ее смуглую южную прелесть и смягчить ей тяжесть существования вдали от древней родины, в голодной северной стране, где она по недоразумению родилась. Когда она прятала голову у меня на груди, я медленно проводил пальцами по ее шее и представлял себе другую ладонь на том же нежном изгибе — тонкопалую и бледную, с маленьким черепом на кольце, или непристойно волосатую, в синих якорях и датах, так же медленно сползающую вниз — и чувствовал, что эта перемена совсем не затронула бы ее души. Я никогда не называл ее полным именем — слово «Вероника» для меня было ботаническим термином и вызывало в памяти удушливо пахнущие белые цветы с оставшейся далеко в детстве южной клумбы. Я обходился последним слогом, что было ей безразлично; чутья к музыке речи у нее не было совсем, а о своей тезке-богине, безголовой и крылатой, она даже не знала.

Мои друзья невзлюбили ее сразу. Возможно, они догадывались, что великодушные, с которым они — пусть даже на не-

сколько минут — принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным. Но требовать от Ники иного было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувства признательности к когда-то проложившим дорогу рабочим; для нее окружающие были чем-то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам появлялись рядом с ней и по таким же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе — и, когда ко мне приходили, она чаще всего вставала и шла на кухню. Внешне мои знакомые не были с ней грубы, но не скрывали пренебрежения, когда ее не было рядом; никто из них, разумеется, не считал ее ровней.

— Что ж твоя Ника, на меня и глядеть не хочет? — спрашивал меня один из них с усмешечкой.

Ему не приходило в голову, что именно так оно и есть; со странной наивностью он полагал, что в глубине Никиной души ему отведена целая галерея.

— Ты совершенно не умеешь их дрессировать, — говорил другой в приступе пьяной задушевности, — у меня она шелковой была бы через неделю.

Я знал, что он отлично разбирается в предмете, потому что жена дрессирует его уже четвертый год, но меньше всего в жизни мне хотелось стать чьим-то воспитателем.

Не то чтобы Ника была равнодушна к удобствам — она с патологическим постоянством оказывалась в том самом кресле, куда мне хотелось сесть, — но предметы существовали для нее только пока она ими пользовалась, а потом исчезали. Наверное, поэтому у нее не было практически ничего своего; я иногда думал, что именно такой тип и пытались вывести коммунисты древности, не имея понятия, как будет выглядеть результат их усилий. С чужими чувствами она не считалась, но не из-за скверного склада характера, а оттого, что часто не догадывалась о существовании этих чувств. Когда она случайно разбила старинную сахарницу кузнецовского фарфора, стоящую на шкафу, и я спустя час после этого неожиданно для себя дал ей пощечину, Ника просто не поняла, за что ее ударили, — она выскочила вон и, когда я пришел извиняться, молча отвернулась к стене. Для Ники сахарница была просто усеченным конусом из блестящего материала, набитым бу-

мажками; для меня — чем-то вроде копилки, где хранились собранные за всю жизнь доказательства реальности бытия: страничка из давно не существующей записной книжки с телефоном, по которому я так и не позвонил; билет в «Иллюзион» с неоторванным контролем; маленькая фотография и несколько незаполненных аптечных рецептов. Мне было стыдно перед Никой, а извиняться было глупо; я не знал, что делать, и оттого говорил витиевато и путано:

— Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной, или, наоборот и то же самое, оказался впереди, в царстве надвигающегося небытия... Ника, если б ты меня понимала... Обломки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих душу к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, что обычно понимают под душой, потому что...

Я из-под ладони глянул на нее и увидел, как она зеваает. Бог знает, о чем она думала, но мои слова не проникали в ее маленькую красивую голову — с таким же успехом я мог бы говорить с диваном, на котором она сидела.

В тот вечер я был с Никой особенно нежен, и все же меня не покидало чувство, что мои руки, скользящие по ее телу, немногим отличаются для нее от веток, которые касаются ее боков во время наших совместных прогулок по лесу — тогда мы еще ходили на прогулки вдвоем.

Мы были рядом каждый день, но у меня хватило трезвости понять, что по-настоящему мы не станем близки никогда. Она даже не догадывалась, что в тот самый момент, когда она прижимается ко мне своим по-кошачьи гибким телом, я могу находиться в совсем другом месте, полностью забыв о ее присутствии. В сущности, она была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологическими: набить брюхо, выспаться и получить необходимое для хорошего пищеварения количество ласки. Она часами дремала у телевизора, почти не глядя на экран, помногу ела — кстати, предпочитала жирную пищу — и очень любила спать; ни разу я не помню ее с книгой. Но природное изящество и юность придавали всем ее проявлениям какую-то иллюзорную одухотворенность; в ее животном — если вдуматься — бытию был отблеск высшей гармо-

нии, естественное дыхание того, за чем безнадежно гонится искусство, и мне начинало казаться, что по-настоящему красива и осмысленна именно ее простая судьба, а всё, на чем я основываю собственную жизнь, — просто выдумки, да еще и чужие. Одно время я мечтал узнать, что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа было бесполезно, а дневника, который я мог бы украдкой прочесть, она не вела.

И вдруг я заметил, что меня по-настоящему интересует ее мир. У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз; однажды я остановился за ее спиной, положил ладонь ей на затылок — она чуть вздрогнула, но не отстранилась — и попытался угадать, на что она смотрит и чем для нее является то, что она видит.

Перед нами был обычный московский двор: песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали ковры, каркас чума, сваренный из красных металлических труб, бревенчатая избушка для детей, помойки, вороны и мачта фонаря. Больше всего меня угнетал этот красный каркас — наверно, потому, что когда-то в детстве, в серый зимний день, моя душа хрустнула под тяжестью огромного гэдээровского альбома, посвященного давно исчезнувшей культуре охотников за мамонтами. Это была удивительно устойчивая цивилизация, существовавшая, совершенно не изменяясь, несколько тысяч лет где-то в Сибири, — люди жили в небольших обтянутых мамонтовыми шкурами полукруглых домиках, каркас которых точь-в-точь повторял геометрию нынешних красных сооружений на детских площадках, только выполнялся не из железных труб, а из связанных бивней мамонта. В альбоме жизнь охотников — это романтическое слово, кстати, совершенно не подходит к немытым ублюдкам, раз в месяц заманивавшим большое доверчивое животное в яму с колом на дне — была изображена очень подробно, и я с удивлением узнал многие мелкие бытовые детали, пейзажи и лица; тут же я сделал первое в своей жизни логическое умозаключение, что художник, без всякого сомнения, побывал в советском плену. С тех пор эти красные решетчатые полусферы, возвышающиеся почти в каждом дворе, стали казаться мне эхом породившей нас культуры; другим ее эхом были маленькие стада фарфоровых мамонтов, из тьмы тысячелетий бре-

душие в будущее по миллионам советских буфетов. Есть у нас и другие предки, думал я, вот, например, трипольцы — не от слова «Триполи», а от «Триполья», — которые четыре, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом — этих баб, «Венер», как их сейчас называют, осталось очень много — видно, они были в красном углу каждого дома. Кроме этого про трипольцев известно, что их бревенчатые колхозы имели очень строгую планировку с широкой главной улицей, а дома в поселках были совершенно одинаковы. На детской площадке, которую разглядывали мы с Никой, от этой культуры остался бревенчатый домик, строго ориентированный по сторонам света, где уже час сидела вялая девочка в резиновых сапогах — сама она была не видна, виднелись только покачивающиеся нежно-голубые голенища.

Господи, думал я, обнимая Нику, а сколько я мог бы сказать, к примеру, о песочнице? А о помойке? А о фонаре? Но все это будет моим миром, от которого я порядочно устал и из которого мне некуда выбраться, потому что умственные построения, как мухи, облепят изображение любого предмета на сетчатке моих глаз. А Ника была совершенно свободна от унизительной необходимости соотносить пламя над мусорным баком с московским пожаром 1737 года или связывать полуотрыжку-полукарканье сытой универсамовской вороны с древнеримской приметой, упомянутой в «Юлиане Отступнике». Но что же тогда такое ее душа?

Мой кратковременный интерес к ее внутренней жизни, в которую я не мог проникнуть, несмотря на то что сама Ника полностью была в моей власти, объяснялся, видимо, моим стремлением измениться, избавиться от постоянно грохочущих в голове мыслей, успевших накатать колею, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего нового, и я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить. Когда я сознался себе, что, глядя в окно, она видит попросту то, что там находится, и что ее рассудок совершенно не склонен к путешествиям по прошлому и будущему, а довольствуется настоящим, я уже понимал, что имею дело не с реально существующей Никой, а с набором собственных мыслей; что передо мной, как это всегда было и будет, оказались мои представления, принявшие ее форму, а сама Ника, сидя-

шая в полуметре от меня, недоступна, как вершина Спасской башни. И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыносимый груз одиночества.

— Видишь ли, Ника, — сказал я, отходя в сторону, — мне совершенно наплевать, зачем ты глядишь во двор и что ты там видишь.

Она посмотрела на меня и опять повернулась к окну — видно, она успела привыкнуть к моим выходкам. Кроме того — хоть она никогда не призналась бы в этом, — ей было совершенно наплевать на все, что я говорю.

Из одной крайности я бросился в другую. Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз — явление чисто оптическое, я решил, что знаю про нее все, и моя привязанность разбавилась легким презрением, которого я почти не скрывал, считая, что она его не заметит. Но вскоре я почувствовал, что она тяготится замкнутостью нашей жизни, становится нервной и обидчивой.

Была весна, а я почти все время сидел дома, и ей приходилось проводить время рядом, а за окном уже зеленела трава и сквозь серую пленку похожих на туман облаков, затянувших все небо, мерцало размытое, вдвое больше обычного, солнце. Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу — я отпустил ее без особого волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти вместе.

Не то чтобы я стал тяготиться ее обществом, просто я постепенно начал относиться к ней так же, как она с самого начала относилась ко мне — как к табурету, кактусу на подоконнике или круглому облаку за окном. Обычно, чтобы сохранить у себя иллюзию прежней заботы, я провожал ее до двери на лестничную клетку, бормотал ей вслед что-то неразборчиво-напутственное и шел назад; она никогда не спускалась в лифте, а неслышными быстрыми шагами сбегала по лестнице вниз — думаю, в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства; она действительно была так юна и полна сил, что ей легче было три минуты мчаться по ступеням, почти их не касаясь, чем тратить это же время на ожидание жужжащего гробоподобного ящика, залитого тревожным желтым светом, воняющего мочой и славящего группу «Depeche Mode».

(Кстати сказать, Ника была на редкость равнодушна и к этой группе, и к року вообще — единственное, что на моей памяти вызвало у нее интерес, это то место на «Animals», где сквозь облака знакомого дыма военной трехтонкой катит к линии фронта далекий синтезатор и задумчиво лают еще не прикормленные Борисом Гребенщиковым электрические псы.)

Меня интересовало, куда она ходит, — хоть и не настолько, чтобы я стал за ней шпионить, но в достаточной степени, чтобы заставить меня выходить на балкон с биноклем в руках через несколько минут после ее ухода; перед самим собой я никогда не делал вид, что то, чем я занят, порядочно. Ее простые маршруты шли по иссеченной дорожками аллее, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъема в стол заказов; потом она поворачивала за угол высокой зеленой шестнадцатизэтажки — туда, где за долгим пыльным пустырем начинался лес. Дальше я терял ее, и, Господи, как же мне было жаль, что я не могу на несколько секунд стать ею и увидеть по-новому все то, что уже стало для меня незаметным. Уже потом я понял, что мне хотелось просто перестать быть собой, то есть перестать быть; тоска по новому — это одна из самых обычных форм, которые приобретает в нашей стране суицидальный комплекс.

Есть такая английская пословица: «У каждого в шкафу спрятан свой скелет». Что-то мешает правильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную истину. Ужаснее всего то, что этот скелет «свой» не в смысле имущественного права или необходимости его прятать, а в смысле «свой собственный», и шкаф здесь — эвфемизм тела, из которого этот скелет когда-нибудь выпадет по той причине, что шкаф исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу, который я называл Никой, тоже есть скелет; я ни разу не представлял ее возможной смерти. Всё в ней было противоположно смыслу этого слова; она была сгущенной жизнью, как бывает сгущенное молоко (однажды ледяным зимним вечером она совершенно голой вышла на покрытый снегом балкон, и вдруг на перила опустился голубь — и Ника присела, словно боясь его спугнуть, и замерла; прошла минута; я, любуясь ее смуглой спиной, вдруг с изумлением понял, что она не чувствует холода или просто забыла о нем). Поэтому ее смерть не произвела на меня особого впечатления. Она просто не попала в связанную с чувствами часть сознания и не

стала для меня эмоциональным фактом; возможно, это было своеобразной психической реакцией на то, что причиной всему оказался мой поступок. Я не убивал ее, понятно, своей рукой, но это я толкнул невидимую вагонетку судьбы, которая настигла ее через много дней; это я был виновен в том, что началась длинная цепь событий, последним из которых стала ее гибель. Патриот со слюнявой пастью и заросшим шерстью покатым лбом — последнее, что она увидела в жизни — стал конкретным воплощением ее смерти, вот и все. Глупо искать виноватого; каждый приговор сам находит подходящего палача, и каждый из нас — соучастник массы убийств; в мире все переплетено, и причинно-следственные связи невозможны. Кто знает, не обрекаем ли мы на голод детей Занзибара, уступая место в метро какой-нибудь злобной старухе? Область нашего предвидения и ответственности слишком узка, и все причины в конечном счете уходят в неизвестность, к сотворению мира.

Был мартовский день, но погода стояла самая что ни на есть ленинская: за окном висел ноябрьский чернобушлатный туман, сквозь который еле просвечивал ржавый зиг хайль подъемного крана; на близкой стройке районной авроркой побухивал агрегат для забивания свай. Когда свая уходила в землю и грохот стихал, в тумане рождались пьяные голоса и мат, причем особо выделялся один высокий вибрирующий тенор. Потом что-то начинало позвякивать — это волокнистую новую рельсу. И удары раздавались опять.

Когда стемнело, стало немного легче; я сел в кресло напротив растянувшейся на диване Ники и стал листать Гайто Газданова. У меня была привычка читать вслух, и то, что она меня не слушала, никогда меня не задевало. Единственное, что я позволял себе, — это чуть выделять некоторые места интонацией: *«Ее нельзя было назвать скрытной; но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне не приходилось слышать от нее высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем у нее не было никаких причин скрывать от меня*

*что бы то ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся...»*

Я неизменно удивлялся другому: почти все книги, почти все стихи были посвящены, если разобраться, Нике — как бы ее ни звали и какой бы облик она ни принимала; чем умнее и тоньше был художник, тем неразрешимее и мистичнее становилась ее загадка; лучшие силы лучших душ уходили на штурм этой безмолвной зеленоглазой непостижимости, и всё расширялось о невидимую или просто несуществующую — а значит, действительно непреодолимую — преграду; даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент заслониться лирическим героем, остались только два печальных глаза да фаллос длиной в фут (последнее я объяснял тем, что свой знаменитый роман он создавал вдали от Родины). *«И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, — бормотал я сквозь дрему, раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания, в котором отразилось столько непохожих сердец, — был греческий диван мохнатый, да в вольной росписи стена...»* Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет.

Я уже давно замечал, что по ночам она куда-то ненадолго уходит. Я думал, что ей нужен небольшой моцион перед сном или несколько минут общения с такими же никами, по вечерам собиравшимися в круге света перед подъездом, где всегда играл неизвестно чей магнитофон. Кажется, у нее была подруга по имени Маша — рыжая и шустрая; пару раз я видел их вместе. Никаких возражений против этого у меня не было, и я даже оставлял дверь открытой, чтобы она не будила меня своей возней в темном коридоре и видела, что я в курсе ее ночных прогулок. Единственным чувством, которое я испытывал, была моя обычная зависть по поводу того, что от меня опять ускользают какие-то грани мира, но мне никогда не приходило в голову отправиться вместе с ней — я понимал, до какой степени я буду неуместен в ее компании. Мне вряд ли показалось бы интересным ее общество, но все-таки было чуть-чуть обидно, что у нее есть свой круг, куда мне закрыт доступ. Когда я проснулся с книгой на коленях и увидел, что я в комнате один, мне вдруг захотелось ненадолго спуститься вниз и выкурить сигарету на лавке перед подъездом; я решил, что если и увижу Нику, то

никак не покажу нашей связи. Спускаясь в лифте, я даже представил себе, как она увидит меня, вздрогнет, но, заметив мою индифферентность, повернется к Маше — отчего-то я считал, что они будут сидеть на лавке рядом — и продолжит тихий, понятный только им разговор.

Перед домом никого не было, и мне вдруг стало неясно, почему я был уверен, что встречу ее. Прямо у лавки стоял спортивный «мерседес» коричневого цвета — иногда я замечал его на соседних улицах, иногда перед своим подъездом; то, что это одна и та же машина, было ясно по запоминающемуся номеру — какому-то «ХРЯ» или «ХАМ». Со второго этажа доносилась тихая музыка, кусты чуть качались от ветра, и снега вокруг уже совсем не было; скоро лето, подумал я. Но все же было еще холодно.

Когда я вернулся в дом, на меня неодобрительно подняла глаза похожая на сухую розу старуха, сидевшая на посту у двери, — уже пора было запираить подъезд. Поднимаясь в лифте, я думал о пенсионерах из бывшего актива, несущих в подъезде последнюю живую веточку захиревшей общенародной вахты, — по их трагической сосредоточенности было видно, что далеко в будущее они ее не заташат, а передать совсем некому. На лестничной клетке я последний раз затянулся, открыл дверь на лестницу, чтобы бросить окурок в ведро, услышал какие-то странные звуки на площадке пролетом ниже, наклонился над перилами и увидел Нику.

Человек с более изощренной психикой решил бы, возможно, что она выбрала именно это место — в двух шагах от собственной квартиры, — чтобы получить удовольствие особого рода, наслаждение от надругательства над семейным очагом. Мне это в голову не пришло — я знал, что для Ники это было бы слишком сложно, — но то, что я увидел, вызвало у меня приступ инстинктивного отвращения. Два бешено работающих слившихся тела в дрожащем свете неисправной лампы показались мне живой швейной машиной, а взвизгивания, которые трудно было принять за звуки человеческого голоса, — скрипом несмазанных шестеренок. Не знаю, сколько я смотрел на все это: секунду или несколько минут. Вдруг я увидел Никины глаза, и моя рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом врезалась в стену и свалилась ей на голову.

Видимо, я их сильно испугал. Они кинулись вниз, и я успел

узнать того, кто был с Никой. Он жил где-то в нашем доме, и я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт, — у него были невыразительные глаза, пошлые бесцветные усы и вид, полный собственного достоинства. Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре; я проходил мимо, он поднял глаза и некоторое время внимательно глядел на меня; когда я спустился на несколько ступеней и он убедился, что я не составлю ему конкуренции, за моей спиной опять раздалось шуршание картофельных очисток, в которых он что-то искал. Я давно догадывался: Нике нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле слова, и ее всегда будет тянуть к ним, на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-нибудь там еще свете.

Собственно, сама по себе она ни на кого не похожа, подумал я, открывая дверь в квартиру, ведь если я гляжу на нее и она кажется мне по-своему совершенным произведением искусства, дело здесь не в ней, а во мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что именно там находится камертон, с невыразимой нотой которого я сравниваю все остальное. Я постоянно принимаю самого себя за себя самого, думая, что имею дело с чем-то внешним, а мир вокруг — всего лишь система зеркал разной кривизны. Мы странно устроены, размышлял я, мы видим только то, что собираемся увидеть, — причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и положений, — на месте того, что нам показывают на самом деле, как Гумберт Гумберт, принимающий жирный социал-демократический локоть в окне соседнего дома за колено замершей нимфетки.

Ника не пришла домой ночью, а рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на две недели. Когда я вернулся, меня встретила розововолосая старушка с вахты и, поглядывая на трех других старух, полукругом сидевших возле ее стола на принесенных из квартир стульях, громко сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро прошел мимо; все-таки какое-то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она вернется; у меня было много дел, и до самого вечера я ни разу не вспомнил о ней, а вечером зазвонил те-

лефон, и старушка с вахты, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила, что ее зовут Татьяна Григорьевна и что она только что видела Нику внизу.

Асфальт перед домом на глазах темнел — моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек с ритмичными криками прыгали через резинку, натянутую на уровне их шей, — каким-то чудом они ухитрялись перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный пластиковый пакет. Ники нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился; я повернул за угол. Она стояла перед коричневым «мерседесом» с хамским номером, припаркованным с пижонской лихостью — одно колесо было на тротуаре. Передняя дверь была открыта, а за стеклом курил похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке.

— Ника! Привет, — сказал я, останавливаясь.

Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени. Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид, но я не принимал этих слов всерьез — наверно, потому, что раньше она прощала мне все обиды. Человек в «мерседесе» брезгливо повернул ко мне лицо и чуть нахмурился.

— Ника, прости меня, а? — стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки, с тоской чувствуя, до чего я похож на молодого Чернышевского, по нужде заскочившего в петербургский подъезд и с жестом братства поднимающегося с корточек навстречу влетевшей с мороза девушке; меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Нике или уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом. Она опустила голову, словно раздумывая, и вдруг по какой-то неопределимой мелочи я понял, что она сейчас шагнет ко мне, шагнет от этого ворованного «мерседеса», водитель которого сверлил во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами, и через несколько минут я на руках пронесу ее мимо старух в своем подъезде; мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать ее одну. Она должна была шагнуть ко мне — это было так

же ясно, как то, что накрапывал дождь, — но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик:

— Стой! Кому говорю, стоять!

Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону; ее хозяин, мальчишка в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником, орал:

— Патриот! Назад! К ноге!

Отлично помню эту растянувшуюся секунду: черное тело, несущееся низко над травой, фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась огреть кого-то плетью, нескольких остановившихся прохожих, глядящих в нашу сторону; помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в американских кепках говорят у нас на погранично-лагерном жаргоне. Сзади резко взвизгнули тормоза и закричала какая-то женщина; ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что произошло. Машина — это была «Лада» кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле — опять набирала скорость; видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал, машина уже скрылась за поворотом; краем глаза я заметил бегущую назад к хозяину собаку. Вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих, с жадным вниманием глядящих на ненатурально яркую кровь на мокром асфальте.

— Вот сволочь, — сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. — Дальше поехал.

— Убивать таких надо, — сообщил другой, женский. — Скупил все, понимаешь... Да, да, что вы на меня так... У, да вы, я вижу, тоже...

Толпа сзади росла; в разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам; летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшее своей таинственной сиамской красоты, я знал, что как бы ни изменилась моя жизнь, каким бы ни было мое завтра и что бы ни пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку.

## СИНИЙ ФОНАРЬ

В палате было почти светло из-за горевшего за окном фонаря. Свет был какой-то синий и неживой, и если бы не Луна, которую можно было увидеть, сильно наклонившись с кровати вправо, было бы совсем жутко. Лунный свет разбавлял мертвенное сияние, конусом падавшее с высокого шеста, делал его таинственнее и мягче. Но когда я свешивался вправо, две ножки кровати на секунду повисали в воздухе и в следующий момент громко ударились в пол, и звук выходил мрачный, странным образом дополняющий синюю полосу света между двумя рядами кроватей.

— Кончай там, — сказал Костыль и показал мне синеватый кулак, — не слышно.

Я стал слушать.

— Про мертвый город знаете? — спросил Толстой.

Все молчали.

— Ну вот. Уехал один мужик в командировку на два месяца. Приезжает домой и вдруг видит, что все люди вокруг мертвые.

— Чего, прямо лежат на улицах?

— Нет, — сказал Толстой, — они на работу ходят, разговаривают, в очереди стоят. Всё как раньше. Только он видит, что они все на самом деле мертвые.

— А как он понял, что они мертвые?

— Откуда я знаю, — ответил Толстой, — это же не я понял, а он. Как-то понял. Короче, он решил сделать вид, что ничего не замечает, и поехал к себе домой. У него жена была. Увидел он ее и понял, что она тоже мертвая. А он ее очень силь-

но любил. Ну и стал он ее расспрашивать, что случилось, пока его не было. А она ему отвечает, что ничего не случилось. И даже не понимает, чего он хочет. Тогда он решил ей все рассказать и говорит: «Ты знаешь, что ты мертвая?» А жена ему отвечает: «Знаю». Он спрашивает: «А ты знаешь, что в этом городе все мертвые?» Она говорит: «Знаю. А сам-то ты знаешь, почему вокруг одни мертвецы?» Он говорит: «Нет». Она опять спрашивает: «А знаешь, почему я мертвая?» Он опять говорит: «Нет». Она тогда спрашивает: «Сказать?» Мужик испугался, но все-таки говорит: «Скажи». И она ему говорит: «Да потому что ты сам мертвец».

Последнюю фразу Толстой произнес таким сухим и официальным голосом, что стало почти по-настоящему страшно.

— Да, съездил дядя в командировочку...

Это сказал Коля, совсем маленький мальчик — младше остальных на год или два. Правда, он не выглядел младше, потому что носил огромные роговые очки, придававшие ему солидность.

— Теперь ты рассказываешь, — сказал ему Костыль. — Раз первый заговорил.

— Сегодня такого уговора не было, — сказал Костя.

— А он вечный, — ответил Костыль, — давай, не тяни.

— Лучше я расскажу, — сказал Вася. — Про синий ноготь знаете?

— Конечно, — отозвался шепот из другого угла. — Кто ж про синий ноготь не знает.

— А про красное пятно знаете? — спросил Вася.

— Нет, не знаем, — ответил за всех Костыль, — давай.

— Раз приезжает семья в квартиру, — медленно заговорил Вася, — а на стене — красное пятно. Дети его заметили и позвали мать, чтоб показать. А мать молчит. Сама так смотрит и улыбается. Дети тогда отца позвали. «Смотри, — говорят, — папа!» А отец матери очень боялся. Он им говорит: «Пошли отсюда. Не ваше дело». А мать улыбается и молчит. Так спать и легли.

Вася замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну и что дальше было? — спросил Костыль через несколько секунд тишины.

— Дальше утро было. Утром просыпаются, смотрят — а одного ребенка нет. Тогда дети подходят к маме и спрашивают: «Мама, мама, где наш братик?» А мать отвечает: «Он к бабушке поехал. У бабушки он». Дети и поверили. Мать на работу ушла, а вечером приходит и улыбается. Дети ей говорят: «Мама, нам страшно!» А она опять так улыбается и говорит отцу: «Они меня не слушаются. Выпори их». Отец взял и выпорол. Дети даже убежать хотели, только их мать чем-то таким накормила на ужин, что они сидят и встать не могут...

Раскрылась дверь, и все мы мгновенно закрыли глаза и притворились спящими. Через несколько секунд дверь закрылась. Минуту Вася выждал, пока в коридоре стихнут шаги.

— На следующее утро просыпаются — смотрят, еще одного ребенка нет. Одна только маленькая девочка осталась. Она у отца и спрашивает: «А где мой средний братик?» А отец отвечает: «Он в пионерлагере». А мать говорит: «Расскажешь кому — убью!» Даже в школу девочку не пустила. Вечером мать приходит, девочку чем-то опять накормила, так что та встать не могла. А отец двери запер и окна.

Вася опять затих. На этот раз его никто не просил продолжать, и в темноте было слышно только дыхание.

— А потом другие люди приходят, — заговорил он опять, — смотрят, а квартира пустая. Прошел год, и туда новых жильцов вселили. Они увидели красное пятно и подходят, разрезали обои — а там мать сидит, вся синяя, крови насосалась и вылезти не может. Это она все время детей ела, а отец помогал.

Долгое время все молчали, а потом кто-то спросил:

— Вася, а у тебя кем мама работает?

— Не важно, — сказал Вася.

— А у тебя сестра есть?

Вася не отвечал — видно, обиделся или заснул.

— Толстой, — сказал Костыль, — давай еще что-нибудь про мертвецов.

— Знаете, как мертвецами становятся? — спросил Толстой.

— Знаем, — ответил Костыль, — берут и умирают.

— И что дальше?

— Ничего, — сказал Костыль, — как сон. Только уже не просыпаешься.

— Нет, — сказал Толстой, — я не про это. С чего все начинается, знаете?

— С чего?

— А с того, что сначала слушают истории про мертвецов. А потом лежат и думают: а чего это мы истории про мертвецов слушаем?

Кто-то нервно хихикнул, а Коля вдруг сел в кровати и очень серьезно сказал:

— Ребята, кончайте.

— Во-во, — с удовлетворением сказал Толстой, — так и становятся. Главное — понять, что ты уже мертвец, а дальше все просто.

— Ты сам мертвец, — неуверенно огрызнулся Коля.

— А я не спорю, — сказал Толстой. — Ты лучше подумай, почему это ты вдруг с мертвецом разговариваешь?

Коля некоторое время думал.

— Костыль, — спросил он, — ты ведь не мертвец?

— Я-то? Да как тебе сказать.

— А ты, Леша?

Леша был Колин друг еще по городу.

— Коля, — сказал он, — ну ты сам подумай. Вот жил ты в городе, да?

— Да, — согласился Коля.

— И вдруг отвезли тебя в какое-то место, да?

— Да.

— И ты вдруг замечаешь, что лежишь среди мертвецов и сам мертвец.

— Да.

— Ну вот, — сказал Леша, — пораскинь мозгами.

— Долго мы ждали, — сказал Костыль, — думали, сам поймешь. За всю смерть такого тупого мертвеца первый раз вижу. Ты что, не понимаешь, зачем мы тут собрались?

— Нет, — сказал Коля. Он сидел на кровати, прижимая ноги к груди.

— Мы тебя в мертвецы принимаем, — сказал Костыль.

Коля не то что-то пробормотал, не то всхлипнул, вскочил с кровати и пулей выскочил в коридор; оттуда долетел быстрый топот его босых ног.

— Не ржать, — шепотом сказал Костыль, — он услышит.

— А чего ржать-то? — меланхолично спросил Толстой. Несколько длинных секунд стояла полная тишина, а потом Вася из своего угла спросил:

— Ребят, а вдруг...

— Да ладно тебе, — сказал Костыль. — Толстой, давай еще чего-нибудь.

— Вот был такой случай, — заговорил Толстой после паузы. — Договорились несколько человек напугать своего приятеля. Переоделись они мертвецами, подходят к нему и говорят: «Мы мертвецы. Мы за тобой пришли». Он испугался и убежал. А они постояли, посмеялись, а потом один из них и говорит: «Слушайте, ребят, а чего это мы мертвецами переоделись?» Они все на него посмотрели и не могут понять, что он сказать хочет. А он опять: «А чего это от нас живые убегают?»

— Ну и что? — спросил Костыль.

— А то. Вот тут-то они всё и поняли.

— Что поняли?

— А что надо, то и поняли.

Стало тихо, потом заговорил Костыль:

— Слушай, Толстой. Ты нормально можешь рассказывать? Толстой молчал.

— Эй, Толстой, — опять заговорил Костыль, — ты чего молчишь-то? Умер, что ли?

Толстой молчал, и его молчание с каждой секундой становилось все многозначительней. Мне захотелось на всякий случай что-нибудь сказать вслух.

— Про программу «Время» знаете? — спросил я.

— Давай, — быстро сказал Костыль.

— Она не очень страшная.

— Все равно давай.

Я не помнил точно, как кончалась история, которую я собирался рассказать, но решил, что вспомню, пока буду рассказывать.

— В общем, жил-был один мужик, было ему лет тридцать. Сел он один раз смотреть программу «Время». Включил телевизор, подвинул кресло, чтобы удобнее было. Там сначала появились часы — ну, как обычно. Он, значит, свои проверил, правильно ли идут. Все как обычно было. Короче, пробило

ровно девять часов. И появляется на экране слово «Время», только не белое, как всегда раньше было, а почему-то черное. Ну, он немножко удивился, но потом решил, что это просто новое оформление сделали, и стал смотреть дальше. А дальше все опять было как обычно. Сначала какой-то трактор показали, потом израильскую армию. Потом сказали, что какой-то академик умер, потом немного показали про спорт, а потом про погоду — прогноз на завтра. Ну все, «Время» кончилось, и мужик решил встать с кресла.

— Потом напомните, я про зеленое кресло расскажу, — влез Вася.

— Значит, хочет он с кресла встать и чувствует, что не может. Сил совсем нет. Тогда он на свою руку поглядел и видит, что на ней вся кожа дряблая. Он тогда испугался, изо всех сил напрягся, встал с кресла и пошел к зеркалу в ванную, а идти трудно... Но все-таки кое-как дошел. Смотрит на себя в зеркало и видит — все волосы у него седые, лицо в морщинках и зубов нет. Пока он «Время» смотрел, вся жизнь прошла.

— Это я знаю, — сказал Костыль. — То же самое, только там про футбол с шайбой было. Мужик футбол с шайбой смотрел.

В коридоре послышались шаги и раздраженный женский голос, и мы мгновенно стихли, а Вася даже начал неестественно храпеть. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в палате загорелся свет.

— Так, кто тут главный мертвец? Толстенко, ты?

На пороге стояла Антонина Васильевна в белом халате, а рядом с ней — зареванный Коля, старательно прячущий взгляд.

— Главный мертвец, — с достоинством ответил Толстой, — в Москве на Красной площади. А чего это вы меня ночью будите?

От такой наглости Антонина Васильевна растерялась.

— Входи, Аверьянов, — сказала она наконец, — и ложись. А с мертвецами завтра начальник лагеря разберется. Как бы они по домам не поехали.

— Антонина Васильевна, — медленно выговорил Толстой, — а почему на вас халат белый?

— Потому что надо так, понял?

Коля быстро взглянул на Антонину Васильевну.

— Иди в кровать, Аверьянов, — сказала она, — и спи. Муж-

чина ты или нет? А ты, — она повернулась к Толстому, — если еще хоть слово скажешь, пойдешь стоять голым в палату к девочкам. Понял?

Толстой молча смотрел на халат Антонины Васильевны. Она оглядела себя, потом подняла взгляд на Толстого и покрутила пальцем у лба. Потом внезапно разозлилась и даже покраснела от злости.

— Ты мне не ответил, Толстенко, — сказала она, — ты понял, что с тобой будет?

— Антонина Васильевна, — заговорил Костыль, — вы же сами сказали, что, если он еще хоть одно слово скажет, вы его... Как же он вам ответит?

— А с тобой, Костылев, — сказала Антонина Васильевна, — разговор вообще будет особый, в кабинете директора. Запомни.

Погас свет, и хлопнула дверь.

Некоторое время — минуты, наверно, три — Антонина Васильевна стояла за дверью и слушала. Потом послышались ее тихие шажки по коридору. На всякий случай мы еще минуты две молчали. Потом раздался шепот Костыля:

— Слушай, Коля, как ты от меня завтра в рог получишь...

— Я знаю, — печально отозвался Коля.

— Ой как получишь...

— Про зеленое кресло будете слушать? — спросил Вася. Никто не ответил.

— На одном большом предприятии, — заговорил он, — был кабинет директора. Там был ковер, шкаф, большой стол и перед ним — красное кресло. А в углу кабинета стояло переходящее красное знамя, которое было там очень давно. И вот одного мужика назначили директором этого завода. Он входит в кабинет, посмотрел по сторонам, и ему очень все понравилось. Ну, значит, сел он в это кресло и начал работать. А потом его заместитель заходит в комнату, смотрит — а вместо директора в кресле скелет сидит. Ну, вызвали милицию, все обыскали и не нашли ничего. Потом, значит, назначили заместителя директором. Сел он в это кресло и стал работать. А потом в кабинет входят, смотрят — а в кресле опять скелет сидит. Опять вызвали милицию и опять ничего не нашли. Тогда нового директора назначили. А он уже знал, что с другими директорами случилось, и заказал себе большую куклу

размером с человека. Он ее одел в свой костюм и посадил в кресло, сам отошел, спрятался за штору — потом напомните, я про желтую штору вспомнил — и стал смотреть, что будет. Проходит час, два проходит. И вдруг он видит, как из кресла выдвигаются такие металлические спицы и со всех сторон куклу обхватывают. А одна такая спица — прямо в горло. А потом, когда спицы куклу задушили, переходящее красное знамя выходит из угла, подходит к креслу и накрывает эту куклу своим полотнищем. Прошло несколько минут, и от куклы ничего не осталось, а переходящее красное знамя отошло от стола и встало обратно в угол. Мужик тогда тихо вышел из кабинета, спустился вниз, взял с пожарного щита топор, вернулся в кабинет да как рубанет по переходящему знамени. И тут такой стон раздался, а из деревяшки, которую он перебил, на пол кровь полилась.

— А что дальше было? — спросил Костыль.

— Все, — ответил Вася.

— А с мужиком что случилось?

— Посадили в тюрьму. За знамя.

— А со знаменем?

— Починили и назад поставили, — поразмыслив, ответил Вася.

— А когда нового директора назначили, что с ним случилось?

— То же самое.

Я вдруг вспомнил, что в кабинете у директора, в углу, стоят сразу несколько знамен с выведенными на них краской номерами отрядов; эти знамена он уже два раза выдавал во время торжественных линеек. Кресло у него в кабинете тоже было, но не зеленое, а красное, вращающееся.

— Да, я забыл, — сказал Вася, — когда мужик из-за шторы вышел, он уже весь седой был. Про желтую штору знаете?

— Я знаю, — сказал Костыль.

— Толстой, ты про желтую штору знаешь?

Толстой молчал.

— Эй, Толстой!

Толстой не отзывался.

Я думал о том, что у меня дома в Москве на окнах как раз висят желтые шторы — точнее, желто-зеленые. Летом, ког-

да дверь балкона все время открыта и снизу, с бульвара, долетает шум моторов и запах бензиновой гари, смешанный с запахом каких-то цветов, что ли, я часто сижу возле балкона в зеленом кресле и смотрю, как ветер колышет желтую штору.

— Слышь, Костыль, — неожиданно сказал Толстой, — а в мертвецы не так принимают, как ты думаешь.

— А как? — спросил Костыль.

— Да по-разному. Только при этом никогда не говорят, что принимают в мертвецы. И поэтому мертвецы потом не знают, что они уже мертвые, и думают, что они еще живые.

— Тебя что, уже приняли?

— Не знаю, — сказал Толстой. — Может, уже приняли. А может, потом примут, когда в город вернусь. Я ж говорю, они не сообщают.

— Кто «они»?

— Кто, кто. Мертвые.

— Ну ты опять за свое, — сказал Костыль, — заткнулся бы. Надоело уже.

— Во-во, — подал голос Коля. — Точно. Надоело.

— А ты, Коля, — сказал Костыль, — все равно завтра в рог получишь.

Толстой немного помолчал.

— Самое главное, — опять заговорил он, — что те, кто принимает, тоже не знают, что они принимают в мертвецы.

— Как же они тогда принимают? — спросил Костыль.

— Да как хочешь. Допустим, ты про что-то у кого-нибудь спросил или включил телевизор, а тебя на самом деле в мертвецы принимают.

— Я не про это. Они же должны знать, что они кого-то принимают, когда они принимают.

— Наоборот. Как они могут что-то знать, если они мертвые.

— Тогда совсем непонятно получается, — сказал Костыль. — Как тогда понять, кто мертвец, а кто живой?

— А ты что, не понимаешь?

— Нет, — ответил Костыль, — выходит, нет разницы.

— Ну вот и подумай, кто ты получаешься, — сказал Толстой.

Костыль сделал какое-то движение в темноте, и что-то с силой стукнулось о стену над самой головой Толстого.

— Идиот, — сказал Толстой. — Чуть в голову не попал.

— А мы все равно мертвые, — сказал Костыль, — подумаешь.

— Мужики, — опять заговорил Вася, — про желтую штору рассказывать?

— Да иди ты в жопу со своей желтой шторой, Вася. Сто раз уже слышали.

— Я не слышал, — сказал из угла Коля.

— Ну и что, из-за тебя все слушать должны? А потом опять к Антонине побежишь плакать.

— Я плакал, потому что нога болит, — сказал Коля. — Я ногу ушиб, когда выходил.

— Ты, кстати, рассказывать должен был. Ты тогда заговорил первый. Думаешь, мы забыли? — сказал Костыль.

— Вместо меня Вася рассказал.

— Он не вместо тебя рассказал, а просто так. А сейчас твоя очередь. А то завтра точно в рог получишь.

— Знаете про черного зайца? — спросил Коля.

Я почему-то сразу понял, о каком черном зайце он говорит, — в коридоре перед столовой среди прочего висела фанерка с выжженным зайцем в галстуке. Из-за того, что рисунок был выполнен очень добросовестно и подробно, заяц действительно казался совсем черным.

— Вот. А говорил, не знаешь ничего. Давай.

— Был один пионерлагерь. И там на главном корпусе на стене были нарисованы всякие звери, и один из них был черный заяц с барабаном. У него в лапы почему-то были вбиты два гвоздя. И однажды шла мимо одна девочка — с обеда на тихий час. И ей стало этого зайца жалко. Она подошла и вынула гвозди. И ей вдруг показалось, что черный заяц на нее смотрит, словно он живой. Но она решила, что это ей показалось, и пошла в палату. Начался тихий час. И сразу же все, кто был в этом лагере, заснули. И им стало сниться, что тихий час кончился, что они проснулись и пошли на полдник. Потом они вроде бы стали делать все как обычно — играть в пинг-понг, читать и так далее. А это им все снилось. Потом кончилась смена, и они поехали по домам. Потом они все выросли, кончили школу, женились и стали работать и воспитывать детей. А на самом деле они просто спали в палатах этого пионерлагеря. И черный заяц все время бил в свой барабан.

Коля замолчал.

— Что-то непонятно, — сказал Костыль. — Вот ты говоришь, что они разъехались по домам. Но ведь там у них родители, знакомые ребята. Они что, тоже спали?

— Нет, — сказал Коля. — Они не то что спали. Они снились.

— Полный бред, — сказал Костыль. — Ребят, вы что-нибудь поняли?

Никто не ответил. Похоже, почти все уже заснули.

— Толстой, ты понял что-нибудь?

Толстой заскрипел кроватью, нагнулся к полу и швырнул что-то в Колю.

— Ну и сволочь ты, — сказал Коля. — Сейчас в морду получишь.

— Отдай сюда, — сказал Костыль.

Это был его кед, которым он перед этим швырнул в Толстого.

Коля отдал кед.

— Эй, — сказал мне Костыль, — ты чего молчишь все время?

— Так, — сказал я. — Спать охота.

Костыль заворочался в кровати. Я думал, он скажет что-то еще, но он молчал. Все молчали. Что-то пробормотал во сне Вася.

Я глядел в потолок. За окнами качалась лампа фонаря, и вслед за ней двигались тени в нашей палате. Я повернулся лицом к окну. Луны уже не было видно. Вокруг было совсем тихо, только где-то очень далеко барабанной дробью стучали колеса ночной электрички. Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам не заметил, как заснул.

## ПРОБЛЕМА ВЕРВОЛКА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот-то мятый «ЗиЛ» остановится: такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, — по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного: с пьяной старческой наглостью звякая подвешенным у бензобака ведром, «ЗиЛ» протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок, издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом.

Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него — внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом — тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать.

Существовали только два способа дальнейших действий: либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню — три километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным: есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу принадлежности всех проезжающих по ним водителей к некоему тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп — наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге — километров пятнадцать по пря-

мой — была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из пяти проехавших мимо машин не остановилась ни одна, и если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной «Нивы», Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанного многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег (и вдруг бросится в глаза висящая над рулем фотография нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор) — но когда дребезжащий «ЗиЛ» проехал мимо, и эта надежда умерла.

Саша поглядел на часы — двадцать минут десятого. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, вот попал... Он посмотрел по сторонам — за сотней метров пересеченной местности (микроскопические холмики, редкие кусты и слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото) начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще, растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом и хоть достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и стлалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли, — хотя, подумал Саша, если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из трех виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной — как раз последняя, Коньково, — а остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век; покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища.

Даже Коньково, отмеченное гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью *Колхоз «Мичуринский»*, казалось поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних, уже безымянных, деревень. Хотя в Конькове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было — только прошла бабка в черном,

мелко перекрестившись при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными магическими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руле. Велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные жители, если они были, сидели по домам.

В воображении поездка представлялась совсем иначе. Вот он ссаживается с речного плоскодонного теплоходика, доходит до деревни, где на завалинках — Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее себе в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены: мирно сидят выжившие из ума старухи, кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся Тверской бульвар, только заросший подсолнухом. Ну еще промчыт вдалеке корова.

Дальше — вот он выходит на околицу, и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанное дорогой поле, и куда ни пойдешь, всюду будет замечательно: можно развести костер, можно вспомнить детство и ползать по деревьям — если, конечно, после того, как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером — на попутных машинах к электричке.

А что вышло?

Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги, с подписью: *«Старинная русская деревня Коньково, ныне — главная усадьба колхоза-миллионера»*. Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок, проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид.

Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам к бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет — говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу, — он попал в полупустой зал, отсучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала, деда, свистевшего в некоторых местах (его критерии были совершенно неясны, зато в свисте было что-то соловьино-разбойничье,

что-то от уходящей Руси); потом — когда фильм кончился — поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на протершего руку и поднявшего ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущему его у шоссе.

Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дождался так долго, что успел забыть о том, чего он ждет.

Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придуывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кощеи, а здесь был колхоз «Мичуринский» — понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий: он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, тогда его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут уж ничего не поделаешь.

Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут двадцать назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше, а сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел — обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой — там еще росло большое дерево. Ага, вот оно. Значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый столб. Где он? Вот он, только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно.

Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожий на грозящие небу огромные грабли, и повернул влево. Пройдя двадцать шагов, он остановился и посмотрел назад: с поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней гря-

зью изолятор. Он пошел дальше — чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес.

Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверно, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули.

— Эй, — закричал пьяный голос, — ты кто?

И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки — Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонятся, но все-таки неприятно взволнованный.

— У, волчище! — прокричали сзади.

«Может, я не туда иду?» — подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. Нет, вроде туда: вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую букву W; что-то похожее уже было.

Понемногу темнело, а идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса — начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть.

То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и слышался тихий электрический треск: по дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился — неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед значило идти неизвестно куда — но все-таки должна же дорога куда-то вести?

Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, думал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет чем-то похоже на ночлег в парадном, а это вещь испытанная и совершенно безопасная.

Издали донесся какой-то полный вековой тоски рев — сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову — скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник; пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно, а когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего.

На дорогу падал слабый, неопределенной природы, свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то — наверно, по городской привычке — у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился: никаких фонарей, конечно, не было — светила луна, и Саша, задрал голову, увидел ее четкий белый серп. Поглядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные, — раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл.

Наконец стемнело полностью и окончательно, то есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все «молнии»: так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два мятых плавленых сырка «Дружба» — фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о вымпелах, которые человечество постоянно запускает в космос.

Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала метров пятьсот по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, — и сузилась: теперь идти было темнее, потому что полоса неба над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть и дорога не выведет его никуда, а наоборот, заведет в глухую чашу и кончится в царстве зла, среди огромных дубов, шевелящих руко-

образными ветвями, — как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубашке, что становится жалко поверженных Бабу Ягу и Кощея.

Впереди опять возник шум мотора; теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам — стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло — машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора — теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь.

Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука; когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь сто метров; света фар не было видно, но впереди был поворот.

Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги.

Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребуют обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если и не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом.

Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом; хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг.

Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул.

Впереди была большая поляна; с одной ее стороны в беспорядке стояло штук шесть машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя как любя

большая компания вокруг ночного костра — не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной.

Словно услышав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку, и заиграла довольно громкая музыка — правда, неподходящая для пикника: монотонно завывали какие-то хриплые мрачные трубы.

Однако компания не выразила неудовольствия — наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности.

У костра особняком стоял военный — кажется, полковник; его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу.

Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке, с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону... Нет, показалось, никто его не заметил.

Ему пришло в голову, что все это легко объяснить: сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес... Военный — для охраны или танки продает. Но почему такая музыка?

— Эй, — сказал сзади тихий голос.

Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской лилией на груди.

— Ты чего тут делаешь? — также тихо спросила она.

Он с усилием разлепил рот:

— Я... так просто.

— Что так просто?

— Ну, шел по дороге, пришел сюда.

— То есть как? — удивилась девочка. — Ты что, не с нами приехал?

— Нет.

Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте.

— Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?

— Непонятно, что тут такого, — сказал Саша.

Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением,

что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала, потом спросила:

— А как ты теперь выкручиваться хочешь?

Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил:

— Как? Попрошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?

Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно покрутила рукой.

— Или дальше пойду, — вдруг сказал Саша.

Девочка посмотрела на него с сожалением.

— Я тебе вот что скажу: бежать не пробуй. Правда. А лучше минут так через пять иди к костру, посмелее. И глаза делай безумные. Тебя, значит, спросят: кто ты такой и что здесь делаешь. А ты отвечай, что зов услышал. И главное — с полной уверенностью. Понял?

— Какой зов?

— Такой. Мое дело тебе совет дать.

Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд.

«Издевается», — подумал Саша. Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что девочка не издевалась: очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом — узким и длинным, с мощными челюстями. Собачий? Нет, скорее волчий...

Он решил, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он покачиваясь — и не понимал почему, а глаза его были прикованы к огню.

Разговоры на поляне сразу смолкли.

— Стой, — хрипло сказали от столба с черепом.

Он не остановился — к нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его.

— Ты что здесь делаешь? — спросил голос, который командовал ему остановиться.

— Зов услышал, — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю.

— А, зов... — раздался голоса. Его отпустили, вокруг зашмеялись и кто-то сказал:

— Новенький.

Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт. Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», — подумал он и занялся бутербродом.

Мимо прошла девочка в спортивном костюме.

— Слушай, — спросил он, — что здесь происходит? Пикник?

— Погоди, узнаешь.

Она помахала мизинчиком — какой-то совершенно китайский получился жест — и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом.

Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул: перед ним стоял военный.

— Слышь, новенький, — сказал он, — заполни-ка.

В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке; это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колене, кое-как, стал вписывать ответы — где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравнивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка.

Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты — плавными и ловкими. Какой-то мужик в вечернем костюме ловко кувырчался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук; другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту.

Все это находилось в несомненной, хоть и неясной связи с музыкой: она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожней, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте, и пронесся воющий удар гонга.

— Эликсир! — приказал полковник.

Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, — в таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение.

— Вот это да, — восхищенно сказал кто-то, — без эликсира...

Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно — ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную полувольтю морду.

— Великолепно, — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. — Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!

По телу жуткого существа прошла волна, еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица.

— Это Лена из Тамбова, — сказал кто-то Саше в ухо, — она очень способная.

Разговоры стихли, и как-то естественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщина с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах — так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше.

Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало.

Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову — как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдвухвал струю газа. Шарик вырос, раздулся — его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх — далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ни-

чего не было видно. Он стал смотреть вверх и увидел, что приближается к небу, — как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые и казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу, он летел ввысь все быстрее и быстрее. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле.

Пал он долго, целое тысячелетие, и наконец почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл.

Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену — а как, было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если бы не увидел этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила:

— Ну как?

Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила — это никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою.

— Здорово, — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами.

— Отдохни, — провыла она, — сейчас будем долго бежать.

Саша поглядел по сторонам: под шестом по траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя; из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост.

На полянке теперь стояла волчья стая, и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину.

Саша повернулся к Лене и провыл:

— Она не из наших?

— Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается.

— А сейчас будет?

— Сейчас для нее холодно. Она в Среднюю Азию ездит.

Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества.

Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение — например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены — это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов псины.

Такая же перемена произошла со звуками: они стали гораздо осмысленней, и их число заметно увеличилось — можно было выделить скрип ветки под ветром в ста метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков одновременно, не раздвигая внимания.

Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самоосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании касалось смысла жизни: он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо как некоторое вечное свойство мира, и в этом было главное очарование нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество, — жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе.

— Готовы? — пролаял от шеста с черепом бывший полковник.

— Готовы! — взвыл вокруг десятков глоток.

— Сейчас... Пару минут, — прохрипел кто-то сзади. — Перекинуться не могу...

Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад — не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется, надо поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила:

— Ты не вертись, а глаза скашивай. Гляди.

Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал — и действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.

— Куда побежим-то? — озабоченно спросил он.

— В Коньково, — ответила Лена, — там две коровы на поле.

— А разве они сейчас не заперты?

— Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда, — Лена указала мордой вверх, — мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде.

— А что, там, — Саша повторил ее жест, — тоже наши?

— А ты думал.

Иван Сергеевич — бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившимся сейчас в полоску темной шерсти, — значительно кивнул мордой.

Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой: блестящая гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные и сильные задние лапы, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки — в ней одновременно чувствовались сила, немного застенчивая кровожадность и то особое, свойственное молодым волчицам очарование, которое так бессилён выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост и расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.

— Еще раз спрашиваю, все готовы? — накрыл поляну низкий лай вожака.

— Все! Все готовы! — ответил дружный вой.

Саша тоже провыл:

— Все!

— Тогда вперед.

Вожак потрусил к опушке — казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер, вразвалку подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела.

У края поляны вожак пригнул морду к земле, принялся, взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же, с лаем и визгом, за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканной острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина, — страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда об-

ходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно — казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу.

Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матери, мощные волки, а в центре — волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Сашино место было в вершине ромба, сразу за вожаком, — откуда-то он знал, что это почетное место и сегодня оно отдано ему как новичку.

Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога — стая помчалась по асфальту, набрав скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь: вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков исчезающие в своих норах; на обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы, реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому было ясно, что они насмерть напуганы, а один вдобавок полный идиот.

Лена бежала рядом с Сашей.

— Осторожно, — провыла она и указала мордой вверх.

Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов — точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи.

— Кто это? — спросил он у Лены.

— Совы-оборотни. Они крутые... Был бы ты один...

Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отдаляться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны.

— На птицефабрику полетели, — прорычала Лена, — днем они там вроде как спонсоры.

Они подбегали к развилке: впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный, еще человеческий, след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов на-

зад, — это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову.

Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник — был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. В его движениях было что-то странное — приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на иноходь.

— Товарищ полковник! — провыл он.

Получилось что-то вроде: «Х-ррр-уууу-ввы...», но полковник все понял и дружелюбно повернул морду.

— А много у нас в армии оборотней? — зачем-то спросил Саша.

— Много, — отозвался полковник.

— А давно?

Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше.

— С самого начала, — пролаял полковник, — как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?

Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди, высоко, как флаг на корме, подняв хвост.

«Да пошел он со своей Сибирью», — подумал Саша.

Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним — указатель с надписью *Колхоз «Мичуринский»*, и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова.

Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль: когда настала ночь и на улицы, которых было всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни независимо друг от друга. Так и встретило волков-оборотней Коньково — желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища; никакой деревни уже не было, а было несколько близкорасположенных пятен света посреди мировой тьмы.

Длинные серые тени понеслись по главной улице и закрылись перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади; Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть и возле которого опять оказался при

таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.

— Лен, а куда они... — повернулся он к Лене.

— Сейчас придут. Помолчи.

Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облако, и теперь площадь освещалась только лампой под качающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной: стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства; оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, а крашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косо́й парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь, — все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию.

В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы — Иван Сергеевич и военный, — а третий — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал: кто бы это мог быть?

Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный.

Саша внюхался в неизвестного — тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет пятидесяти, конически расширяющийся книзу, с наглым и жирным лицом, — и вместе с тем странно легкий и как бы надутый воздухом.

Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с уверенной веселостью сказал:

— Так. Стая полковника Лебеде́нко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?

— Мы хотим поговорить с тобой, Николай, — ответил вождь. (Саша к этому моменту понял, что им был военный.)

— Охотно, — провыл Николай, — это я всегда... К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я на-

звал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...

Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как, — говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося — как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай (Саша почему-то представил себе его человеческий вариант), стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы.

— ...создать круглую и блестящую модель происходящего.

— В чем же заключается игра? — спросил вожак. — Расскажи. Мы тоже любим игры.

— Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать?

— Покажи.

— К примеру... — Николай задумался на секунду. — К примеру, возьмем самое близкое: вы и я.

— Мы и ты, — повторил вожак.

— Да. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...

Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу.

— ...Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит? Это значит, что некоторые аспекты плывущей мимо меня реальности могут быть проинтерпретированы таким образом, что я, довольно грубо вытасченный из дома, якобы приведен и якобы посажен якобы в круг якобы волков. Возможно, это мне снится, возможно, это снится вам, но безусловно одно: что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал надуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья — жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суэта, которой вы сами заняты, по-вашему, высока. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела — любого из вас и мое, — а еще в них отражается небо — и честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и всё, чем они заняты. Вы

бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке — как, в сущности, ничтожна разница! Причем если за начало отсчета принять вашу подвижность — обратите на это внимание! — выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте.

Он облизнулся и продолжил:

— Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне: я нарушаю ваши законы. Обратите внимание — ваши, а не мои. Если уж я и связан законами, то собственного сочинения, и считаю, что это мое право — выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себя уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить.

— Вот здесь ты попал в самую точку, — заметил вожак.

— Что же, я не отрицаю, что — гипотетически — способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещанием, постарались бы укрыться. А разве я — с абстрактной точки зрения — не явление природы? В самом деле, выходит, что я — в своем, как вы говорите, свинстве — сильнее вас, потому что не я прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь. Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно еще, когда вы ходили по одному, — сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии — сами знаете, почему. Переубедить — тоже, для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои — а на стенках пузыря они равнозначны. Только мои изящнее, но это, в конце концов, дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорей разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как?

Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду — одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках.

— Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни. Не знаю, кто тебя навещал, — вожак оглянулся на остальных волков, — для меня это новость. Сейчас мы здесь по делу.

— По какому же?

Вожак повернулся к кругу.

— У кого письмо?

Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубочкой бумагу.

Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел:

— *Уважаемая редакция!*

Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль.

— *Вам пишет одна из жительниц села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего.*

*В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщенное мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так.*

*Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего отечества, чудом уцелевшая во все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем суть феномена, может, конечно, рассказать только он. Я и сам бы не поверил в возможность подобных вещей, не окажись я случайно свидетелем того, как Николай Петрович, обернувшись волком, спас от стаи диких собак маленькую девочку...*

— Это вранье? Или с корешами договорился? — перебив сам себя, спросил вожак.

Николай не ответил, и вожак стал читать дальше:

— Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я и не называю своего имени — кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении — живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович — настолько отзывчивый и добрый человек, что, я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, — в частности, ряд исторических фактов...»

Вожак перевернул бумажку.

— Так, тут ничего интересного... бред... при чем тут Стенька Разин... где же... Ага, вот. Кстати сказать, обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используют иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк» — русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст.

— Уж по этой-то последней фразе, — заключил вожак, — окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова — одна и та же морда.

Несколько секунд стояла тишина. Вожак отбросил бумагу и посмотрел на Николая.

— Ведь они приедут, — сказал он с грустью. — Они такие идиоты, что могут. Может, они уже были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал?

Николай хлопнул лапой по пыли.

— Слушайте, к чему вся эта болтовня? Я делаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, а ваше общество, признаться, не очень мне нравится. И давайте на этом простимся.

Он приподнял брюхо с земли, собираясь встать.

— Подожди. Не торопись. Печально, но похоже, твой волшебный танец на помойке на этот раз прервется.

— Что это значит? — подняв уши, спросил Николай.

— А то, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав, — но посмотри на него. Вожак показал лапой на Сашу.

— Я его не знаю, — твякнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень. Саша тоже посмотрел вниз и оторопел: тени всех остальных были человеческими, а его собственная — волчьей.

— Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае. Если победит тебя. Ну как?

Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.

— А ты, оказывается, знаток древних законов, — ответил Николай, стараясь рычать иронично.

— Как и ты. Разве не ими ты собираешься приторговывать? Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Бóльшая часть того, что мы знаем, никому не нужна.

— Есть еще меньшая часть, — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. Выхода не было — круг был замкнут.

Саша наконец понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.

«Но ведь я здесь случайно, — подумал он. — Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое!»

Он посмотрел по сторонам — все глаза были направлены на него. «Может, сказать всю правду? Вдруг отпустят...»

Он вспомнил свое превращение, потом — как они мчались по ночному лесу и дороге; ничего прекраснее он не испытывал в жизни. «Ты просто самозванец. У тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове. А другой голос — вожака — сказал в ту же секунду:

— Саша, это твой шанс.

Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай:

— Я готов.

Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями, он больше ни в чем не сомневался.

Стая одобрительно зарычала. Николай медленно поднял на Сашу тусклые желтые глаза.

— Только учти, дружок, это очень маленький шанс, — сказал он. — Совсем маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь.

Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле.

— Тебя ждут, Николай, — мягко сказал вожак.

Тот лениво зевнул — и вдруг взлетел вверх; распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку — это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия; его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу.

По стае опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро обсудили; один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху.

— Да, — сказал вожак, — это несомненно так.

Он повернулся к Саше.

— Перед дракой положена перебранка. Стая желает.

Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то, расположенного за Сашей, — и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились.

— Вы, Николай Петрович, мне отвратительны, — выдавил из себя Саша.

— Об этом, — с готовностью ответил Николай, — будешь своему папаше рассказывать.

Саша почувствовал, что напряжение прошло.

— Пожалуй, — сказал он, — я-то во всяком случае знаю, кто он.

Это была, кажется, фраза из старого французского романа — она была бы уместней, возвышайся где-нибудь слева залитый луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову.

«Проще надо», — подумал он и спросил:

— А что это у вас под хвостом такое мокрое?

— Да это я какому-то Саше мозги вышиб, — рыкнул Николай.

Они опять пошли — по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга.

— На помойках, наверное, и не такое бывает, — сказал Саша. — Вас там не раздражают запахи?

— Меня твой запах раздражает.

— Потерпите. Скоро наступит смерть, и это пройдет.

Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился — свет фонаря неприятно резал глаза.

— Твое чучело, — тихо сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры. А рядом будет глобус.

— Ладно, давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. — Ты любишь Есенина, Коля?

Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта.

— Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил: «Ты скулишь, как сука при луне». Не правда ли, скупыми и емкими...

Николай Петрович прыгнул.

Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность — увлекся перепалкой, — и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря.

Но как только это произошло, как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось: продолжение прыжка Саша видел уже замедленно, и пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону — сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество — он был легче и подвижней. Зато противник был опытней и сильнее и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы — опасаться надо было именно этого.

Приземлившись, он увидел, что Николай стоит боком, присев, и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти — откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-

то странно — разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит, — вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно: жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового, последнего прыжка.

Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком, и вместо того чтобы отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка — с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врзался во что-то теплое и податливое; тогда он с силой сомкнул челюсти.

В следующую секунду они уже стояли друг против друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал было шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился.

Он посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше, — Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке — он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался, он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым дви-

жением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же не меняющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками, — слов, однако, нельзя было разобрать.

Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей — своих, человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него.

— Ты понял? — спросил он.

— Мне кажется, да, — сказал Саша. — Он будет что-нибудь помнить?

— Нет. Остаток жизни — если, конечно, считать это жизнью — он будет думать, что ему приснился кошмар, — ответил вожак и повернулся к остальным. — Уходим.

Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем, напрямик через лес, — так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе.

На поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины; когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла.

Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди, и, вспоминая перебранку, а особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся — и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву.

Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду — со всех сторон на него молча глядели волки.

Казалось, они чего-то ждут. «Сказать?» — подумал Саша. И решил.

Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в Конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью — человеческой тенью, как у всех в стае.

— Я хочу во всем признаться, — тихо провыл он. — Я обманул вас.

Стая молчала.

— Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно.

Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а затем раздался взрыв хриплого лающего хохота и воя. Он открыл глаза.

— Что такое?

Ответом была еще одна вспышка хохота. Наконец волки успокоились, и вожак спросил:

— А как ты здесь оказался?

— Заблудился в лесу.

— Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково.

— Просто так. Я люблю за город ездить.

— Но почему именно сюда?

— Почему? Сейчас... А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась, — вид был очень красивый. А в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому...

— А где ты увидел эту фотографию?

— В детской энциклопедии.

На этот раз все смеялись очень долго.

— Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?

— Я... — Саша вспомнил, и это было как вспышка света в черепе, — я искал фотографию волка! Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка! Я искал ее по всем книгам. Что-то я хотел проверить... А потом забыл... Так это и был зов?

— Именно, — ответил вожак.

Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.

— Так почему вы мне сразу не сказали?

— Зачем? — отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. — Услышать зов — это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?

— Когда?

— Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу. Тогда и изменилась твоя тень.

— Да. Да. Это так, — пролаяли несколько голосов.

Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил:

— А что это за эликсир, который мы пили?

Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался — его морду перекосила кривая ухмылка.

— Ему понравилось, — сказал он, — дайте ему еще эликсир!

И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам; напругая зрение, он прочел: *«Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 коп.»*

— Это была просто шутка, — сказал вожак. — Но если б ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил... Запомни: волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию, в любое время и в любом месте.

— А коровы? — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. — Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы...

Он не договорил и махнул лапой.

Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши.

— Скажу тебе еще вот что, — проговорил он, — ты должен помнить, что только оборотни — реальные люди. Если ты помотришь на свою тень, ты увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами помотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб...

— Еще бывают пауки, мухи и летучие мыши, — сказал Иван Сергеевич, остановившись рядом.

— Верно. А еще — обезьяны, кролики и козлы. А еще...

— Не пугай мальчика, — рыкнул Иван Сергеевич. — Ведь ты все придумываешь на ходу. Саша, не слушай.

Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга.

— Даже если я и придумываю на ходу, — заметил вожак, — это тем не менее правда.

Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд.

— Ты хочешь что-то спросить?

— Кто такие верволки на самом деле?

Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.

— А кто такие на самом деле люди?

Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.

— Сейчас луна достигнет зенита, — сказала она.

Саша поднял глаза.

— Разве это зенит?

— Это особенный зенит, на луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй.

Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых, а потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку; так бывает, когда неясно, что звучит — инструмент или голос. Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, и через некоторое время его можно было слушать без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от луны и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была прекрасна, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл — сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное, — тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной.

Рядом с его голосом появились другие, они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу.

Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполняющие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем: Лены — о чем-то легком, похожем на удары капель дождя о звонкую жесть крыши; низкий бас вожака — о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке; дисканты волчат — о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, а вечером — вечер, и еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе выли о том, как непостижим и прекрасен мир, в центре которого они лежат на поляне.

Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу — или это он оторвался от земли и упал на ее приближившуюся поверхность.

Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он открыл глаза и обнаружил, что полулежит на зад-

нем сиденье машины, под ногами у него рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо, а впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец; тогда Саша повернулся к окну.

Машины длинной цепью мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали игрушечные дома надвигающегося города.

## ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРАЯ НОМЕР XII

Вначале было слово, и даже, наверное, не одно — но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнущие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали желтыми гранями солнце; находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее, — представляя все это, он замечал, что скорее домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а его правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не Номером XII, а просто новой конфигурацией штабеля досок, но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток: вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте.

Место, правда, было не из лучших — задворки пятиэтажки, возле огородов и помойки, — но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям, — но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений: он просто стоял себе над солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки; депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе долговечных следов.

Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах; в руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей

тем, что имел доступ внутрь, к велосипедам и полкам. Остановясь у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу; это стало первой реальной вехой в его памяти — до нее на всем лежал налет потусторонности и счастья.

В ночь после окраски, получив черную римскую цифру — имя (на соседних сараях стояли обычные цифры), он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу.

«Где я, — думал он, — кто я?»

Сверху было темное небо, потом он, а внутри стояли новенькие велосипеды; на них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и Номер XII самыми тонкими из своих досок осознал его как символ вечной загадки мироздания, представленной — это было так чудесно — и в его душе. На полках лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душица и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, — тем не менее они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что раньше он был не сараем, а дачей или по меньшей мере гаражом.

Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало — то есть он сам, — складывалось из множества меньших индивидуальностей: из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахнувших резиной и сталью; из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча; из писка душ разброшенной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него — какое-то решающее чувство, — и они, сливаясь, образовывали новое единство, огражденное в пространстве свежеевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем; это и был он, Номер XII, и над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна... С тех пор по-настоящему и началась его жизнь.

Скоро Номер XII понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда в жаркий летний день, когда мир вокруг затихал, он тайно отождествлял себя то со складной «Камой»,

то со «Спутником» и испытывал два разных вида полного счастья.

В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за пятьдесят от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, пропетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через лес, через поле — прямо в оранжевое небо над горизонтом; можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносила именно эта возможность. Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там вечер — вообще, можно было почти всё.

Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно, и заключается оно в экстатическом единении с архетипом гаража, — как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости?

— Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом? — спросил он как-то.

— Другого пути нет, — отвечал гараж, — тебе это, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя больше шансов, чем у конуры или табачного киоска.

— А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? — высказал Номер XII свое сокровенное.

— Ну что же, чувствуй. Запретить не могу. Чувства низшего порядка для некоторых — предел, и ничего с этим не поделаешь, — сказал гараж.

— А чего это у тебя мелом на боку написано? — переменял тему Номер XII.

— Не твоё дело, говно фанерное, — ответил гараж с неожиданной злобой.

Номер XII заговорил об этом, понятно, от обиды — кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да Номер XII и не жалел. Однажды утром гараж снесли, и Номер XII остался в одиночестве.

Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый неопределенный цвет — с этим можно было бы смириться. Дело заключалось в другом: рядом, на первом этаже пятиэтажки, в которой жили хозяева Номера XII, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковь, картошка, свекла, огурцы — но определяющим всё главное относительно Номера 13 и Номера 14 была, конечно, капуста в двух затянутых полиэтиленом огромных бочках. Номер XII часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты испытанных рабочих. Тогда ему становилось страшно, и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, которого он часто с грустью вспоминал: «От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться», — вспоминал и сразу следовал ему. Темная труднопонижаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали Номеру XII, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное и каждой каплей рассола в бочках заявляло, что Номер XII в этой вселенной совершенно не нужен; во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира.

Но день кончался, свет мерк, Номер XII становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно.

Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора и внутрь Номера XII вошли двое: хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась Номеру XII, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой и поэтому она производила такое впечатление — скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине; она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой Номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим.

Номер XII задумался, а люди между тем говорили:

— Ну что, полки снять, и хорошо, хорошо...

— Сарай первый сорт, — отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды. — Не протекает, ничего. А цвет-то какой!

Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал

беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда Номеру XII стало не по себе.

Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью — потом, когда велосипеды ставили на место, он удивлялся несовершенству созданных памятью образов по сравнению с действительной красотой велосипедов, запросто излучаемой ими в пространство, — так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни Номера XII прелесть непредсказуемости завтрашнего дня; но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда.

Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов, — такое случилось впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла, а хозяин еще копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад.

Номер XII был пуст, а его дверь открыта настежь.

Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь; и хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы составить его, Номера XII, вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать.

Утром он заметил в себе перемену: его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить: хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, и поэтому Номер XII теперь напоминал себе замкнутую окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать: хорошо ли это? Плохо ли? Всё заливала и обесцвечивала тоска. Так прошел месяц.

Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел Номер XII прочувствовать свое новое состояние, как волна ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх.

По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего хуже случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности.

Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой, она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом Номер XII видел нечто незаметное рабочим: в бочке холодело внимание, и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый его центр, потерявший сознание Номер XII не видел.

Страдание увечит. Прошло два дня, и к Номеру XII стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и все в нем было по-другому. В самом центре его души, там, где когда-то покоились омытые ветром рамы велосипедов, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала; ее мысли теперь были и мыслями Номера XII. Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени, это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы, и это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им.

Номера 13 и 14 теперь не пугали его — наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество. Но прошлое не исчезло полностью — оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь Номера XII была двойной. С одной стороны, он участвовал в ней на равных правах с Номерами 13 и 14, а с другой — где-то в нем скрывались чувства, сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин.

Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся — элементарный возрастной перелом.

— Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами

всегда сопряжено с некоторыми трудностями, — говорил Номер 13. — Совсем новые проблемы наполняют душу.

И добавлял ободряюще:

— Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва.

Четырнадцатый был сараем скорее философского склада (не в смысле хранилища), часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что если прекрасное заключено в гармонии («Это раз», — говорил он), а внутри — и это объективно — находятся огурцы или капуста («Это два»), то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не вытекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал; он же помогал ему объяснять Номеру XII, как надо жить. Все же Номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам Номер XII в себе уже не замечал.

Постепенно Номер XII и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным: несколько раз Номер XII ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе; чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел.

Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро Номер XII начинал недоумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще, и прошлое реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда Номер XII так и представлял себя: в виде теплохода, всплывающего в завтра.

Он стал чувствовать присущую бочке своеобразную доброту — но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей.

Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное, в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь из недавно построенных рядом будок содрогалась, он думал, глядя на нее: «Глупость... Ничего, перебесится — поймет...» Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это

подтвердило его правоту лишний раз. Испытывал он и ненависть — когда в мире появлялось что-то ненужное; слава Богу, так случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, что уже ничего не изменится.

Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро, Номер XII натолкнулся на непонятный предмет: пластмассовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, и вдруг вспомнил: ведь столько было когда-то связано с этой штукой! Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то? Или не было? Сосредоточенно пытаюсь понять, о чем это он не помнит, он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отделился от нее.

В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звоночком на руле. И этого хватило — Номер XII вдруг вспомнил.

Велосипед.

Шоссе.

Закат.

Мост над рекой.

Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал наконец собой — действительно собой. Всё связанное с бочкой отпало как сухая корка; он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, Номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать об этом не было времени — надо было спешить, потому что он знал: проклятая бочка, если он не успеет сделать задуманного, опять подчинит его и сделает собой.

Бочка между тем проснулась, поняла, и Номер XII ощутил знакомую волну холодного оупения: раньше он думал, что это его оупение. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного.

Под выступом крыши шли два электрических провода.

Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог: изо всех сил надавил на них, используя какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на время он просто перестал существовать. Но дело было сделано: провода, прорвав изоляцию, коснулись друг друга, и на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка, и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже подымалась узкая ленточка дыма, потом появился огонь и, не встречая на своем пути препятствий, стал расти и подползать к крыше.

Номер XII очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна — ей помогали Номера 13 и 14, которые думали о нем снаружи.

«Очевидно, — со странной отрешенностью подумал Номер XII, — для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может, прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим...» Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Но шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первой был страх, принадлежавший бочке, — такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбирившийся к одушевляемой Номером XII части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер XII расширил себя по той части крыши, которая еще существовала, и вызвал в памяти день, когда его покрасили, а главное — ту ночь: он хотел умереть с этой мыслью. Рядом уже горел Номер 13, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное.

Директор семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов в шесть, неужи-

данно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи — в общем, выгорело все, что могло гореть. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого — по несколько обгорелых досок.

Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело, и идти было страшно, так как дорога была пустынной и деревья по бокам стояли как бандиты. Директор остановилась и поглядела назад — не увязался ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась — кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону, за дерево, и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится.

В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. «Мотоцикл!» — подумала директор и крепче вжалась в дерево. Но шума мотора слышно не было. Светлое пятно приближалось, и стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь — велосипед без велосипедиста, летящий на высоте трех или четырех метров. Странной была его конструкция — он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, — но самым странным было то, что он светился и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, директор вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над дорогой. Провисев так мгновение или два, он тронулся наконец с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку в небе. Потом она исчезла.

Придя в себя, директор заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв... Впрочем, Бог с ней.

## ТАРЗАНКА

### 1

Широкий бульвар и стоящие по сторонам от него дома напоминали нижнюю челюсть старого большевика, пришедшего на склоне лет к демократическим взглядам.

Самые старые здания были еще сталинских времен — они возвышались подобно покрытым многолетней махорочной копотью зубам мудрости. При всей своей монументальности они казались мертвыми и хрупкими, словно нервы у них внутри были давно убиты мышьячными пломбами. Там, где постройки прошлых лет были разрушены, теперь торчали грубо сработанные протезы блочных восьмизэтажек. Словом, было мрачно.

Единственным веселым пятном на этом безрадостном фоне был построенный турками бизнес-центр, похожий своей пирамидальной формой и алым неоновым блеском на огромный золотой клык в капельках свежей крови. И, словно яркая стоматологическая лампа, поднятая специальной штангой так, чтобы весь ее свет падал в рот пациенту, в небе над городом горела полная луна.

— Кому верить, чему верить? — сказал Петр Петрович, обращаясь к своему молчаливому собеседнику. — Сам я простой человек, может быть, даже дурак. Доверчивый, наивный. Знаете, иной раз в газету смотрю и верю.

— Газету? — глуховатым голосом переспросил собеседник, поправляя закрывающий его голову темный капюшон.

— Да, газету, — сказал Петр Петрович. — Любую, не важно. Едешь в метро, а сбоку сидит кто-нибудь и читает — наклонишься чуть-чуть, залезешь глазами и уже веришь.

— Веришь?

— Да, веришь. Во что угодно. Может, кроме Бога. В Бога

верить уже поздно. Если сейчас вдруг поверю, как-то нечестно будет. Всю жизнь не верил, а под пятый десяток взял и поверил. А зачем тогда жил? Вот и веришь вместо этого в гербалайф или разделение властей.

— А зачем? — спросил собеседник.

«Хмурый какой тип, — подумал Петр Петрович. — Не говорит, а каркает. Чего это я с ним откровенничаю? Ведь и не знаю его толком».

Некоторое время они шли вперед молча, один за другим, легко переставляя ноги и чуть касаясь стены руками.

— Ну как зачем, — сказал наконец Петр Петрович. — Это как в автобусе за что-нибудь держаться. Даже и не важно за что, лишь бы не упасть. Как это поэт сказал — «и мчатся дальше в ночь и неизвестность, с надеждой глядя в черный лаз окна...» Вот вы, наверно, идете, смотрите на меня и думаете — экий ты, брат, романтик в душе, хоть и не похож внешне... Ведь думаете, а?

Собеседник повернул за угол и исчез из виду.

Петр Петрович почувствовал себя прерванным на середине важной фразы и поспешил вслед за ним. Когда впереди опять появилась сутулая темная спина, он испытал облегчение и подумал ни с того ни с сего, что из-за остроконечного капюшона его спутник похож на сгоревшую церковь.

— Экий ты, брат, романтик, — тихо пробормотала спина.

— Да никакой я не романтик, — горячо возразил Петр Петрович. — Я, можно сказать, полная противоположность. Чрезвычайно практичный человек. Все дела. Даже и не вспоминаешь почти, для чего живешь-то. Ведь не для этих дел, будь они все прокляты... Да... Не для них, а для...

— А для?..

— А для того, может, чтобы вот так вечерком выйти на воздух и вдохнуть полной грудью, почувствовать, что и ты сам — часть этого мироздания, былиночка, так сказать, на бетоне... Жалко только, что редко меня как сейчас пробирает, до сердца. Наверное, из-за этого вот...

Он поднял руку и указал на огромную луну, горящую в небе, а потом сообразил, что его собеседник идет впереди и не в состоянии увидеть его жеста. Но у того, видимо, имелось что-то вроде глаза на затылке, потому что он почти синхронно повторил движение Петра Петровича, так же вытянув руку вверх.

— В такие минуты мне интересно делается: чем же я занят все остальное время своей жизни? — спросил Петр Петрович. — Почему я так редко вижу все таким, как сейчас? Почему я постоянно выбираю одно и то же — сидеть в своей камере и глядеть в ее самый темный угол?

Последние произнесенные слова своей неожиданной точностью доставили Петру Петровичу какое-то горькое удовольствие, но тут он споткнулся, замахал руками, и тема разговора мгновенно вылетела у него из головы. Обезьяньим движением туловища удержав равновесие, он схватился рукой за стену, причем его другая рука чуть не пробила стекло оказавшегося рядом окна.

За этим окном была небольшая комната, освещенная красноватым ночником. Видимо, это была коммуналка — среди мебели стоял холодильник, а кровать была наполовину загорожена шкафом, так что видны были только голые и худые ноги спящего. Взгляд Петра Петровича упал на стену над ночником, увешанную множеством фотографий. Там были семейные снимки, были фотографии детей, взрослых, стариков, старух и собак; в самом центре этой экспозиции находился снимок институтского выпуска, где лица были помещены в белые овалы, отчего всё вместе походило на коробку разрезанных пополам яиц — за ту секунду, пока Петр Петрович глядел в комнату, из каждого овала ему успел улыбнуться пожелтевший от времени человек. Все эти фотографии казались очень старыми, и от всех них веяло так основательно прожитой жизнью, что Петр Петрович на миг ощутил тошноту, быстро отвернулся и пошел вперед.

— Да, — сказал он через несколько шагов, — да. Знаю, что вы сейчас скажете, так что лучше молчите. Вот именно. Жизненный опыт. Мы просто теряем способность видеть вокруг что-нибудь другое, кроме пыльных фотографий прошлого, развешанных в пространстве. И вот мы глядим на них, глядим, а потом думаем — почему это мир вокруг нас стал такой помойкой? А потом, когда луна выйдет, вдруг понимаешь, что мир тут совсем ни при чем, а просто сам ты стал таким и даже не понял, когда и зачем...

Наступила тишина. Увиденное в комнате — особенно эти лица-желтки — произвело на Петра Петровича очень тяжелое действие. Пользуясь тем, что в темноте его никто не видит, он растянул рот, высунул язык и выпучил глаза, так что его

лицо превратилось в подобие африканской маски — физическое ощущение от гримасы на несколько секунд отвлекло его внимание от овладевшей им тоски. Говорить сразу расхотелось — больше того, вся многочасовая беседа вдруг словно озарилась тусклым красным светом коммунального ночника, показавшись глупой и ненужной. Петр Петрович поглядел на собеседника и подумал, что тот совсем не умен и слишком молод.

— Даже не понимаю, о чем это мы с вами сейчас говорим, — сказал он преувеличенно вежливым тоном.

Собеседник не отозвался.

— Может, помолчим немного? — предложил Петр Петрович.

— Помолчим, — пробормотал собеседник.

## 2

Чем дальше уходили Петр Петрович и его спутник, тем красивее и таинственнее становился мир вокруг. Говорить, действительно, не возникало особой необходимости. Под ногами сверкала лунным серебром узкая дорога; все время меняющая цвет стена пачкала то правое, то левое плечо, а проплывающие мимо окна были темны совсем как в стихотворении, которое процитировал Петр Петрович. Иногда приходилось подниматься вверх, иногда, наоборот, спускаться вниз, а иногда они по какому-то молчаливому уговору вдруг останавливались и надолго замирали, вглядываясь во что-нибудь прекрасное.

Особенно красивы были далекие огни. Несколько раз они останавливались поглядеть на них и каждый раз смотрели долго — минут десять или больше. Петр Петрович думал что-то смутное, почти не выразимое в словах. Огни, казалось, не имели особого отношения к людям и были частью природы — то ли особой стадией в развитии гнилых пеньков, то ли ушедшими на пенсию звездами. Кроме того, ночь была действительно темна, и красные и желтые точки на горизонте как бы обозначали габариты окружающего мира — если бы не они, было бы непонятно, где происходит жизнь и происходит ли она вообще.

Каждый раз из задумчивости его выводили тихие шаги спутника. Когда тот трогался в путь, Петр Петрович тоже приходил в себя и спешил следом. Вскоре фотографии из оставшегося позади окна окончательно забылись, на душе вновь стало легко и празднично, а молчание начало тяготить.

«И между прочим, — подумал Петр Петрович, — я ведь даже не знаю, как его зовут. Спросить надо».

Он выждал несколько секунд и очень вежливо сказал: — Хе-хе, а я что подумал. Мы вот с вами идем, идем, говорим, говорим, а даже и не познакомились вроде?

Собеседник промолчал.

— А вообще, — примирительно сказал Петр Петрович, когда прошло достаточно времени и стало ясно, что ответа не будет, — это, наверно, и правильно. Что в имени тебе моем, хе-хе... Оно лишь звук пустой... Ведь если знаешь человека и если он тебя знает, то ни о чем с ним толком не поговоришь. Всё будешь размышлять: а что он о тебе подумает? А что он потом про тебя скажет? А так, когда не знаешь, с кем разговариваешь, то и сказать можешь все что хочешь, потому что тормозов нет. Мы вот с вами сколько уже беседуем — часа два? Да? Видите, и почти все время я говорю. Обычно-то я человек молчаливый, а сейчас прорвало будто. Вам я, может, кажусь не очень умным и все такое, зато вот сам себя слушаю все это время — особенно там, где статуи эти были, помните? Когда я о любви говорил... Да, слушаю себя и удивляюсь. Неужели это я сам столько всего о жизни понимаю и думаю?

Петр Петрович поднял лицо к звездам и глубоко вздохнул; на его лице подобно тени от невидимого крыла промелькнула неземная улыбка. Вдруг он заметил слева от себя еле уловимое движение, вздрогнул и остановился.

— Эй! — перейдя на шепот, позвал он собеседника.— Стойте! И тихо! Спугнете. Кажется, кошка... Точно. Вон она где. Видите?

Капюшон повернулся влево, но Петр Петрович, как ни старался, опять не увидел лица своего спутника. Кажется, тот глядел куда-то не туда.

— Да вон же! — отчаянно зашептал Петр Петрович. — Видите, бутылка лежит? Левее, в полуметре. Еще хвостом шевелит. Ну что, по счету три? Вы справа, я слева. Как в прошлый раз.

Собеседник холодно пожал плечами, а потом неохотно кивнул.

— Раз, два, три! — отсчитал Петр Петрович и перекинул ногу через невысокий жестяной перекат, слабо светящийся лунным светом.

Его спутник мгновенно последовал за ним, и они рванулись вперед.

Бог знает в какой раз за эту ночь Петр Петрович ощутил счастье. Он бежал под ночным небом, и его ничего не мучило; все проблемы, которые делали его жизнь невыносимой день или два назад, вдруг исчезли, и при всем желании он не мог вспомнить ни одной из них. По черной поверхности под его ногами неслись сразу три тени — одну, густую и короткую, рождала луна, а две другие, несимметричные и жидкие, возникали от каких-то других источников света — вероятно, окон.

Забирая влево, Петр Петрович видел, как его спутник под тем же углом забирает вправо, а когда кошка оказалась примерно между ними, он повернул к ней и прибавил скорость. Тотчас такой же маневр выполнила и фигура в темном капюшоне — она сделала это настолько синхронно, что Петра Петровича кольнуло какое-то смутное подозрение.

Но пока было не до этого. Кошка по-прежнему сидела на месте, и это было странно, потому что обычно они не подпускали к себе так близко. Прошлая, например — та, за которой они гнались минут сорок назад, сразу после статуи, — не подпустила их и на десять метров. Почувствовав какой-то подвох, Петр Петрович с бега перешел на шаг, а потом и вовсе остановился, не дойдя до нее несколько шагов. Его спутник повторил все его движения и затормозил одновременно с ним, остановившись метрах в трех напротив.

То, что Петр Петрович издали принял за кошку, оказалось на самом деле серым полиэтиленовым пакетом, одна из ручек которого была порвана и качалась на ветру — именно она и показалась ему хвостом.

Собеседник стоял лицом к Петру Петровичу, но самого этого лица видно по-прежнему не было — луна била в глаза, и он оставался все тем же темным остроконечным силуэтом. Петр Петрович наклонился (спутник нагнулся одновременно с ним, так что они чуть не стукнулись головами) и потянул пакет за угол (спутник потянул его за другой). Пакет развернулся, из него вывалилось что-то мягкое и шлепнулось на рубероид. Это была мертвая полуразложившаяся кошка.

— Фу, дрянь, — сказал Петр Петрович и отвернулся. — Можно было бы и догадаться.

— Можно было, — эхом отозвался собеседник.

— Пошли отсюда, — сказал Петр Петрович и побрел к жестяной кайме на краю рубероидного поля.

Уже несколько минут они шли молча. По-прежнему впереди Петра Петровича покачивалась темная спина, но теперь он вовсе не был уверен, что это на самом деле спина, а не грудь. Чтобы собраться с мыслями, он полуприкрыл глаза и опустил взгляд вниз. Теперь видна была только серебряная дорожка под ногами — ее вид успокаивал и даже немного гипнотизировал, и постепенно в сознании разлилась какая-то не совсем трезвая ясность, а мысли понеслись одна за другой безо всякого усилия с его стороны — или, скорее, это была та же мысль о шедшем впереди, которая постоянно приходила в голову на смену самой себе.

«Почему он все время повторяет мои движения? — размышлял Петр Петрович. — И во всем, что он мне говорит, всегда слышится эхо моей прошлой фразы. Он, надо сказать, ведет себя совсем как отражение. А ведь вокруг столько окон! Может быть, это просто оптический эффект, а я немного не в себе от волнения, и мне кажется, что нас двое? Ведь сколько всего, во что когда-то верили люди, объясняется оптическими эффектами! Да почти всё!»

Эта мысль неожиданно придала Петру Петровичу уверенной бодрости. «Действительно, — подумал он, — лунные блики, отражение одного окна в другом и возбуждающий запах цветов — а нельзя забывать, что сейчас июль, — способны создать такой эффект. А то, что он говорит, — это просто эхо, тихое-тихое эхо... Ну конечно! Ведь он всегда повторяет слова, которые я только что сказал!»

Петр Петрович вскинул глаза на мерно покачивающуюся впереди спину. «Кроме того, я ведь много раз читал, — подумал он, — что, если кто-то ставит тебя в тупик или чем-нибудь смущает, всегда есть вероятность, что это не другой человек, а собственное отражение или тень. Дело в том, что, когда сохраняешь неподвижность или выполняешь какие-нибудь однообразные монотонные действия, лишённые особого смысла, — например, идешь или думаешь, — отражение может притвориться самостоятельным существом. Оно может начать двигаться немного не в такт — все равно будет незаметно. Оно может начать делать то, чего ты сам не делаешь, — если, конечно, это что-то несущественное. Наконец, оно может сильно обнаглеть, поверить в то, что оно действительно су-

шествует, а после этого обратиться против тебя... Насколько я помню, есть только один способ проверить, отражение это или нет, — нужно сделать какое-нибудь резкое и очень однозначное движение, такое, чтобы отражению пришлось явственно повторить его. Потому что оно все-таки остается отражением и должно подчиняться законам природы, во всяком случае некоторым... Вот что, надо попробовать увлечь его разговором, а потом выкинуть что-нибудь неожиданное, резкое, и посмотреть, что будет. А говорить можно о чем угодно, главное — не задумываться».

Откашлявшись, он сказал:

— А это и хорошо, что вы такой немногословный. Это ведь тоже искусство — слушать. Заставить другого раскрыться, заговорить... А еще вот говорят, что молчуны — самые надежные друзья на свете. Знаете, о чем я сейчас думаю?

Петр Петрович подождал вопроса, но не дождался и продолжил:

— А о том, почему я летнюю ночь так люблю. Ну, понятно — темно, тихо. Красиво. Но главное все же не в этом. Иногда мне кажется, что есть часть души, которая все время спит и только летней ночью на несколько секунд просыпается, чтобы выглянуть наружу и что-то такое вспомнить, как оно было — давно и не здесь... Синева... Звезды... Тайна...

#### 4

Вскоре идти стало заметно труднее.

Причина была в том, что после очередного поворота за угол они оказались на темной стороне, где луну закрывала крыша дома напротив. Сразу после этого Петром Петровичем овладели тоска и неуверенность. Он продолжал говорить, хоть произносить слова ему стало мучительно и противно. Видимо, что-то похожее происходило и с собеседником, потому что он перестал поддерживать разговор даже короткими ответами — иногда только что-то неразборчиво бормотал.

Их шаги стали мельче и осторожнее. Время от времени шедший впереди собеседник даже останавливался, чтобы наметить, куда двигаться дальше, — решение всегда принимал он, и Петру Петровичу не оставалось ничего, кроме как идти следом.

Впереди на стене появился прямоугольник густого лунно-

го света, падающий из просвета между домами напротив. В очередной раз подняв взгляд от потускневшей серебряной дорожки под ногами, Петр Петрович увидел в этом прямоугольнике толстую кишку электрического кабеля, свисающую вдоль стены. Мгновенно в его голове созрел план, который показался ему чрезвычайно естественным и даже не лишенным остроумия.

«Ага, — подумал он, — можно сделать так. Можно схватиться за эту штуку и как следует оттолкнуться ногами от стены. И если он действительно отражение или тень, то ему придется проявиться. То есть ему придется сделать то же самое, только без этой штуки и в другую сторону... А еще лучше — точно! как я это сразу не догадался! — еще лучше взять и врезаться в него с размаху. И если он — отражение или еще какая-нибудь сволочь, то...»

Петр Петрович не сформулировал, что тогда произойдет, но стало совершенно ясно, что таким способом можно будет или подтвердить, или развеять мучающее его подозрение. «Главное только — неожиданно, — думал он, — врасплох застать!»

— Впрочем, — сказал он, плавно меняя тему ушедшего куда-то далеко разговора, — водные лыжи водными лыжами, но самое удивительное, что даже в городе можно стать ближе к первозданному миру, надо только чуть-чуть отойти от суеты. Мы, конечно, вряд ли это сумеем — слишком уж окостенели. Но дети, уверяю вас, делают это каждый день.

Петр Петрович сделал паузу, чтобы дать собеседнику возможность что-нибудь сказать, но тот опять промолчал, и Петр Петрович продолжил:

— Я говорю об их играх. Конечно, часто они безобразны и жестоки; иногда может даже создаться ощущение, что они возникли из-за той грязной нищеты, в которой нынешним детям приходится расти. Но мне почему-то кажется, что дело тут совершенно не в нищете. Не в том, что они не могут купить себе всяких там мотоциклов или скейтов. Вот, например, есть у них в ходу такая штука — тарзанка. Доводилось слышать?

— Доводилось, — буркнул собеседник.

— Это канат, который привязывают к дереву, к какой-нибудь толстой ветке, чем выше, тем лучше, — продолжал Петр Петрович, вглядываясь в прямоугольник лунного света и прикидывая, что идти до него осталось не больше минуты. — Особенно если дерево стоит где-нибудь у обрыва. Главное — чтобы обрыв был крутой. Еще лучше — у воды, тогда нырять мож-

но. А тарзанкой он называется из-за Тарзана, это фильм такой был, где этот Тарзан все время на лианах качался. Пользоваться этой штукой очень просто: берешься за канат, толкаешься ногами и описываешь длинную-длинную кривую, а если хочешь, разжимаешь руки и летишь со всего размаха в воду. Я, честно вам сказать, на тарзанке такой никогда не катался, но очень хорошо представляю себе эту секунду, когда после ошеломляющего удара о поверхность медленно погружаешься в мерцающую тишину, в прохладный покой... Ах, если бы только знать, куда эти мальчишки улетают на своих лианах...

Собеседник вступил в залитое луной пространство. Вслед за ним границу лунного света переступил и Петр Петрович.

— А знаете, почему представляю? — продолжал он, озабоченно измеряя взглядом расстояние до кабеля. — Очень просто. Помнится, как-то в детстве я с вышки в бассейн прыгнул. Ушибся, конечно, животом о воду, но что-то такое важное в этот момент понял — такое, что потом, когда вынырнул, все твердил: «Не забыть, не забыть». А как на берег вылез, так только это «не забыть» и помнил...

В эту секунду Петр Петрович поравнялся с кабелем. Остановившись, он подергал за него рукой и убедился, что тот держится прочно.

— Да и сейчас иногда, — сказал он, изготавливаясь к прыжку, причем его голос стал задушевым и тихим, — хочется взять и оторвать ноги от земли. Глупо, конечно, инфантильно, а все кажется, что опять что-то такое поймешь или вспомнишь... Эх, была не была, с вашего позволения...

С этими словами Петр Петрович сделал несколько быстрых шагов, сильно оттолкнулся ногами и взмыл в теплый ночной воздух.

Его полет (если это можно было назвать полетом) продолжался совсем недолго. Метра на два отдалившись от стены и совершив поворот вокруг своей оси, он по дуге понесся вперед и врезался в стену прямо перед своим спутником. Тот испуганно отшатнулся, а Петр Петрович потерял равновесие и вынужден был схватить его за плечо, после чего, конечно, стало ясно, что перед ним никакое не отражение и не тень. Все это получилось очень неловко, с пыхтением. От неожиданности собеседник повел себя довольно нервно: стряхнув со своего плеча руку Петра Петровича, он отпрыгнул назад, сдернул с головы капюшон и резко выкрикнул:

— Чего это вы тут устраиваете?

— Извините ради Бога, — сказал Петр Петрович, чувствуя, что становится пунцовым, и радуясь, что вокруг так темно, — честное слово, не хотел. Я...

— Вы мне что говорили? — перебил собеседник. — Что все будет тихо, что вы не буйный, что вам просто поговорить не с кем. Говорили?

— Да, — пролепетал Петр Петрович и схватился за голову, — говорил. Действительно, как я забыл-то... А мне такие глупые мысли в голову полезли — что вы вроде как и не вы, а просто мое отражение в стеклах или тень. Смешно, да?

— По-моему, не смешно, — сказал собеседник. — Теперь-то вы хоть вспомнили, кто я?

— Да, — сказал Петр Петрович и сделал какое-то странное движение головой — не то поклонился, не то втянул ее в плечи.

— Слава Богу. И что же вы, решили на меня прыгнуть, чтобы проверить, отражение я или нет? А про тарзанку болтали, чтобы голову мне заморочить?

— Что вы, нет! — воскликнул Петр Петрович, оторвав одну руку от электрического шланга и приложив ее к груди. — То есть сначала я, может, действительно хотел вас отвлечь, но только сначала. А как заговорил, так сразу стал о том, что меня всю жизнь мучило. Как на духу...

— Странные какие-то вещи вы говорите, — сказал собеседник. — Я начинаю даже опасаться за ваш рассудок. Подумайте — идти два часа рядом, разговаривать и при этом всерьез думать, что напротив вас — ваше отражение. Ну разве может такое происходить с нормальным человеком?

Петр Петрович задумался.

— Н-нет, — сказал он, — не может. Действительно, со стороны это дико выглядит. Говорящее отражение, которое к тебе спиной идет... Тарзанка какая-то... Но, знаете, изнутри все это было так логично, что, если бы я вам пересказал ход своих размышлений, вы бы не удивлялись.

Он поднял глаза. Луна над крышей напротив ушла за длинную тучу с рваными краями. Отчего-то это показалось ему недобрый знак.

— Да, — заговорил он опять, — если проанализировать подсознательную мотивацию моих действий, то я, видимо, просто хотел на секунду восторжество...

— Насчет отражения, — перебил собеседник, повысив го-

лос, — это я бы еще мог принять, ладно. Но куда более странным мне кажется то, что вы наплели про тарзанку. Насчет того, чтобы ноги оторвать от земли и что-то такое понять. А чего вы, собственно, понять-то хотите?

Петр Петрович поднял взгляд, глянул в глаза собеседнику и сразу же перевел взгляд на его бритую голову.

— Ну как что, — сказал он. — Даже неудобно банальности говорить. Истину.

— Какую истину? — спросил тот, опять накидывая капюшон. — Про себя, про других, про мир? Истин полно.

Петр Петрович задумался.

— Видимо, про себя, — сказал он. — Или лучше так: про жизнь. Про себя и про жизнь. Конечно.

— Так вам что, сказать? — спросил собеседник.

— Ну скажите, если знаете, — с внезапной враждебностью ответил Петр Петрович.

— А вы не бойтесь, что эта истина окажется для вас котом в мешке? — спросил собеседник таким же враждебным тоном и кивнул головой куда-то назад.

«Намекает, — подумал Петр Петрович, — издевается. На психику давит. Только не на такого напал. Да и что это за садизм такой? Ну дернул его за плечо, так ведь извинился потом».

— Нет, — сказал он, распрямляя плечи и впервые взгляд прямо в глаза собеседнику, — не боюсь. Валяйте.

— Ну хорошо. Вам что-нибудь говорит слово «лунатик»?

— Лунатик? Это что, который ночью не спит, а по карнизам разгуливает? Ну знаю... О Господи!

## 5

Неожиданное пробуждение было больше всего похоже на тот самый прыжок в холодную воду, о котором Петр Петрович пытался рассказать своему безжалостному спутнику, — и не только потому, что стало заметно, как вокруг холодно. Петр Петрович посмотрел себе под ноги и увидел, что тонкая дорожка серебристого цвета, по которой он так долго шагал, была на самом деле довольно тонким жестяным карнизом, изрядно выгнувшимся под тяжестью его тела.

Под карнизом была пустота, а за этой пустотой, метрах в тридцати внизу, горели удвоенные лужами фонари, подрагива-

ли от ветра черные кроны деревьев, серел асфальт, и все это, как с ужасом осознал Петр Петрович, было абсолютно и окончательно реальным — то есть не оставалось никакой возможности как-нибудь проигнорировать или обойти тот факт, что он в нижнем белье и босиком стоит на огромной высоте над ночным городом, чудом удерживаясь от падения вниз. А удерживался он действительно чудом — его ладоням было совершенно не за что ухватиться, если не считать крошечных неровностей бетонной стены, и стоило ему чуть-чуть отклониться от ее сырой и холодной поверхности, как неумолимая сила тяжести увлекла бы его вниз. Недалеко от него, правда, висел электрический кабель, но чтобы дотянуться до него, надо было сделать несколько шагов по карнизу, а об этом нечего было и думать. Скосив глаза, он увидел внизу далекую автостоянку, сигаретные пачки машин и крошечный пяточок пустого асфальта, словно специально оставленный кем-то для него.

Главным же свидетельством того, что открывшийся ему кошмар окончателен, был запах догорающей где-то неподалеку помойки — запах, который сразу снимал все вопросы и как бы содержал в себе самодостаточное доказательство окончательной реальности того мира, где такие запахи возможны.

Шквал страха затопил душу Петра Петровича, за долю секунды вымыв оттуда все остальное. Пустота за спиной засасывала, и он распластался по стене совсем как предвыборная листовка малоизвестной партии, не имеющей абсолютно никаких шансов на победу.

— Ну как? — спросил собеседник.

Петр Петрович осторожно — чтобы второй раз не увидеть пропасть под ногами — глянул на него.

— Прекратите, — тихо, но очень настойчиво попросил он, — пожалуйста, прекратите! Я ведь упаду!

Собеседник хмыкнул.

— Как же я могу это прекратить? Это ведь не со мной происходит, а с вами.

Петр Петрович понял, что собеседник прав, но в следующую секунду он понял еще одну вещь, и это мгновенно наполнило его негодованием.

— Да ведь это подло, — волнуясь, закричал он, — это ведь каждому человеку можно такую гадость объяснить, что он лунатик и над пустотой стоит, просто ее не видит! На карнизе... Ведь только что... А тут вот...

— Верно, — кивнул собеседник. — Даже и сами не представляете, до чего вы это верно подметили.

— Так зачем вы со мной такое сделали?

— Слушайте, вас не поймешь. То у вас одно на уме, то другое. Сами ведь только что размышляли, куда можно залететь на тарзанке. Даже растрогали меня, честное слово. Опять же, истину хотели услышать. Это, кстати, еще и не самая последняя.

— Так что же мне теперь делать?

— Вам? А ничего не надо, — сказал собеседник, и вдруг стало заметно, что он особенно ни за что не держится и даже стоит как-то немного под углом. — Все образуется.

— Вы что, издеваетесь? — прошипел Петр Петрович.

— Да нет.

— Вы подлец, — бессильно сказал Петр Петрович. — Убийца. Вы меня убили. Я упаду сейчас.

— Ну вот, началось, — сказал собеседник, — оскорбления, ненависть. Еще, того гляди, опять на меня прыгнете или плевать начнете, как некоторые делают. Пойду я.

Он повернулся и неспешно побрел вперед.

— Эй! — крикнул Петр Петрович. — Эй! Подождите! Пожалуйста!

Но собеседник не остановился — только слабенко помаhal на прощание бледной ладонью, торчащей из рукава не то рясы, не то темного длинного плаща. Через несколько шагов он завернул за угол и исчез из виду. Петр Петрович опять закрыл глаза и прислонился влажным лбом к стене.

## 6

«Ну вот, — подумал он, — все. Теперь-то уж точно все. Теперь конец. Всю жизнь думал — как это будет? А, оказывается, вот так. Покачнусь сейчас, замахаю руками и... Спокойно, Петя, спокойно... Интересно, кричать буду?.. Петя, Петя, спокойно... Не думай об этом. О чем угодно другом, только не об этом. Пожалуйста. Главное — покой сохранять, любой ценой. Паника — смерть. Вспомни что-нибудь приятное... А что тут вспомнишь? Вот сегодня, например, что было приятного? Ну разве разговор этот возле статуй, когда я этому бритому про любовь объяснял... Господи, опять про него вспомнил. Какой же я идиот. Мало было просто идти себе, глядеть по

сторонам и жизни радоваться. Нет, заинтересовался, кто это — тень или отражение. Вот и получил. А потому, что читать надо меньше всякой чуши. Так, а кто он, собственно, такой? Вот черт, ведь только что помнил. Или нет, не помнил, а он сам сказал... Откуда же он взялся?»

Петр Петрович на секунду приоткрыл глаза и увидел, что стена рядом с его лицом осветилась и пожелтела — луна снова вышла из-за туч. Почему-то от этого на душе стало чуть легче.

«Так, — стал он думать дальше, — где я его встретил-то? До статуй, это точно. Когда статуи появились, он уже рядом был. И за первой кошкой мы тоже еще до статуй бежали. Да, точно — он еще сначала не соглашался никак. А потом меня пробрало — про природу ему стал говорить, про красоту... Ведь чувствовал, что не надо говорить, что при себе надо все держать, если не хочешь, чтобы в душу тебе плюнули... Как это в Евангелии — не мечите бисера вашего перед свиньями, ибо потопчут, что ли? Вот ведь жизнь какая. Даже если тебе пустяк какой понравился — вроде того, как луна статуи освещает, — и то молчать надо. Все время молчать надо, потому что откроешь рот — пожалеешь... И ведь интересно: давно уже это понял, а до сих пор от своей доверчивости страдаю. Каждый раз жду, пока в душу плюнут... А это тип — хам, хам, хам! Редкий. Еще и говорит — обойдется, мол. Покровительственно так... Да ну его к черту, в самом деле, уже битый час о нем думаю, а тут луна зайдет. Чести много».

Петр Петрович отвернулся от стены, поднял глаза вверх и слабо улыбнулся. Луна светила из круглой пушистой дыры в облаке и казалась из-за этого своим собственным отражением в несуществующей проруби. Город внизу был тих и покоен, а воздух полон еле уловимых запахов цветения Бог весть каких трав.

Где-то в далеком окне пиратским басом запел Стинг — пожалуй, слишком громко для ночного времени. Это была «Moon over Bourbon street» — песня, которую Петр Петрович помнил и любил со времен своей молодости. Забыв обо всем, он стал слушать, а в одном месте даже быстро заморгал, вспомнив что-то давно забытое.

Постепенно обида и боль отпустили. Размолвка со случайным спутником с каждой секундой казалась все несущественней, пока наконец не сделалось даже непонятно, из-за чего это он так расстроился несколько минут назад. Когда голос

Стинга стал слабеть, Петр Петрович оторвал руку от стены и напоследок несколько раз щелкнул пальцами в такт отчаянным английским словам:

And you'll never see my face  
Or hear the sound of my feet  
While there's a moon over Bourbon street.

Наконец песня кончилась. Вздохнув, Петр Петрович помотал головой, чтобы собраться с мыслями. Пора было идти домой.

Он повернул назад, шагнул за угол и легко соскочил на пару метров вниз, туда, где идти было удобнее. Ночь была все так же загадочна и нежна, и прощаться с ней очень не хотелось, но завтра утром ждало много дел, и надо было хоть немного поспать. Он последний раз посмотрел по сторонам, потом кротко глянул вверх, улыбнулся и медленно побрел по мерцающей серебристой полосе, целуясь с ночным ветром и думая, что, в сущности, он совершенно счастливый человек.

## БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА

Войдя в тамбур, милиционер мельком глянул на Таню и Машу, перевел взгляд в угол и удивленно уставился на сидящую там женщину.

Женщина и вправду выглядела дико. По ее монголоидному лицу, похожему на загибающийся по краям трехдневный блин из столовой, нельзя было ничего сказать о ее возрасте, тем более что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на теплую погоду, на голове у нее была меховая шапка, по которой проходили три широкие кожаные полосы — одна охватывала лоб и затылок, и с нее на лицо, плечи и грудь свисали тесемки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками, а две другие скрещивались на макушке, где была укреплена грубо сделанная металлическая птица, задравшая вверх длинную перекрученную шею.

Одета женщина была в широкую самотканую рубаху с тонкими полосами оленьего меха, расшитую кожаной тесьмой, блестящими пластинками и большим количеством маленьких колокольчиков, издававших при каждом толчке вагона довольно приятный мелодичный звон. Кроме этого, к ее рубахе было прикреплено множество мелких предметов непонятного назначения — железные зазубренные стрелки, два ордена «Знак Почета», кусочки жести с выбитыми на них лицами без ртов, а с правого плеча на георгиевской ленте свисали два длинных ржавых гвоздя. В руках женщина держала продолговатый кожаный бубен, тоже украшенный множеством колокольчиков, а край другого бубна торчал из вместительной теннисной сумки, на которой она сидела.

— Документы, — подвел итог милиционер.

Женщина никак не отреагировала на его слова.

— Она со мной едет, — вмешалась Таня. — А документов у нее нет. И по-русски она не понимает.

Таня говорила устало, как человек, которому по нескольку раз в день приходится повторять одно и то же.

— Что значит — документов нет?

— А зачем пожилая женщина должна возить с собой документы? У нее все бумаги в Москве, в Министерстве культуры. Она здесь с фольклорным ансамблем.

— Почему вид такой? — спросил милиционер.

— Национальный костюм, — ответила Таня. — Она почетный оленевод. Ордена имеет. Вон, видите — справа от колокольчика.

— Тут вам не тундра. Это называется нарушение общественного порядка.

— Какого порядка? — повысила голос Таня. — Вы что охраняете? Лужи эти в тамбурах? Или их вон?

Она кивнула в сторону двери, из-за которой летели пьяные крики.

— В вагоне сидеть страшно, а вы, вместо того чтобы порядок навести, у старухи документы проверяете.

Милиционер с сомнением посмотрел на ту, кого Таня назвала старухой — она тихо сидела в углу тамбура, покачиваясь вместе с вагоном, и не обращала никакого внимания на скандал по ее поводу. Несмотря на странный вид, ее небольшая фигурка излучала такой покой и умиротворение, что, с минуту поглядев на нее, лейтенант смягчился, улыбнулся чему-то далекому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли.

— Зовут-то как? — спросил он.

— Тыймы, — ответила Таня.

— Ладно, — сказал милиционер, толкая вбок тяжелую дверь вагона. — Смотрите только..

Дверь за ним закрылась, и летевшие из вагона вопли стали чуть тише. Электричка затормозила, и перед девушками на несколько сырых секунд возникла бугристая асфальтовая платформа, за которой стояли приземистые здания со множеством труб разной высоты и диаметра; некоторые из них слабо дымили.

— Станция Крематово, — сказал из динамика бесстрастный женский голос, когда двери захлопнулись, — следующая станция — Сорок третий километр.

— Наша? — спросила Таня.

Маша кивнула и посмотрела на Тыймы, которая все так же безучастно сидела в углу.

— Давно она у тебя? — спросила она.

— Третий год, — ответила Таня.

— Тяжело с ней?

— Да нет, — сказала Таня, — она тихая. Вот так же и сидит все время на кухне. Телевизор смотрит.

— А гулять не ходит?

— Не, — сказала Таня, — не ходит. На балконе спит иногда.

— А самой ей тяжело? В смысле — в городе жить?

— Сперва тяжело было, — сказала Таня, — а потом пообвыкалась. Сначала все в бубен била по ночам, с невидимым кем-то дралась. У нас в центре духов много. Теперь они ей вроде как служат. На плечо эти два гвоздя повесила, вон видишь? Всех победила. Только во время салюта до сих пор в ванной прячется.

Платформа «Сорок третий километр» вполне соответствовала своему названию. Обычно возле железнодорожных станций бывают хоть какие-то поселения людей, а здесь не было ничего, кроме кирпичной избушки кассы, и увязать это место можно было только с расстоянием до Москвы. Сразу за ограждением начинался лес и тянулся насколько хватало глаз — даже неясно было, откуда на платформе взялось несколько потертых пассажиров.

Маша, сгибаясь под тяжестью сумки, пошла вперед. Следом с такой же сумкой на плече пошла Таня, а последней поплелась Тыймы, позвякивая своими колокольчиками и поднимая подол рубахи, когда надо было перешагнуть через лужу. На ногах у нее были синие китайские кеды, а на голениках — широкие кожаные чулки, расшитые бисером. Несколько раз обернувшись, Маша заметила, что к левому чулку Тыймы пришит круглый циферблат от будильника, а к правому — болтающееся на унитазной цепочке копыто, которое почти волочилось по земле.

— Слышь, Тань, — тихо спросила она, — а что это у нее за копыто?

— Для Нижнего Мира, — сказала Таня. — Там все грязью покрыто. Это чтоб не увязнуть.

Маша хотела было спросить про циферблат, но передумала.

От платформы в лес вела хорошая асфальтовая дорога, вдоль которой росли два ровных ряда старых берез. Но через триста или четыреста метров всякий порядок в расположении деревьев пропал, потом незаметно сошел на нет асфальт, и под ногами зачавкала мокрая грязь.

Маша подумала, что жил когда-то на свете начальник, который велел проложить через лес асфальтовую дорогу, но потом выяснилось, что она никуда не ведет, и про нее забыли. Грустно было Маше глядеть на это, и собственная жизнь, начатая двадцать пять лет назад неведомой волей, вдруг показалась ей такой же точно дорогой — сначала прямой и ровной, обсаженной ровными рядами простых истин, а потом забытой неизвестным начальством и превратившейся в непонятно куда ведущую кривую тропу.

Впереди мелькнула привязанная к ветке березы белая тесемка.

— Вот здесь, — сказала Маша, — направо в лес. Еще метров пятьсот.

— Что-то близко очень, — с сомнением сказала Таня. — Непонятно, как сохранился.

— А тут никто не ходит, — ответила Маша. — Там же нет ничего. И колючкой пол-леса отгорожено.

Действительно, скоро впереди появился невысокий бетонный столб, в обе стороны от которого уходила провисшая колючая проволока. Потом стали видны еще несколько столбов — они были старые и со всех сторон густо обросли кустами, так что заметить проволоку можно было только подойдя к ней вплотную. Девушки молча пошли вдоль проволочной ограды, пока Маша не остановилась возле очередной белой тесемки, свисающей с куста.

— Здесь, — сказала она.

Несколько рядов проволоки были задраны и перекручены между собой. Маша и Таня поднырнули под нее без труда, а Тыймы полезла почему-то задом, зацепилась рубашкой и долго звенела своими колокольчиками, ворочаясь в узком просвете.

За проволокой был такой же лес, как и до нее, и не было заметно никаких следов человеческой деятельности. Маша уверенно двинулась вперед и через несколько минут остановилась у оврага, на дне которого журчал небольшой ручей.

— Пришли, — сказала она, — вон в тех кустах.

Таня поглядела вниз.

— Не вижу.

— Вон хвост торчит, — показала Маша, — а вон крыло. Пошли, там спуск есть.

Тыймы вниз не пошла — она села на Танину сумку, прислонилась спиной к дереву и замерла. Маша с Таней, цепляясь за ветки и скользя по мокрой земле, спустились в овраг.

— Слышь, Тань, — тихо сказала Маша, — а ей что, посмотреть не надо? Как она будет-то?

— Это ты не волнуйся, — сказала Таня, вглядываясь в кусты, — она лучше нас знает... Действительно. И как только сохранился.

За кустами было что-то темное, грязно-бурое и очень старое. На первый взгляд это напоминало могильный холмик на месте погребения не очень значительного кочевого князя, в последний момент успевшего принять какое-то странное христианство: из длинного и узкого земляного выступа косо торчала широкая крестообразная конструкция из искореженного металла, в которой с некоторым усилием можно было узнать полуразрушенный хвост самолета, при падении отвалившийся от фюзеляжа. Фюзеляж почти весь ушел в землю, а в нескольких метрах перед ним сквозь орешник и траву виднелись контуры отвалившихся крыльев, на одном из которых чернел расчищенный крест.

— Я по альбому смотрела, — нарушила молчание Маша, — вроде это штурмовик «хейнкель». Там две модификации было — у одной тридцатимиллиметровая пушка под фюзеляжем, а у другой что-то еще. Не помню. Да и не важно.

— Кабину открывала? — спросила Таня.

— Нет, — сказала Маша. — Одной страшно было.

— Вдруг там нет никого?

— Да как же, — сказала Маша, — фонарь-то цел. Гляди.

Она шагнула вперед, отогнула несколько веток и ладонью отгребла слой многолетнего перегноя.

Таня наклонилась и приблизила лицо к стеклу. За ним виднелось что-то темное и, кажется, мокрое.

— А сколько их там было? — спросила она. — Если это «хейнкель», то ведь и стрелок должен быть?

— Не знаю, — сказала Маша.

— Ладно, — сказала Таня, — Тыймы определит. Жаль, фонарь закрыт. Если бы хоть волос клок или косточку, куда легче было бы.

— А так она не может?

— Может, — сказала Таня, — только дольше. Темнеет уже. Пошли ветки собирать.

— А на качество не влияет?

— Что значит — качество? — спросила Таня. — Какое тут вообще бывает качество?

Костер разгорелся и давал уже больше света, чем закрытое низкими облаками вечернее небо. Маша заметила, что у нее появилась нетерпеливо приплясывающая на траве длинная тень, и ей стало немного не по себе — тень явно чувствовала себя уверенней, чем она. Маша ощущала, что в своем городском платье она выглядит глупо, зато наряд Тыймы, на который весь день с недоумением пялились встречные, в прыгающем свете костра стал казаться самой удобной и естественной для человека одеждой.

— Ну что, — сказала Таня, — скоро начнем.

— А чего ждем-то? — шепотом спросила Маша.

— Не торопись, — так же тихо ответила Таня, — она сама знает, когда и что. Ничего ей говорить сейчас не надо.

Маша села на землю рядом с подругой.

— Жуть берет, — сказала она и потеряла ладонью то место на куртке, за которым было сердце. — А сколько ждать?

— Не знаю. Всегда по-разному бывает. Вот в прошлом году...

Маша вздрогнула. Над поляной пронесся сухой удар бубна, сменившийся звоном множества колокольчиков.

Тыймы стояла на ногах, нагнувшись вперед, и вглядывалась в кусты на краю оврага. Еще раз ударив в бубен, она два раза, перемещаясь против часовой стрелки, обежала поляну, с удивительной легкостью перепрыгнула стену кустов и исчезла в овраге. Снизу донесся ее жалобный и полный боли крик, и Маша решила, что Тыймы сломала себе ногу, но Таня успокаивающе прикрыла глаза.

Из оврага понеслись частые удары бубна и быстрое бормотание. Потом стало тихо, и Тыймы появилась из кустов. Теперь она двигалась медленно и церемониально; дойдя до центра поляны, она остановилась, подняла руки и стала ритмично постукивать в бубен. Маша на всякий случай закрыла глаза.

К ударам бубна вскоре добавился новый звук — Маша не заметила момента, когда он появился, и сначала не поняла,

что это. Сначала ей показалось, что рядом играет неизвестный смычковый инструмент, а потом она поняла, что эту пронзительную и мрачную ноту выводит голос Тыймы.

Казалось, этот голос возникал в совершенно особом пространстве, которое он сам создавал и по которому перемещался, наталкиваясь на множество объектов неясной природы, каждый из которых заставлял Тыймы издать несколько резких гортанных звуков. Отчего-то Маша представила себе сеть, которая волочится по дну темного омута, собирая все, что попадает на встречу. Вдруг голос Тыймы за что-то зацепился — Маша почувствовала, что она пытается освободиться, но не может.

Маша открыла глаза. Тыймы стояла недалеко от костра и пыталась вытащить свою кисть из пустоты. Она изо всех сил дергала рукой, но пустота не поддавалась.

— Нилти доглонг, — угрожающе сказала Тыймы, — нилти джамай!

У Маши возникло ясное ощущение, что пустота перед Тыймы сказала что-то в ответ.

Тыймы засмеялась и встряхнула бубном.

— Nein, Herr General, — сказала она, — das hat mit Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit.

Пустота что-то спросила, и Тыймы отрицательно покачала головой.

— Она что, по-немецки говорит? — спросила Маша.

— Когда камлает — говорит, — сказала Таня. — Она тогда по-любому может.

Тыймы еще раз попыталась выдернуть руку.

— Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeirheng, ich hab es sehz eilig, — раздраженно бросила она.

На этот раз Маша почувствовала исшедшую из пустоты угрозу.

— Wozu? — презрительно крикнула Тыймы, сорвала с плеча георгиевскую ленту с двумя ржавыми гвоздями и раскрутила ее над головой. — Нилти джамай! Бляй будулан!

Пустота отпустила ее руку с такой быстротой, что Тыймы повалилась в траву. Упав, она засмеялась, повернулась к Тане с Машей и отрицательно покачала головой.

— Что такое? — спросила Маша.

— Плохо дело, — сказала Таня. — В Нижнем Мире твоего клиента нет.

— А может, она не до конца досмотрела? — спросила Маша.

— А какой там, по-твоему, конец? Там никакого конца нет. И начала тоже.

— Что же делать теперь?

— Можно в Верхнем посмотреть, — сказала Таня, — только шансов мало. Ни разу не получалось еще. Но попробовать, конечно, можно.

Она повернулась к Тыймы, которая по-прежнему сидела на траве, и ткнула пальцем вверх. Тыймы кивнула, подошла к лежащей у дерева теннисной сумке и вынула оттуда другой бубен. Потом она достала банку кока-колы и, тряхнув головой, сделала несколько глотков, чем-то напомнив Маше Мартину Навратилу на уимблдонском корте.

Бубен Верхнего Мира звучал иначе: тише и как-то задумчивей. Голос Тыймы, взявший длинную заунывную ноту, тоже изменился и вместо страха вызвал у Маши умиротворение и легкую грусть. Повторялось то же самое, что и несколько минут назад, только теперь происходящее было не жутким, а возвышенным и неуместным — потому неуместным, что даже Маша поняла: совершенно незачем тревожить те области мира, к которым обращалась Тыймы, подняв лицо к темному небу в просветах между ветвями и легонько постукивая в свой бубен.

Маше вспомнила старый мультфильм про похождения маленького серого волка в каких-то очень тесных, густо и мрачно размалеванных подмосковных пространствах; в мультфильме все это иногда исчезало и непонятно откуда появлялся залитый полуденным солнцем простор, почти прозрачный, где по бледной акварельной дороге шел вдаль еле прорисованный перышком странник.

Маша потрясла головой, чтобы прийти в себя, и огляделась. Ей показалось, что составные части окружающего — все эти кусты и деревья, травы и темные облака, только что плотно смыкавшиеся друг с другом, — раздвинулись под ударами бубна, и в просветах между ними открылся на секунду странный, светлый и незнакомый мир.

Голос Тыймы на что-то наткнулся, попытался пройти дальше, не смог и застыл на одной напряженной ноте.

Таня дернула Машу за руку.

— Ты смотри, есть, — сказала она, — нашли. Сейчас подсчитет...

Тыймы воздела руки вверх, пронзительно крикнула и повалилась в траву.

До Маши донесся далекий гул самолета. Он приходил непонятно откуда и звучал долго, а когда затих, в овраге раздалась целая серия звуков: стук в стекло, лязганье ржавого железа и тихий, но отчетливый мужской кашель.

Таня встала, сделала несколько шагов в сторону оврага, и тут Маша заметила стоящую на краю поляны темную фигуру.

— Шпрехен зи дойч? — хрипло проговорила Таня.

Фигура молча двинулась к огню.

— Шпрехен зи дойч? — пяťсь, повторила Таня. — Глухой, что ли?

Красноватый свет костра упал на крепкого мужика лет сорока в кожаной куртке и летном шлеме. Подойдя, он сел напротив хихикнувшей Тыймы, скрестил ноги и поднял глаза на Таню.

— Шпрехен зи дойч?

— Да брось ты, — спокойно сказал мужик, — заладила.

Таня разочарованно присвистнула.

— Кто будете? — спросила она.

— Я-то? Майор Звягинцев. Николай Иванович. А вы вот кто? Маша с Таней переглянулись.

— Непонятно, — сказала Таня, — какой еще майор Звягинцев, если самолет немецкий?

— Самолет трофейный, — сказал майор. — Я его на другой аэродром перегонял, а тут...

Лицо майора Звягинцева перекошилось — было видно, что он вспомнил что-то до крайности неприятное.

— Так вы что, — спросила Таня, — советский?

— Да как сказать, — ответил майор Звягинцев, — был советский, а сейчас не знаю даже. У нас там все иначе.

Он поднял взгляд на Машу; та отчего-то смутилась и отвела глаза.

— А вот вы здесь к чему, девушки? — спросил он. — Ведь пути живых и мертвых различны. Или не так?

— Ой, — сказала Таня, — извините, пожалуйста. Мы советских не тревожим. Это из-за самолета так вышло. Мы думали, там немец.

— А немец вам зачем?

Маша подняла глаза и поглядела на майора. У него было широкое спокойное лицо, слегка курносый нос и многоднев-

ная щетина на щеках. Такие лица нравились Маше — правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле, но Маша уже давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности.

— Да понимаете, — сказала Таня, — сейчас ведь время такое, каждый прирабатывает как может. Ну и мы вот с ней...

Она кивнула на безучастную Тыймы.

— Короче, работа у нас такая. Сейчас ведь все отсюда валют. За фирму́ замуж выйти — это четыре косаря зеленых. А мы в среднем за пятьсот делаем.

— Что же, с усопшими? — недоверчиво спросил майор.

— Да подумашь. Гражданство-то остается. Мы с таким условием оживляем, чтоб женился. Обычно немцы бывают. Немецкий труп у нас примерно как живой негр из Зимбабве идет или русскоязычный еврей без визы. Лучше всего, конечно, — испанец из «Голубой дивизии», но это дорогой покойник. Редкий. Ну и итальянцы еще есть, финны. А румын с венграми даже и не трогаем.

— Вот оно что, — сказал майор. — А долго они потом живут?

— Да года три, — сказала Таня.

— Мало, — сказал майор. — Не жалко их?

На минуту Таня задумалась, ее красивое лицо стало совсем серьезным, и между бровями наметилась глубокая складка. Наступила тишина, которую нарушало только потрескивание сучьев в костре да тихий шелест листвы.

— Строгий вопрос, — сказала она наконец. — Вы как, всерьез спрашиваете?

— На всю катушку.

Таня подумала еще чуть-чуть.

— Я так слышала, — заговорила она, — есть закон земли и есть закон неба. Проявишь на земле небесную силу, и все твари придут в движение, а невидимые — проявятся. Внутренней основы у них нет, и по природе они всего лишь временное сгущение тьмы. Поэтому и недолго остаются в круговороте превращений. А в глубинной сути своей пустотны, оттого не жалею.

— Так и есть, — сказал майор. — Крепко понимаешь.

Морщинка между Таниных бровей разгладилась.

— А вообще, если честно — работы столько, что и думать некогда. За месяц обычно штук десять делаем, зимой меньше. На Тыймы в Москве очередь на два года вперед.

— А эти, которых вы оживляете, они что, всегда соглашаются?

— Почти, — сказала Таня. — Там же тоска страшная. Темно, тесно, благодати нет. Скрежет. Правда, как у вас, не знаю, из Верхнего Мира у нас еще клиента не было. Но, конечно, и внизу все мертвецы разные. Год назад под Харьковом такое было — жуть. Танкист один из «Мертвой головы» попался. Одели мы его, значит, помыли, побрили, объяснили все. Вроде согласился. Невеста у него хорошая была, Марина с журфака. Сейчас за японского морячка вроде пристроили... Господи, видели б вы, как они всплывают... Как вспомню... Про что это я говорила?

— Про танкиста, — сказал майор.

— А, ну да. Короче, мы ему денег дали немного, чтоб человеком себя почувствовал. Он, понятно, пить начал, сначала они все пьют. И тут в какой-то палатке ему водку не продали. Рубли попросили. А у него только купоны были и марки оккупационные. Так он им сначала из парабеллума витрину разнес, а ночью на «тигре» приехал и все ларьки перед вокзалом утрамбовал. С тех пор танк этот часто по ночам видят. Так и ездит по Харькову, коммерческие палатки давит. А днем исчезает. Куда — непонятно.

— Бывает такое, — сказал майор, — в мире много странного.

— С тех пор мы только по вермахту работать стали. А с СС никаких дел. Они все двинутые какие-то. То сельсовет захватят, то петь начнут. А жениться не хотят, устав запрещает.

Над поляной пронесся сильный порыв холодного ветра. Маша оторвала замороженный взгляд от майора Звягинцева и увидела, как из трех ответвлений стоявшего на краю поляны дерева вышли три прозрачных человека неопределенного вида. Тыймы испуганно вскрикнула и мгновенно забила Тане за спину.

— Ну вот, — пробормотала Таня, — начинается. Да не бойся ты, дуреха старая, не тронут.

Она встала и пошла навстречу прозрачным людям, издалека делая им успокаивающие жесты, совсем как нарушивший правила водитель остановившему его инспектору. Тыймы сжалась в комок, вдавила голову в колени и мелко затряслась. Маша на всякий случай подвинулась ближе к костру и вдруг всем телом почувствовала обращенный на нее взгляд майора Звягинцева. Она подняла глаза. Майор печально улыбнулся.

— Красивая вы, Маша, — тихо сказал он. — Я ведь, когда Тыймы ваша звать меня стала, в саду работал. Звала она, зва-

ла, надоела страшно. Хотел уж вас всех шугануть, выглянул, значит, и тут вас увидел, Маша. И так вы меня поразили, слов не найду. В школе у меня подруга была похожая, Варей звали. Такая же, как вы, была, и тоже нос в веснушках. Только волосы длинные носила. Любил я ее. Если б не вы, Маша, я бы сюда пришел разве?

— А у вас там что, сад есть? — чуть покраснев, спросила Маша.

— Есть.

— А как это место называется, где вы живете?

— У нас никаких названий нет, — сказал майор. — Поэтому и живем в покое и радости.

— А как там у вас вообще?

— Нормально, — сказал майор и опять улыбнулся.

— Что, — спросила Маша, — и вещи есть, как у людей?

— Как вам сказать, Маша. С одной стороны как бы есть, а с другой — как бы нет. В общем, все такое приблизительное, расплывчатое. Но это только если вдуматься.

— А где вы живете?

— У меня там как бы домик с участком. Тихо так, хорошо.

— А машина есть? — спросила Маша и сразу же смутилась, таким глупым показался ей собственный вопрос.

— Если захочется, бывает. Отчего не быть.

— А какая?

— Когда как, — сказал майор. — И печь бывает микроволновая, и это... машина стиральная. Стирать только нечего. И телевизор цветной бывает. Правда, канал всего один, но все ваши в нем есть.

— Телевизор тоже когда какой?

— Да, — сказал майор. — Когда «Панасоник» бывает, когда «Шиваки». А как припомнишь — глядь, и нет ничего. Только пар зыбкий клубится... Да я же говорю, все как у вас. Единственно, названий нет. Безымянно все. И чем выше, тем безымянней.

Маша не нашлась, что еще спросить, и замолчала, обдумывая последние слова майора. Таня тем временем что-то горячо доказывала трем прозрачным людям:

— А я вам еще раз говорю, что она от грома шаманит, — долетал ее голос, — все по закону. Ее в детстве молнией ударило, а потом ей дух грома кусочек жести подарил, чтоб она себе козырек сделала... А чего это я вам предъявлять буду? Почему она с собой носить должна? Никогда таких проблем

не возникало... Постыдились бы к старой женщине придираться. Лучше бы в Москве с народными целителями порядок навели. Такая чернуха прет — жить страшно, а вы к старухе... И пожалуюсь...

Маша почувствовала, как майор прикоснулся к ее локтю.

— Маша, — сказал он, — я пойду сейчас. Хочу тебе одну вещь подарить на память.

Маша заметила, что майор перешел на «ты», и ей это понравилось.

— Что это? — спросила она.

— Дудочка, — сказал майор. — Из камыша. Ты, как от этой жизни устанешь, так приходи к моему самолету. Поиграешь, я к тебе и выйду.

— А в гости к вам можно будет? — спросила Маша.

— Можно, — сказал майор. — Клубники поешь. Знаешь, какая у меня там клубника?

Он поднялся на ноги.

— Так придешь? — спросил он. — Я ждать буду.

Маша еле заметно кивнула.

— А как же вы... Вы ведь живой теперь?

Майор пожал плечами, вынул из кармана кожаной куртки ржавый «ТТ» и приставил к уху.

Грохнул выстрел.

Таня обернулась и в страхе уставилась на майора, который пошатнулся, но удержался на ногах. Тыймы подняла голову и захихикала. Опять подул холодный ветер, и Маша увидела, что никаких прозрачных людей на краю поляны больше нет.

— Буду ждать, — повторил майор Звягинцев и, покачиваясь, пошел к оврагу, над которым разлилось еле видимое радужное сияние. Через несколько шагов его фигура растворилась в темноте, как кусок рафинада в стакане горячего чая.

Маша глядела в окно тамбура на проносящиеся мимо огороды и домики и тихо плакала.

— Ну чего ты, Маш, чего? — говорила Таня, заглядывая подруге в заплаканное лицо. — Плюнь, бывает такое. Хочешь, поедем с девками под Архангельск. Там в болоте Б-29 лежит американский, «Летающая крепость». Одиннадцать человек, всем хватит. Поедешь?

— А когда вы ехать хотите? — спросила Маша.

— После пятнадцатого. Ты, кстати, пятнадцатого приходи к нам на праздник чистого чума. Придешь? Тыймы мухоморов насушила. На Бубне Верхнего Мира тебе постучим, раз уж понравилось так. Слышь, Тыймы, правда здорово будет, если Маша к нам в гости придет?

Тыймы подняла лицо и широко улыбнулась в ответ, показывая коричневые осколки зубов, в разные стороны торчащие из десен. Улыбка вышла жуткая, потому что глаза Тыймы были скрыты свисающими с шапки кожаными ленточками и казалось, что она улыбается одним только ртом, а ее невидимый взгляд остается холодным и внимательным.

— Не бойся, — сказала Таня, — она добрая.

Но Маша уже смотрела в окно, сжимая в кармане подаренную майором Звягинцевым камышовую дудочку, и напряженно о чем-то думала.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Жизнь насекомых. Роман</b> .....	5
1. Русский лес .....	7
2. Инициация .....	19
3. Жить, чтобы жить .....	30
4. Стремление мотылька к огню .....	40
5. Третий Рим .....	50
6. Жизнь за Царя .....	61
7. Памяти Марка Аврелия .....	69
8. Убийство насекомого .....	80
9. Черный всадник .....	91
10. Полет над гнездом врага .....	104
11. Колодец .....	114
12. Paradise .....	123
13. Три чувства молодой матери .....	135
14. Второй мир.....	148
15. Энтомопилот .....	155
<b>Затворник и Шестипалый. Повесть</b> .....	159
<b>Принц Госплана. Повесть</b> .....	195
<b>Желтая стрела. Повесть</b> .....	241
<b>Бубен Верхнего Мира. Рассказы</b> .....	287
Ника.....	289
Синий фонарь.....	302
Проблема верволка в Средней полосе.....	313
Жизнь и приключения сарая Номер XII .....	343
Тарзанка.....	353
Бубен Верхнего Мира .....	369

**Виктор Олегович  
ПЕЛЕВИН**

**СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ**

**Т О М 2**

*Редактор В. Орлов*

*Художественный редактор И. Марее*

*Технический редактор Г. Шитоева*

*Корректор В. Плотников*

*Оператор верстки В. Гаркуша*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.

Подписано в печать 15.04.96 г. Уч.-изд. л. 21,7. Цена 20 100 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Scan Kreyder - 22.08.2018 - STERLITAMAK

